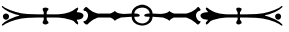
Рукописные редакции



Мертвая вода
Старатели, гл. IV

Мертвая вода
[Пьяный город]

Очерк

Данная рукопись представляет первый вариант повести «Максим Бенелявдов», весьма отличающийся от окончательного текста. В нем главная героиня представлена не развратной женщиной, а девушкой, духовно озабоченной и способной на глубокое чувство любви. После смерти жениха она уезжает в Сербию, на войну, медсестрой.

План, предпосланный рукописи, свидетельствует о широком замысле, о ряде дополнительных сюжетов, не получивших реализации в тексте.

Часть первая

I. Чиновник Пузырев.
II. Архиерейская певческая (друзья детства).
III. Некоторые побочные обстоятельства: Бенелявдов.
IV. Женитьба Бенелявдова.
V. Медовый месяц и роковой конец.
VI. Созон пьет: Евстигней…

Часть вторая

I. Возвращение Одиссея: вот тут колотил Никешку Карякина, а там меня отдули кержаки.
II. Отец Pierre: Трофимовна, Анемподист, Коровин.
III. Матвеич.
IV. Управитель; апостол в церкви и Цукерман.
V. Аграфена Сидоровна.
VI. Последняя пирушка.
VIII. Смерть — любовь.

I

Отставной козы барабанщик

На Тихонькой улице, одной из самых глухих улиц глухого уездного города N, стоит одноэтажный деревянный домик в пять окон, который принадлежит отставному акцизному чиновнику Павлу Петровичу Пузыреву. По своему наружному виду дом Пузырева ничем собственным не отличался от окружавших его домов, немного разве тем, что в промежуток времени от часу до трех в окнах мелькали два девичьих личика, одно с задумчивыми большими серыми глазами, другое, совсем детское, с парой бойких как мыши темнокарих глаз, с глуповатой улыбкой на губах. Сам чиновник Пузырев как по внешнему виду, так особенно по своему крайне своеобразному характеру резко отличался от всех обитателей Тихонькой улицы. Среднего роста, с морщинистым, испитым лицом, с щетинистыми усами и такими же бровями, под которыми страшно вращались два выпуклых, когда-то серые, а теперь мутные глаза, — он с первого раза производил довольно неприятное впечатление, которое постепенно усиливалось, по мере того, как Пузырев начинал являть… различные стороны своего ума и характера. Вообще, по своему характеру Пузырев отличался почти от всех обитателей Тихонькой улицы своим неукротимым задором и каким-то ожесточением против всего человеческого.

Впрочем, в последних двух душевных качествах опасным соперником Пузырева являлся его сосед, мещанин, который все свое время проводил на крыше, гоняя голубей и ругая оттуда все и всех.

Оба соседа вели крайне оригинальный образ жизни. Мещанин-голубятник поднимался обыкновенно чуть свет и принимался усиленно бегать голыми ногами по ветхой крыше своего домишки с длинным шестом в руках, заставляя играть своих голубей. Часа три такой работы утомляли голубятника порядком, так что он в виде отдыха садился верхом на свой гнилой конец крыши, утирал пот с лица и начинал критиковать прохожих и проезжих, выкрикивая свои замечания самым высоким тенором, который было слышно по меньшей мере квартала на три. В это время Пузырев тоже встал и сидел у окна, прихлебывая чай из стакана и пуская из длинной трубки клубы черного дыма. Он слышит каждое слово голубятника, и его начинает разбирать смертная охота обругать сначала соседа, а затем целый мир в самом систематическом порядке. Голубятник знал в тонкости военные привычки Пузырева и продолжал свое дело.

— Эй, тетка, а тетка!.. Тетка, тетка!.. Ось-то в колее! — орет истово голубятник с своей крыши, обращаясь к проезжавшей мимо бабе, [которая сначала вздрогнула, а потом все время оглядывалась, пока ей кричал голубятник.]. Ось-то в колее, тетка!!!… Хомут-от на шее, тетка!!! Тпрррру!… Как ты смела, сиволапая, по нашей улице ездить, разве не видишь, как их благородие, всевысоко ничево, трубку курят… Воротись, тетка, назад! Эй, тетка, … я тебе чего-то скажу!!!

Эти дикие возгласы продолжались до тех пор, пока баба не скрывалась за углом следующей улицы.

— Ах ты, чертова баба, — ругался голубятник, обращаясь теперь к пузыревскому дому, — хоть бы она дала спокойно один стакан чайку выкушать их благородию, а то умереть треклятые не дадут…

— Подлецы!!! — загудит хриплым голосом Пузырев, делая первый выстрел по неприятелю.

— Варнаки!!! — звонким тенором отвечает голубятник, усиленно болтая голыми ногами на своем коньке.

— Жидоморы, бестии!… — продолжает бурлить Пузырев, насасывая свою длинную трубку с таким ожесточением, что она начинает хрипеть, точно кого душат за горло.

— Амозники, прохири!!.. — отчаянными воплями оглашает улицу голубятник, выпуская в свет свое последнее изобретение.

И любо обоим соседям, точно они этой руганью успокаивают какого-то беса, который мучит их. После первого обмена ругательствами следовала обыкновенно небольшая пауза, в продолжение которой противники старались придумать такую ругательную шутку, которой можно было бы по меньшей мере сразу стереть с лица земли, но такую ругань было трудно отыскать, и оба соседа кончили тем, что общими силами принимались обругивать все человечество.

— Нет ни одного порядочного человека… — глухо бурлил Пузырев в своем…

— Варнаки, варнаки… все варнаки!!.. — дико вопил голубятник, выделывая на своей крыше различные акробатические штуки. — А подлее всех крапивное семя…

Таким образом, каждая мысль, выходившая из головы Пузырева, преломляясь в уме голубятника, сейчас же распадалась на несколько новых частей, как распадается солнечный луч, проходя чрез призму на цвета спектра.

По вечерам, утомившись гонять голубей, мещанин спускался со своей крыши и заводил на улице с кем-нибудь самую ожесточенную драку, причем Пузырев, продолжая сидеть в своем окне, толь-

ко мрачно улыбался, чего было совершенно достаточно, чтобы наэлектризовать голубятника до последней степени.

— Так его, так его… В морду, в морду наддай!!. — иногда раздавались поощрительные возгласы Пузырева, под ласкательный звуки которых голубятник действовал за десятерых.

Когда единоборство принимало неблагоприятный исход для голубятника, из дома Пузырева выходило сначала глухое хрипенье, точно там кого-нибудь душили, а затем отрывистое уханье и даже какой-то треск, точно что-то там ломалось в щепы. Это Пузырев от всей души хохотал над несчастием своего соседа, которого этот мефистофелевский хохот возмущал до глубины души, придавая ему двойную силу и тройную хитрость, так что он в конце концов все-таки выходил победителем, выкидывая над побежденным самую отчаянную штуку. Конечно, немного было странно, что голубятник не сердился на Пузырева за его бессердечный смех в такие критические минуты и даже был очень доволен тем одобрением, которое доносилось до его ушей в форме раскатистой отрывистой ругани, но все это делается вполне понятным, если принять во внимание то обстоятельство, что соседи так научились понимать друг друга, что при помощи одного слова «подлец» они совершенно свободно могли выражать малейшие оттенки всех своих мыслей и чувств, придавая этому слову только различную интонацию.

Мы чуть не позабыли упомянуть о самой замечательной способности Пузырева, именно: способности икать после обеда в продолжение по крайней мере целого часа и притом таким невероятно сильным образом, что каждое отдельное икание было совершенно отчетливо слышно за два квартала по меньшей мере. Такое икание находило на Пузырева каждый день, когда он после обеда усаживался у своего заветного окна с своей неизменной трубкой, с которой он даже ложился спать… Обитатели Тихонькой улицы совершенно привыкли к такому гомерическому иканью и не обращали на него никакого внимания, но случайные прохожие, над головой которых неожиданно раздавались эти страшные звуки, останавливались как вкопанные и долго не могли понять, откуда исходили они, пока голубятник, не упуская такого отличного случая потешиться и над прохожим, а особенно над самим Пузыревым, — не принимал самого живого участия во всей этой истории.

— Что растворил нюхало-то шире банного окна, ворона ярославская? — обыкновенно открывал беглый огонь по неприятелю голубятник, обращаясь к зазевавшемуся прохожему. — Аль не слыхал, как у меня египетский голубь поет?

— Паа… и-и-ик!! Паадлец!! — слышится из пузыревского окна.

— Это чернильная канарейка колено свое выделывает, — продолжает выкрикивать голубятник на всю улицу, — бумажная душа с Богом беседует…Потому выходит у них вера такая, что икать беспременно должен на три квартала каждый день. Ишь его, кашалота, как разбирает!!. Надо полагать в брюхе у него особенная механика заведена…Эх, дуй вас горой всех, стрекулистов!! Чем он живет: четыре недели … жалованья дам, поступай ко мне в помощники.

На эти возгласы из окна пузыревского дома слышится то глухое ворчание, то отрывистая крепкая ругань, точно нет-нет да кто-то со всего маху и отрубит топором.

Так жили соседи рядом не один год, и такому положению дел трудно было предвидеть какой-нибудь исход, но Пузырев за последнее время точно белены объелся и принялся ругать все с таким ожесточением, что для всех сделалось очевидным его неизмеримое превосходство над голубятником, который едва-едва мог отвечать на этот ужасный поток ругательств, вылетавших из-под щетинистых усов с каким-то треском, точно в комнате лопалась граната. Дело объяснялось довольно трудно. Пузырев был выгнан со службы года два тому назад, в самый развал всяческих преобразований, разразившихся над городом N как удар грома. В этой истории было всего замечательно то, что Пузырев, прошедший сквозь огонь и воду, и медные трубы всяческих преобразований и отлично понимавший, что вот именно вот здесь-то и зимуют раки, основательно рассчитывал нагреть руки около казенного котла, как это случалось раньше, но счастье повернулось неожиданно спиной, и Пузырев вышел в отставку навсегда. Все это было так странно, так невероятно, так дико, что Пузырев долго не мог приучить себя к мысли, что он, Пузырев, вдруг не будет служить, но время шло и беспощадно разбивало недоразумения, точно тяжелый сон, долго не спадавший с глаз. Только через год Пузырев понял, в каких дураках он очутился и что теперь ему оставалось только одно — как-нибудь скоротать свой век в собственном домишке на Тихонькой улице, что Пузырев и принялся выполнять, с особенным ожесточением проживая последние крохи, сколоченные когда-то во время оно. Но, очевидно, судьбе было угодно доконать Пузырева вконец, потому что только успел он оставить службу, вдруг умерла его жена, оставив на его попечение двух дочерей, из которых старшая уже заневестилась, как говорят провинциалы, следовательно, необходимо было сбыть ее с рук. Пузырев сам заведовал всем своим хозяйством, которое как около центра вращалось около большой полуведерной бутыли, периодически высыхавшей и наполнявшейся очищенной, от которой

Пузырев не мог бы отстать. Такое замысловатое хозяйство скоро совсем истощило и без того слабые средства Пузырева так, что он не мог не предвидеть в самом недалеком будущем полного их прекращения, что, с одной стороны, страшно злило Пузырева, заставляя, с другой, все чаще и чаще обращаться за необходимым утешением к роковой зеленой бутыли, этой праматери стольких страждущих и угнетенных. Пузырев стоял на краю гибели, потому что служить больше не мог благодаря своему озлобленному одичавшему характеру, который исправить теперь было так же легко, как выпрямить кривое дерево. Вот почему он и ругался с таким ожесточением на всю Тихонькую улицу.

Две дочери Пузырева, Люба и Катя, принадлежали к тому несметному полчищу кисейных барышень, какими кишат наши уездные, губернские и столичные города. Эти кисейные существа самым быстрым образом превращаются в чиновниц и жен различных «служащих», родят массу детей, сплетничают, скучают до рвоты и кончают тем же, чем кончают бесчисленные мириады различных устриц и слизняков, т.е. исчезают, не оставляя по себе ни малейших следов своего существования.

Дочери Пузырева сначала учились в гимназии, откуда были взяты не кончив полного курса, причем главным основанием для этого служило для их родителя то положение, что если бы они выучились, то перестали бы уважать родителей, чего Пузырев совсем не желал. [Пока отец служил, девочкам жилось порядочно, но с выходом в отставку этот же самый отец сделался настоящим тираном всей семьи, едва смевшей дышать в его присутствии]* Старшая девочка, Люба, была уже двадцати одного года, законного срока для немедленного выхода замуж, но жених не подвертывался, что и в будущем было трудно ожидать, благодаря дикому характеру папаши, хотя Люба была очень симпатичная девушка, именно — симпатичная, а не красивая, потому что ее лицо совсем не носило той поразительной правильности, которой щеголяет патентованная красота. Всматриваясь … в лицо Любы с выдававшимися немного скулами, с небольшим белым лбом и широким носом, в ее большие, задумчивые серые глаза, а особенно в склад довольно большого рта — нельзя было не заметить чего-то особенного, что-то, казалось, притаилось где-то вот тут, под тонкой белой кожей, притаилось едва заметным образом, придавая всему лицу какой-то недоконченный характер, точно оно чего-то ждало, именно ждало того, что сразу заставило бы развернуться затаившееся выражение, которое придало бы всему лицу его окончательный характерный

* Зачеркнуто.

вид. Издали Люба казалась очень серьезной девушкой, даже немного печальной, но одно мгновение — и на губах играла детская беззаботная улыбка, глаза искрились, и все лицо точно просветлялось. Красота Любы была именно той специфической красотой, которую можно всю вполне охарактеризовать красотой движения, в то время, когда человек говорит, смеется, плачет, сердится. У Любы каждое душевное движение самым резким и вместе простым образом отражалось на ее лице, что даже являлось невольное сомнение при взгляде на нее, что уж не чересчур ли она проста, проста той простотой, которая хуже воровства, которая называется просто глупостью. Но последнее было несправедливо, Люба была не глупее других, отличаясь от этих других только своим сердцем, таким славным честным сердцем, которое целомудренно сберегло в себе целую бездну сокровищ. Среди тысячи тысяч кисейных барышень провертываются эти простые сердца, как провертываются среди обыкновенных раковин такие же обыкновенные раковины, с той разнице, что последние содержат в себе жемчуг.

[Но самое главное достоинство Любы, без сомнения, было то, что она сама не знала себе цены, как не знает ее еще неразвернувшийся бутон какого-нибудь редкого цветка, притаившегося самым скромным образом среди миллионов других цветков, которые не блещут яркостью своих красок, не издают никаких благоуханий, не годны даже как всякие простые кормовые травы, за всем тем растут, растут и цветут миллионами миллионов, точно только для того, чтобы на их заурядном, будничном фоне резче выступила истинная красота.

Младшая дочь Пузырева, Катя, была антиподом старшей, потому что какая-то миниатюрная хитрость заменяла в ее характере все достоинства Любы. Всего чаще попадают именно такие люди, как эта четырнадцатилетняя Катя. Они вечно рассчитывают, вечно куда-то стремятся, чего-то домогаются, чему-то верят, чего-то ищут, и главное, сознают отлично все, что делают, и благодаря такому сознанию считают себя умнее других. Это крошечное сознание просто давит их, и они под его давлением забывают, что хитрость не есть еще ум, а ум не больше, как форма, одно из орудий, которое еще не делает человека хорошим или дурным, но только делает его сильнее в том или другом направлении.

Мы очень резко характеризуем обеих сестер, но такие резко отличные один от другого характеры сплошь и рядом вырастают под одной кровлей, как на одной гряде растут роза и капуста. Что касается характера самого Павла Петровича Пузырева, то он не был ни особенно добр, ни особенно зол, а знания, сформировавшие

проявления его мыслей и чувств, выработались длинным путем его служебной карьеры, начавшейся на бурсацкой скамейке. Что вынес Пузырев.., что он видел, слышал и сам делал и должен был делать — он никому не говорил об этом, но кажется довольно верно характеризовал свое прошлое своим типичным диким языком, когда, выворачивая и без того круглые глаза и насупив брови, ворчал свое любимое слово «подлецы»]*

II

Однажды, после обеда, в минуту особенно сильного ожесточения Пузырев сидел у своего заветного окна и усиленно икал, точно последним этим доказывал всему остальному миру все свое презрение. Голубятник тоже занимал свою боевую позицию на коньке, откуда он переругивался с каким-то мальчишкой, метившим в него камнем. В это время в конце Тихонькой улицы показался человек среднего роста, одетый в довольно длинный черный сюртук, сразу приковавший на себя все внимание голубятника, усиленно перебиравшего в своем уме весь лексикон избранных ругательств, которыми он имел намерение встретить приближавшегося. Человек в черном сюртуке был не кто иной, как консисторский служитель Капитон Лукич Агнцев, бродивший по городу с довольно скромным намерением найти подходящую комнату для одинокого молодого человека, в которой он мог бы принять иногда человек пять приятелей, любивших петь, как объяснял обыкновенно Агнцев своим новым квартирным хозяевам. В настоящую минуту Агнцев только что успел поравняться с домом голубятника, как последний усилено принялся махать своим шестом, и затянул самым высоким пронзительным тенором:

Приказное творение,
Чернильная душа.
В чернилах все имение,
А денег — ни гроша!

Агнцев сначала оглянулся, а затем бодро продолжал свой путь вперед и успел уже поравняться с домом Пузырева, откуда в этот самый момент раздалось такое громкое икание, что Агнцев остановился как вкопанный и долго смотрел на Пузырева самым испытующим оком.

---

* Зачеркнуто.

— Кутейная балалайка, соломенны струны!! — отчаянным голосом кричал голубятник, неистово бегая по своей крыше, точно одержимый каким … бесом. — Кусь его, Пузырев! Ку-усь, чернильная душа!! Ку-у-усь!!!

Агнцев продолжал стоять на тротуаре, рассматривая во всех подробностях фигуру Пузырева, который, в свою очередь, тоже навел свой зрительный аппарат на Агнцева и мерил его своим взглядом с ног до головы самым презрительным образом. Агнцев, однако, нисколько не смутился последним и, сообразив что-то, довольно вежливо обратился к Пузыреву с такими словами:

— Милостивый государь, нет ли у вас комнаты для одинокого?

Как бы в ответ на этот вопрос Пузырев страшно икнул, так что голубятник даже покатился по своей крыше, задыхаясь от душившего его смеха.

— Нет ли у вас комнаты для одинокого? — повторил свой вопрос Агнцев.

— Настоящая зверильня… Ха! Ха! Ха! — кричал голубятник, катаясь по крыше. — Укрощение зверей… Ха! ха! ха! Кусь его, панталонника!!!

— Паа-длец!! — как-то особенно энергично отрубил Пузырев, разражаясь целой вереницей самых неистовых иканий, надрывавших все его существо.

— Нет ли у вас комнаты?

— Млствый гсдарь! Что вам угодно? — крикнул Пузырев, обращаясь к Агнцеву таким страшным голосом, что последний даже вздрогнул, точно по нему кто выстрелил.

— Я говорю, нет ли у вас свободной комнаты для одинокого, — довольно скромно повторил еще раз свой вопрос Агнцев.

— Убирайтесь к черррту, млствый гсдарь!! — рявкнул Пузырев, соскочив с своего места и замахиваясь на Агнцева своим чубуком.

— Кусь его!! .. Валяй в ухо трубкой-то!! Запали ему, курицыну сыну, горячего!! — орал голубятник, наваливаясь своим животом на конек крыши. — Ах вы, черти культехвостые! Провалу-то нет на вас, окаянных…

Агнцев пошел дальше, но Пузырев, сообразив что-то, высунулся из окна и гаркнул на всю улицу:

— Эй, черт вас побери, как вас зовут. Воротитесь!!!

Агнцев вернулся, Пузырев сам отворил ему дверь и еще раз осмотрел его с ног до головы.

— Вы порядочный человек, млствый гсдарь? — В упор спросил он стоявшего молча Агнцева.

— Дда…

— Как блаародный человек?

— Дда..

— Вот вам стул, а вот водка.. Вы из кутейного звания?

— Да.

— Видно птицу по полету, а впрочем, это все равно… Я тоже из кутейных хлебов… Учился в семинарии… очень рад! Рыбак рыбака видит издалека. Только предупреждаю впредь, у меня две дочери… Понимаете?

Агнцев кивнул головой в знак согласия.

— Я строг, но справедлив, — продолжал рекомендоваться Пузырев, не спуская глаз с Агнцева. — Все подлецы… Комнату могу дать, но помни, млствый гсдарь, что я отец… Да, да!! Нынче не уважают родителей, вольнодумство… Я этого не люблю. Я люблю одну правду, я своими руками задушу каждого, кто осмелится посягнуть на мои права.. Да, да!! … пострадал за правду… Да, Павел Пузырев умел страдать за правду!! … умрет за правду, млствый гсдарь!!.

Через полчаса Агнцев выходил от Пузырева, и комната осталась за ним. Он шел довольно рассеянно, не замечая, как все время за ним следила пара бойких карих глаз и совсем не слушая тех ругательств, которые градом сыпались на него с крыши голубятника.

— Он, Пузырев-от, из тебя все жилы вытянет, — кричал вслед Агнцеву голубятник, которому было известно каким-то образом все. — Вот так Пузырев… нечего сказать — нашел жильца!!! Вам бы обоим в винной бочке жить, а он комнаты нанимает. Эх вы, анафемы однобокие! А ты, Пузырев, помяни мое слово, что с таким жильцом как раз обеих дочерей прогагаришь, потому у этих консисторских одно обнаковение — в одно ухо влезет, в другое вылезет… они, брат, консисторские-то стрекулисты, ходят в сапогах, а следы — босиком! Знаешь, у попа жил страшной? Ха! ха! Ха!.. Ах вы, окаянный народец! Вам бы как надо жить? Одному где день, где ночь, а другому насупротив его, а они канпанию заводят, сакатели долгоносые!

И долго не мог успокоиться голубятник, изобретая самую ядовитую ругань против Пузырева и его нового жильца. Вся его встрепанная фигура так и дышала каким-то неукротимым задором: изрытое оспой лицо с вздернутым кверху носом, острые режущие карие глаза, худая загорелая шея, костлявые угловатые плечи — все гармонировало одно с другим как нельзя больше. Чем жил этот голубятник, одному Богу было известно, потому что ничем определенным никогда не занимался, работать не работал, разве

изредка притаскивал откуда-нибудь какие-то узелки, происхождение которых было полной загадкой для всей Тихонькой улицы, твердо верившей, впрочем, только в одно, что голубятник был первый разбойник. Словом голубятник принадлежал к категории тех оголтелых мещан, какими перенаселены наши города и которые живут поистине как птицы небесные, потому что не сеют, и не жнут, и не собирают в житницы, но все-таки живут и мало того — даже плодят таких же бессребреников.

III

Агнцев на другой же день переехал к Пузыреву, что было довольно легко сделать, потому что особенно громоздкого имущества не было, исключая разбитой дребезжащей гитары, на которой Агнцев любил поиграть в минуту воодушевления, подпевая своим кисленьким тенорком различные незамысловатые песенки. Вечером того же дня по Тихонькой улице шли по направлению к дому Пузырева три в высшей степени замечательных человека. Это были архиерейские певчие: дьякон Илюха, Бенелявдов и Сазон. Первый был колоссального роста с громадной головой, украшенной львиной гривой из черных густых кудрей; Бенелявдов менее массивного сложения, более стройный, с довольно красивым лицом и небольшой окладистой русой бородкой; наконец, Сазон, приземистый малый, широкоплечий и плотный, походил на какой-то обрубок, его узенькие глаза, картофельный нос, вообще вся угловатая физиономия не имели в себе ничего красивого, красоту заменяла прочность.

— Здесь? — лаконически прогудел Илюха, указывая рукой на дом Пузырева.

— Заворачивай! — решил Сазон и крякнул так, что голубятник рикошетом вылетел из своей избушки и как белка вскарабкался на свою крышу.

— Га-а! га-га! архиерейская горлопятина идет, — неистово ревел голубятник, указывая своим жестом на достойную троицу, приближавшуюся к дому Пузырева, под которой дрожали и гнулись ветхозаветные тротуары Тихонькой улицы.

— Вот этот, в рясе то, дочь у Пузырева сватать будет, Пузырев закон напишет, чтобы значит вперед завсегда позволено городским дьяконам при себе двух жен иметь…

Певчие ввалились наконец в новую квартиру своего приятеля Агнцева, который не откладывая дела в долгий ящик сегодня же решил отпраздновать свое новоселье.

— Комната, брат, у тебя ничего, какова водка будет, — говорил Сазон, ласково гладя Агнцева по спине своей широкой могучей ладонью.

— Водка, братцы, первый сорт, только, значит, пей сколько влезет, — отвечал Агнцев, невольно сгибаясь под ласками своего друга. — Место, господа, здесь глуховатое, а посему следует сначала зарядить для безопасности, а потом разберем дело о погружении монаха в воду, повлекшего за собой и кончину оного…

На столе стояли довольно скромно полуведерная бутыль очищенной, около нее в бумажках лежало несколько соленых огурцов, черный хлеб и солонка с крупно истонченной солью. Кто видал записных настоящих пьяниц, тот поймет, что эта спартанская красота и составляла весь шик гостеприимства Агнцева, который понимал, что разные наливки и нежные закуски просто нарушили бы своим присутствием всю величественную гармонию очищенной с окружавшими ее огурцами.

Водка была налита в большие рюмки, которые и были выпиты всеми … причем в громадном горле Илюхи точно что щелкнуло, как в пустой бутылке, куда падает несколько капель какой-нибудь жидкости. Сазон пил с каким-то кряканьем, как настоящий знаток, который заговорит с хозяином только после третьей рюмки. Бенелявдов поморщился и плюнул при первой рюмке, а сам Агнцев только улыбнулся, потому что ему доставляло всегда величайшее удовольствие пить заодно с этими великанами.

— Ну, так как ты рассказывал насчет Алешки-то? — спрашивал Бенелявдов…

— Да что рассказывать-то про него, коли он выходит подлец, значит, подлецом ему и оставаться, — категорически заявил Илюха. — Прежний архиерейский послушник тоже был подлец первостатейный, только все-таки имел свою совесть: возьмет с тебя порядком, обдерет как липку и все-таки сделает, как обещал. А этот анафема и денег возьмет, и дела не сделает… Я его сухопарого непременно поколочу, потому он и меня тоже надул, да еще сам же в глаза мне и смеется, что, дескать, взятки давать нехорошо.

— Надо поколотить, — заметил Бенелявдов, выпивая вторую рюмку.

— Над нашими-то архиерейскими он не смеет больно-то ломаться, — продолжал Илюха. — А вот ты посмотри, что он делает с деревенскими попами. По неделе держит у себя в передней, это послушник-то! .. Бедные попы ходят-ходят к нему, пока он из них не высосет последнего двугривенного, а он смеется: мне, говорит, монаху негде взять, отцы, а вы, говорит, своих овечек стригите. А как

живет, князь князем! Ты не бывал у него в келье-то? И цветы, и картины, и вина, и чего только нет… Раз прихожу к нему, он еще в постели и пьет шоколад. Посидел я у него, а он начал при мне одеваться, так у него, у подлого, понимаешь — чулки-то шелковые, десять рублей говорит каждая пара стоит, а у него их целая дюжина.

— Господа, позвольте познакомить вас с моим хозяином, — громко крикнул Агнцев, вводя под руку Пузырева: — Павел Петрович Пузырев, нашего кутейного поля ягода.

— Очень рад, очень рад, господа… — говорил Пузырев, пожимая крепко руки новым знакомым. — Тоже учился в семинарии… вы еще сидели по утробам своих матерей тогда… из риторики был выключен… В аттестате сам покойный ректор своей рукой написал: древоголовость… Люблю певчих…

— Выпьем же, господа, — предложил Агнцев.

Все выпили, но показалось мало, а потому решили еще раз по рюмочке.

— Умрем — все останется, — говорил Илюха своим басом, от которого дрожали стекла в окнах.

— Вот, батенька, уродил Господь человека-то, — как-то подобострастно указывал на Илюху Агнцев своему хозяину. — Купцы просто на руках его носят.. Да-с! Раз на Ирбитской ярмарке он такое сказал многомирие, что один купец тут же подарил ему свою лошадь, вместе с упряжью, другой — корову, третий — целый цибик чая. А раз он как-то читал Евангелие, так губернаторша слушала, слушала и как хватит в обморок… Так замертво из церкви и вынесли! Вот какой, Илюха-то! Ну и насчет водки — бочка бочкой, пьет как воду.

А Илюха только улыбался на эту рекомендацию, пожевывая какую-то корочку. Его высокая грудь так и выпирала колесом из-под рясы, на ней он выдерживал четырех человек. Силы он был действительно непомерной, поднимал каждой рукой по десяти пудов, поднимал за передние ноги ломовых лошадей и одной рукой, как мешок, бросал за гриву купеческих жеребцов. Однажды под пьяную руку он унес к себе на квартиру на руках, как детей, двоих взрослых приятелей, хотя до квартиры было, по крайней мере, с полверсты. Пузырев с любопытством смотрел теперь на это улыбающееся чудовище, стоявшее в двух шагах от него.

— Все подлецы!!. — решил он наконец.

— Подлецы, — подтвердил Илюха, — у них один послушник у архиерея есть, такого подлеца и свет еще не производил…

— Мерзавец!!.

— Хуже Мазепы…

— Рррракалия!!..

Илюха и Пузырев отлично поняли друг друга с первого раза и стали закадычными друзьями, поместившись за одним столом, на котором стояла бутыль. Молодая колоссальная фигура Илюхи, дышавшая таким несокрушимым жизненным здоровьем, и тщедушное тело Пузырева, готовое, казалось, развалиться каждую минуту, так и бросались в глаза своим контрастом, который еще более увеличивался при сравнении ожесточенной души Пузырева с простой и незлобной душой Илюхи. Впрочем, и Илюха не всегда был добродушным, именно: когда он много и долго пил, он делался неузнаваем, превращаясь в какого-то дикого зверя, что отчасти и было понятно для человека, топившего свой ум самым безжалостным образом в чарке зелена вина.

— Вы порядочный человек… — решил Пузырев, пристально смотря в упор на Илюху.

— Конечно, порядочный, а то как же?

— Все подлецы!!..

Отрывистый разговор вроде этого продолжался между новыми друзьями, по крайней мере, часа полтора, пока они сидели за столом и пили рюмку за рюмкой. Илюха только краснел и потел от каждой новой рюмки, а Пузырев желтел и глухо ворчал, точно какой-то старый полурасклеившийся инструмент, на котором когда-то очень много играли и который теперь может только дребезжать. Первая бутыль начала быстро пустеть, несмотря на то, что из нее пили всего пятеро, появилась на подмогу вторая, стоявшая где-то в резерве.

— Вот люблю таких гостей потчевать, — хвалился Агнцев, едва ворочая начинавшим заплетаться языком. — По четверти на брата и шабаш… Дешево и сердито. А как бы, братцы, спеть какую-нибудь историю, а?

Бенелявдов пел тенора, Сазон с Илюхой держали басовую партию, от которой домишко Пузырева, кажется, готов был развалиться, такими густыми волнами ходили внутри его громовые звуки семипушечных басов архиерейского хора.

— Возведи очи мои горе… отнюду …же приидет помощь моя, Господи, — начал басом Илюха свое знаменитое соло, от которого дамы плакали, а у мужчин мурашки шли по спине. В этом грустном и вместе с тем торжественном мотиве слышалось что-то такое тяжелое, бравшее за душу, точно кто за спиной у вас умирал от тяжелого, непосильного горя и вы не могли помочь ему, чувствуя свое такое же беспомощное состояние. Грустные ноты точно жа-

ловались кому-то, отыскивая себе выход, но вот к ним присоединились свежие теноровые ноты, а с ними показался и первый луч надежды… Вот второй бас прислушался к первому и волнующая мелодия разом перешла в другой тон, радостный, полный веры, полный любви, точно сразу раскрылось небо и засверкало солнце, согнав с земли последние тени.

— Не даждь во смятение … во смя-атение … — пел Сазон, точно кто пудовой гирей изо всей силы колотил по дну пустой бочки.

Пузырев низко наклонил голову, чувствуя, как внутри что-то так и шевелилось, так и ныло, даже слезы навернулись на глаза у старика, и он не имея сил сдерживать себя, бросился обнимать Илюху, который только крякал, не зная, что ему делать.

— Эх, братцы, утешили вы старика… да, — Павел Пузырев заплакал, потому накипело у него на душе… Вы, молодые люди, все ваше еще впереди… Эх, подлецы!! В бараний рог завернул бы я всех, рррракалии!!. На, мол, ешь собачье мясо, полюбуйся…

И еще много другого говорил Пузырев, неожиданно расчувствовавшись, точно сразу в нем растаяло то, что застыло в нем так давно и лежало горой на душе. Певчие спели еще несколько концертов, оглашая всею Тихонькую улицу далеко уносившимися молодыми голосами, а Пузырев все сидел и слушал, хмуря щетинистые брови и страшно ворочая глазами.

— Ведь и я был молод! .. кричал Пузырев, стукая кулаком по столу. — … молодость, молодость… Живите, братцы, долго живите… мы не умели жить, потому что все были подлецы…

После пения началась одна из тех жестоких попоек, какие умеют устраивать только архиерейские певчие. Комната была полна табачного дыма и пьяных голосов, лица у всех раскраснелись, каждый хотел говорить, и никто не желал слушать. Кто-то спорил с кем-то, и оба не узнавали друг друга. Пузырев держал Бенелявдова за борт сюртука и доказывал ему ошибочность его воззрений на сущность человеческой души, будущность загробной жизни, число и качество смертных грехов и тому подобное, о чем любит поспорить русский человек в минуту хорошего расположения.

В конце концов, в квартире Агнцева поднялось настоящее кромешное пьянство. Илюха и Сазон в одном углу сочиняли какой-то невообразимый концерт на одних басах, в другом Бенелявдов с Пузыревым сидели цепко обнявшись, и давали друг другу самые честные клятвы в вечной дружбе. Агнцев был занят исключительно тем, что беспрестанно переходил от одной группы к другой, мешая там и здесь и таинственно улыбаясь чему-то.

— Эй, Люба, иди сюда… — кричал совсем уже опьяневший Пузырев, не понимая хорошенько, что он делал.

Через минуту дверь отворилась, и на пороге появилась стройная девушка, одетая в черное шелковое платье, одно появление которой заставило смолкнуть пьяные голоса. Первым отличился Агнцев и, слегка пошатываясь и улыбаясь, подошел к девушке.

— Извините, пожалуйста, Любовь Павловна, — заплетающимся языком говорил Агнцев, одной рукой ероша немилосердно свои волосы. — Это мои товарищи.

Сазон с Илюхой на время приостановили исполнение своего удивительного концерта и недоумевающими глазами смотрели на девушку, которая быстро подошла и наклонилась к отцу.

— Папа, вы звали меня?

Этот вопрос, сделанный над ухом Бенелявдова, заставил последнего оглянуться и застыть в той же позе, в какой он встретился с серыми большими глазами девушки.

— Закусить нам, Люба… — говорил Пузырев, а когда девушка скрылась, сейчас же добавил: — Млствые гсдари! Я отец и не потерплю, что бы мои прррава нарррушали… Поняли? Как благородный человек!..

Но Пузырева никто не слушал, Бенелявдов протирал глаза, точно не доверяя, что все это не сон, Агнцев задумчиво чесал свой затылок, выскребая оттуда какую-то чересчур мудреную мысль.

— Баба! — презрительно решил Сазон, обращаясь к Илюхе, который уже успел позабыть не только о девушке, но и даже о собственном своем существовании.

Появившаяся скоро закуска заставила позабыть все, и снова начавшееся пьянство унесло в своих мутных волнах всю компании. [Когда Бенелявдов проснулся, он увидел, что комната была совершенно пуста и долго не мог припомнить, в каком месте он находился. Появившийся Агнцев объяснил ему, что он находится в его новой квартире, где вчера справлялось новоселье и где он провел ночь.

— А… неужели сегодня другой день? — все еще не поверил Бенелявдов, продирая глаза и хватаясь за голову, трещавшую с похмелья.

— А ты бы как думал? — спрашивал Агнцев, успевший не только оправиться после вчерашнего пьянства, но и сбегать на службу. — Нам сейчас принесут поправиться].*

---

* Зачеркнуто.

IV

В тот вечер, когда Агнцев справлял свое новоселье, в задней маленькой комнатке, где жили дочери Пузырева, происходило следующее. Весь вечер Люба находилась в сильном беспокойстве, над чем-то сильно задумываясь и боязливо прислушиваясь к доносившимся из комнаты Агнцева пьяным возгласам. … время от времени обращалась к сестре с каким-нибудь вопросом, не дожидаясь ответа на который, предлагала новый вопрос, что смущало Катю, с недоумением и вопросительно смотревшую на сестру.

— Ты больна Люба? — спрашивала, в свою очередь, Катя.

— Да… н-нет! Это так, Катя… пройдет все… Тебе пора ложится спать, моя милочка…

— Я не хочу спать, Люба..

— Нет, ложись сейчас же, и я тоже лягу с тобой на одну кровать…

— Ты не обманываешь меня, Люба?

— Ах, какая ты, Катя…Да разве я тебя когда-нибудь обманывала в чем?

Катя очень любила всегда спать на одной кровати с сестрой, которую считала за мать, хотя между ними была очень небольшая разница лет. Она любила ласкаться к ней, как ребенок, целовала ей глаза и волосы, крепко обнимала стройное гибкое молодое тело. И теперь как всегда она быстро разделась и еще быстрее нырнула под свое одеяло, откуда выставлялась только ее улыбавшееся счастливое лицо, обрамленное слегка вившимися каштановыми волосами. Пока Люба раздевалась, девочка то болтала ногами под одеялом, то облокачивалась одной рукой на подушку, чтобы лучше следить за сестрой.

— Какая ты красавица, Люба! — невольно произнесла Катя, когда к ее кровати подошла Люба, оставшаяся в одной рубашке, так рельефно обрисовывавшей ее молодые формы.

— Перестань болтать, Катя…

— Да я говорю правду, Люба! Если кто увидит теперь тебя, Люба…

Люба невольно покраснела от последних слов и, чтобы скрыть свое волнение, быстро улеглась в постель, где под одеялом ее сейчас же горячо обняли две маленьких цепких руки и крепко прижалось еще несформировавшееся тоненькое тело сестры с угловатыми плечиками и с выступавшими костями лопаток.

— А какой он славный, Люба … — заговорила Катя, стараясь заглянуть сестре в лицо.

— Кто славный?

— Да наш жилец, Люба…

— Ну уж нашла славного, какой-то пьяница и нос длинный..

— Это ничего, что такой нос, а ты заметила, Люба, у него глаза?

— И глаза нехорошие, узенькие, белые глаза, точно кто молоко пролил…

— Вот и неправда… Ты думаешь лучше этот высокий?

— Какой высокий?

— Да тот, который когда ты вошла к ним в комнату, обнимал папу…

— Это Бенелявдов, Катя.. Конечно, он лучше Агнцева в тысячу раз! Один рост чего стоит и глаза красивые, такие добрые..

— Я его боюсь, Люба.. — наивно созналась Катя. — Он такой большой и сердитый.

— Напротив, он очень добрый, Катя, всех добрее.

— А ты как это узнала?

— Посмотрела раз и узнала.

Катя недоверчиво посмотрела на сестру, которая невольно засмеялась под ее наивным испытывающим взглядом..

— Ты меня обманываешь, Люба… Он злой, твой Бенелявдов!

— Почему же он мой, Катя?

— Ты его защищаешь, значит, твой…

— В таком случае и Агнцев, пожалуй, будет твоим?

Катя закусила губки и сердито посмотрела на сестру, но затем она засмеялась, хотя в глазах у нее дрожали крупные детские слезы.

— Ты злая, Люба!

— Особенно для тебя…

— Я больше тебя не люблю, Люба.. ты смеешься надо мной… — шептала Катя, кусая подушку и снова обнимая сестру. — Они ведь гадкие, Люба!. Слышишь, как они громко кричат? Сколько они сегодня пили этой водки, Люба… особенно этот большой дьякон, такой противный…

Люба молчала, тревожно прислушиваясь к доносившимся пьяным голосам, поднимавшим всю ее молодую кровь, заставляя вздрагивать при каждом сильном возгласе. Молодую девушку против ее воли волновало все, что происходило в комнате Агнцева, начиная с дребезжавшего охрипшего голоса отца, кончая рублеными дикими нотами, выходившими из горла Сазона. Катя только прислушивалась к пьяным голосам и неожиданно обратилась к сестре с таким вопросом:

— А что мы будем делать, Люба, если они придут сюда, в нашу комнату?

— Они этого не смеют сделать, Катя..

— Да теперь они пьяные…

— Это все равно, Катя, к женщинам вообще, а к девушкам особенно — никто не имеет права входить, тем более ночью..

— Я боюсь, Люба..

— Какая ты глупая, Катя!

— Перекрести меня, Люба, тогда я усну спокойно..

Катя поднялась на своей подушке и наклонила голову, которую Люба благословила, как это делала всегда их мать. Катя с глубоким вздохом опустилась на подушку и, свернувшись калачиком, закрыла глаза. Люба с удивлением услышала ее ровное мерное дыхание.

— Катя, неужели ты уже спишь?

— Ах… Люба… мне так хорошо с тобой… — с блаженной улыбкой шептала девочка, прижимаясь к сестре и пряча свою дремавшую голову у нее на груди.

Люба неожиданно и так крепко обняла сестру, что та даже тихо вскрикнула и широко раскрыла глаза, но ей было так хорошо теперь, что она еще ближе пододвинулась к сестре, точно отыскивая своим телом еще этих горячих объятий, прогнавших ее сон с одного раза и так сладко душивших ее. А Люба молча продолжала ласкать девочку, целуя ей глаза, все лицо, шею, худенькие плечи… Катя, как притаившийся зайчонок, не смела шевельнуться, с наслаждением подставляя свое лицо под горячие поцелуи сестры, порывистое дыхание которой так и жгло ее; она чувствовала каким-то инстинктом, что Люба теперь нуждается в ней, и отдалась всем своим маленьким существом в полное ее распоряжение. Девочка с удовольствием вдыхала в себя даже тот особенный свежий ароматный воздух, который, как казалось ей, всегда окружал сестру, она сладко закрывала глаза, как котенок под горячими лучами, и то вытягивалась на постели во весь свой рост, то снова свертывалась, как маленькая змейка. Но что это? Катя на своем лице вдруг почувствовала крупные горячие капли слез..

— Люба, Люба, что с тобой? — испуганно прошептала девочка, быстро вскакивая на ножки и бросаясь на шею к сестре.

— Ничего, Катя… это так, Катя… — шептала глухо Люба, стараясь спрятать свое лицо от испытующих взглядов девочки, которая хотела поцелуями осушить ее слезы. — Не целуй меня, Катя… Я не стою, не стою, Катя… Тебя я могу целовать, а ты меня не можешь, потому что я дурная сестра, гадкая девушка…

— Нет, нет… Это неправда! — дико вскрикнула Катя, покрывая своими поцелуями все горевшее заплаканное лицо сестры, с

большими серыми остановившимися глазами. — Я тебя люблю, тебя больше всех, и папаша любит, и все тебя будут любить, если только узнают, какая ты… красивая… хорошая.

Но Люба не слыхала ничего, что ей говорила сестра, она молчала, бездельно уставив глаза куда-то в одну точку. Недавний румянец тихо сбежал с ее щек, уступая место смертельной бледности, все тело нервно вздрагивало, высокая грудь тяжело дышала, точно девушку давила стопудовая гиря. Она с напряженным вниманием прислушивалась к дикому спору, кипевшему в комнате Агнцева и каждое слово которого резало ее как ножом…

— Люба, Люба… Что с тобой? — шептала девочка, прильнув к сестре всем своим телом. — Ты мне скажешь все, Люба? Да, все? Помнишь, как ты мне сказала, что выйдешь замуж за какого-нибудь богатого человека и как тогда всем нам будет хорошо… Помнишь? Я тогда еще просила тебя, если ты выйдешь замуж, непременно купить мне соломенную шляпу и много цветов, Люба, а ты тогда все смеялась надо мной… Ты тогда была такая славная, Люба!

— Да, Катя, я тогда была хорошей девушкой…

— И теперь ты тоже хорошая, Люба, только молчишь о чем-то. Я давно все замечаю за тобой! Я кое о чем начинаю догадываться…

Люба испуганными глазами посмотрела на сестру, но, заметив, что последние слова были маленькой военной хитростью с ее стороны, закрыла свои глаза, сказав, что ей хочется спать.

Прошло с полчаса, обе сестры все еще не спали, но обе старались показать, что давно спят, и обе наблюдали друг за другом. Люба не могла спать под давлением одной тяжелой мысли, мучившей ее уже немало времени, а Катя не спала из простого любопытства, которое у нее, как у всякой женщины, было точно в крови. Еще прошло полчаса, длинных, почти бесконечных полчаса, и Катя начала понемногу засыпать, наскучив наблюдать сестру, неподвижно лежавшую с закрытыми глазами. Наконец маленькая любопытная девочка заснула спокойным детским сном, и Люба осталась одна со своей тяжелой неотступной думой. Она снова открыла свои серые глаза, в которых было столько горя и столько любви к этому маленькому существу, так беззаботно свернувшемуся с ней рядом. Девушка теперь мечтала о том, как было ей хорошо, когда она была такой же маленькой, такой же наивной, такой же невинной, как эта Катя, которая с полуоткрытым ртом сладко спала на ее подушке.

— Что-то тебя ждет, маленькая девочка с розовым личиком, вьющимися волосами, слегка вздернутым маленьким носиком? — думала Люба, продолжая смотреть на сестру, на которой в насто-

ящую минуту сосредоточились все силы молодой жаждущей любви души. — Бедность, бедность, проклятая бедность… Что мы будем делать, когда у отца не останется ни гроша!

Люба даже задрожала при последней мысли, ей сделалось страшно не за себя, страшно не за отца, а вот за это маленькое существо, которое было совершенно беззащитно, которое еще не знало, что такое нужда. Через полгода, самое большее, последние крохи будут доедать, а впереди остается одна нищета… Это была одна сторона тяжелых размышлений девушки, другая же, касавшаяся ее одной, была еще тяжелей, тяжелей в тысячу раз, но девушка старалась совсем не думать о себе, потому что прошлого не воротишь, а впереди, впереди не оставалось ничего. Люба желала только одного — одной выносить свое горе, которое начинала подозревать маленькая Катя, доверчиво протягивавшая свои ручки, чтобы хоть сколько-нибудь поддержать сестру.

V

— Так ты, Силантий, давненько из дому-то? — спрашивал Бенелявдов старика небольшого роста, с седой окладистой бородой, сидевшего на самом кончике деревянного стула.

— Да, с неделю-то будет, Максим Гаврилович, — улыбнувшись, отвечал мужичок, — мы, значит, выехали в среду, а теперича, выходит, вторник… Отец-от дьякон больно просил меня зайти к тебе, скажи, говорит, Максиму Гавриловичу, чтобы, значит, не забывал Чубарку-то, а то, говорит, сам-от я стар стал, а заменушки нет. Пусть, говорит, пусть к нам, мы бы со старухой ему такую невесту, такую невесту, говорит, оборудовали, только, говорит, пусть, говорит … к нам.. Вот оно как, Максим Гаврилович! Надо бы побывать в Чубарке-то, очень уж старики-то древние стали, того и гляди, не ровен час, Господь-то и за душенькой их пошлет.

— Ну, а как мой-то батько поживает? — басом спрашивал Сазон, сидевший молча на подоконнике и пускавший время от времени густые клубы дыма.

— А твоего родителя, Сазон Евстигнеевич, я-то давненько не видывал, потому как он все значит перемогался… Известно, старость не радость, не прошлые дни, борода у него допреж того была вся седая, а теперича, значит, даже пожелтела, она быдто на лежалый лен походить стала. Тоже уж очинно древний старик стал! Вот бы собрались вы вместе-то с Максимом Гавриловичем да и проведали стариков…

— Вот уж в поездку когда поедем, Силантий, тогда уж и в Чубарку попадем, — заметил Бенелявдов. — А ты давай-ка выпей… С дороги-то оно хорошо действует, чай, устал?

— Тоже ведь и мое дело не молодое, Максим Гаврилович, — улыбнулся старик, — и дороженька дальняя, чай, верстов четыреста пропахали, старые-то кости так ломит и ломит…

Бенелявдов подал старику большую рюмку водки, которую Силантий перекрестил и выпил, долго пережевывая корку белой городской булки.

— Смотрю это я на вас, Максим Гаврилович, — улыбаясь, заговорил старик, — и дивлюсь. Давно ли это вы маленькими эдакими мальчонками были, а теперь какие вы здоровые из себя выросли, просто загляденье! Давеча я зашел в собор-от к вам, помолиться значит, слышу это пение-то ваше, свечи-то это везде стоят, росным ладаном-то наносит, и сам не знаю, что это со мной сделалось, на земле я аль на небе… А как посмотрел я на крылос-то, да увидел тебя с Сазоном Евстигнеевичем, то индо так вот слезы у меня и посыпались от радости, что эдак вас Господь-то Батюшко умудрил и какой талан открыл… Так вот я, кажется, и не вышел бы из церкви-то, все слушал ваши голоса ангельские, а Сазон Евстигнеевич так труба трубой и гудёт. Вот, думаю в Чубарку бы вас, то-то было бы мило всему селу радости на таких соколов! А как кончилась обедня-то, я и думаю, как так я к ним пойду, не ровен час еще обижаться будут на меня мужики… Так думаю про себя — семь бед — один ответ, а о. дьякон заказывал, ну и пошел с молитвой! А вот вы меня еще водчонкой угощаете… Как ворочусь в Чубарку, так все по порядку и расскажу старикам и то, как и в соборе, значит, как и здесь. Оченно им будет любопытно знать, в какой чести вы теперича, выходит, живете здесь.

— А ты скоро, старина, обратно-то двинешься? — спрашивал Бенелявдов, с любовью глядя на старика.

— Да вот как Ванюшку-то мово сдам здесь, — вдруг печально заговорил старик, утирая кулаком непрошеную слезу, покатившуюся по морщинистой загорелой щеке. — Больно жаль парнишку-то… Ведь который палец ни обруби — все больно. — Максим Гаврилыч! Вот так бы, кажется, лучше бы сам за него пошел в солдаты, да не берут нашего брата, стариков… Хоть бы пушки, што ли, нашим братом затыкали и то бы легче!

— Ревели бабы-то, когда рекрутов привозили? — спрашивал Бенелявдов.

— И не говори! — махнул рукой старик. — Так ревели, так

ревели, вот то с них, с живых, кожу лупили, а то слезами поможешь? Москва слезам не верит, Максим Гаврилыч…

Еще долго рассказывал Силантий певчим и про свою Чубарку, и про их стариков, и про город, пока не вспомнил, что ему давно пора идти на квартиру, где его давно дожидался рекрут сын. Распрощавшись с певчими, старик медленно вышел из комнаты и пошел своей ровной развалистой походкой через широкий архиерейский двор, расстилавшийся перед окнами архиерейской певческой. Сазон и Бенелявдов молча смотрели из окна на удалявшегося старика, на его вывернутые кривые ноги в больших сапогах, на старый армяк, перетянутый красной опояской, на рваную порыжевшую войлочную шляпу… Вот он поравнялся с собором, снял шляпу, несколько раз перекрестился, оглянулся в сторону певческой и снова заковылял вперед. Певчие продолжали смотреть на большую монастырскую ограду, окруженную с одной стороны несколькими строениями архиерейского дома и большим желтым кафедральным собором и, наконец, большим архиерейским садом, из-за которого вдали сверкала широкая, светлая полоса громадной, самой глубокой русской реки, на высоком берегу которой стоял собор и архиерейский дом. Вверху, в голубом небе весело горело майское жаркое солнце, обливавшее своими горячими жизнерадостными лучами и весь город, и реку, и архиерейский сад, и ряды надгробных памятников, занимавших большую половину архиерейского двора. Что-то особенное было во всей этой картине: здесь смерть, под этими мраморными плитами, а там кругом жизнь, бойкая, удесятеренная живым ключом кипевшая под животворными лучами майского солнца. В мягкой зелени только что распустившихся деревьев архиерейского сада бойко и задорно чирикали десятка два маленьких резвых птичек, в недосягаемой высоте голубого неба далеко-далеко черной точкой плавал ястреб, высматривая себе добычу, по реке тихо плыли тяжело нагруженные баржи, которые с шумом и свистом обгоняли щеголеватые пассажирские пароходы, коптившие воду и оставлявшие после себя темную пролосу дыма в воздухе, прозрачном и упругом, ревниво державшем в себе звуки, все краски.

— О чем ты думаешь, Сазон? — спрашивал Бенелявдов, кладя свою руку на плечо своему закадычному другу.

— Обо всем думаю, Макся! — категорически отвечал Сазон, не поворачивая головы.

— Однако о чем же?

— Да обо всем, говорят тебе… Вот, например, куда он то облачко, эвон … то бежит, куда-то оно уйдет? Вот я и смотрю на

него, а сам думаю, думаю, обо всем думаю! Теперь вот вдруг представил, что оттуда хорошо бы… в реку сверзаться, глубоко бы нырнуть, а что еще лучше бы забраться нам с тобой на это самое облако и четверть водки чтоб с нами была, и чтобы оно, облако-то, все плыло эдак, плыло, плыло и вдруг бы мы над Чубаркой …, вот бы смеху было…

Бенелявдов только улыбнулся, на Сазона иногда находило такое мечтательное настроение, и он подолгу смотрел куда-нибудь в одну точку, пока не являлось более сильное и реальное желание выпить, которое было для Сазона настоящей idée fixe.

В свою очередь, Бенелявдов думал о другом, он думал о своей … Чубарке, которой не видел по крайней мере лет пять, собираясь каждый раз непременно съездить туда и каждый год откладывая свое намерение. Теперь Бенелявдову двадцать пять лет, а ровно пятнадцать лет тому назад он с горькими неутешными слезами выезжал из Чубарки, отправляясь в город учиться. Ровно за две недели мать Макси начала оплакивать свое детище, дико выл и ревел сам Макся, когда на горизонте постепенно исчезла белая чубарская колокольня, безмятежный приют галок и голубей, не стерпел и сам о. дьякон, Гаврило Иванович, прослезился, поскорее проглотил соленую слезу и ни за что ни про что сряду раза три ударил кнутом ни в чем не повинного буланку. Через три дня пути перед путешественниками показался белый город с множеством белых каменных домов, с высокими колокольнями городских богатых церквей. Большими детскими глазами смотрел Макся на расстилавшуюся картину города, который раскинулся перед ним как на блюдечке, и его маленькое десятилетнее сердце сжалось под наплывом какого-то инстинктивного страха… Много прошло лет, но Макся никогда не забудет этой роковой минуты, бросившей его точно в какой-то омут, из которого он не мог никак вынырнуть. Дальше… что было дальше — Макся никак не мог сказать, исключая того, что сначала учился целых шесть лет в уездном духовном училище, а затем шесть лет в семинарии. Целых двенадцать лет какой-то нечеловеческой лошадиной науки и в результате — нуль, да, чистейший полный нуль! Макся ничего не вынес из этого бурсацкого чистилища, исключая искусства пить водку да петь по ночам. Архиерейская певческая, где Бенелявдов жил уже три года по окончании курса в семинарии, в своем роде была перлом, жемчужиной бурсы, где заживо погребалось много молодых и сильных людей, оставлявших на дне конюшни и последнюю каплю ума и совесть, и, наконец, самою жизнь.

Теперь Бенелявдов стоял у окна своей комнаты, смотрел на архиерейский двор и думал о своей Чубарке, прилепившейся на берегу озера по ту сторону Уральских гор, где начинается благодатная черноземная полоса, упирающаяся в бесконечную киргизскую степь.

— Хорошо теперь там, — думал Бенелявдов, припоминая картину чубарской весны, когда бесконечные поля оденутся, как зеленым дорогим бархатом, изумрудными озимыми, когда в свежем весеннем воздухе целые дни звенят серебром радостные песни неутомимых жаворонков, когда все оживает кругом такой здоровой трудолюбивой суетой, точно зараз сбрасывая с себя зимнюю спячку и лень. Бенелявдов даже глаза закрыл, стараясь представить себе рельефно всю картину весны… Ведь все эти нивы, холмы, перелески…, речушки, две-три деревушки на общем плане картины, водяная мельница, вереницы диких уток в воздухе, далекий оклик журавлей, звонкий клекот гордых белых красивых лебедей, красовавшихся по тихим речным заводям, меж зелеными стенами камыша, а там далекая мужицкая песня, потонувшая и точно застывшая в благодатном воздухе… Боже, как все это хорошо и как это близко сердцу архиерейского певчего Максима Бенелявдова, которого пятнадцать лет калечила проклятая бурса и все-таки не могла искалечить вполне, окончательно притупить и чувство, и мысль.

— Эх, погожу еще маленько да махну в самом деле в Чубарку, чем болтаться здесь-то попусту… Черт с ними со всеми! — Так думал Бенелявдов, вспоминая Силантия и сердито сплевывая на сторону. — Ничего здесь не выживешь путного…

И встала, живым встала перед Бенелявдовым вся эта пьяная, бесшабашная, отчаянная жизнь в его прошлом, и сердце невольно сжалось от предчувствия чего-то рокового в будущем, точно его держала какая-то сверхъестественная сила, не пуская в Чубарку, а тут, в двух шагах, весело и радостно, как водится, шептался молодой листвой архиерейский сад, серебром отливала могучая река, державшая в своих холодных объятиях все это бездонное небо, с плававшими по его бесконечному раздолью белогрудыми, пышными облаками, с ярко горевшим солнцем… Какой-то густой знакомый гул неожиданно поразил ухо Бенелявдова, и он оглянулся кругом, стараясь найти причину его происхождения, которая оказалась не чем иным, как его земляком и закадычным другом и приятелем Сазоном, забравшимся на самый высокий конек архиерейской конюшни, оседлавшим этот конек и с высоты этого деревянного трона трубившего на пять кварталов своим густым могучим басом.

— Отец мой соз-зда до-ом сей… — гудел Сазон, болтая ногами и посматривая на летавших кругом него голубей.

Но все это — и воспоминания, и настоящее было окрашено каким-то особенным цветом, Макся даже пить не хотел сегодня и что-то думал и думал.

— Пойду к Агнцеву, — решил наконец он.

Он изменил своему другу Сазону, ушел потихоньку один, но провидение наказало его, т.к. Агнцева он не застал дома, зато он опять увидел Любу, которая отворила ему дверь, и Бенелявдов так и остался с открытым ртом, точно его чем ослепило.

VI

Отец Петр Соболев, регент архиерейского курса, был замечательный человек во многих отношениях, начиная хоть с самой наружности, очень невзрачной, но очень симпатичный. Небольшого роста, приземистый, немного сутуловатый, с рыжеватой бородкой, небольшими острыми карими глазами, с выдававшимися скулами и какой-то детски-добродушной улыбкой, он выглядывал таким добряком, каким он и был на самом деле. Он рано овдовел, не имея совсем детей, представляя своим хозяйством заведовать какой-то старой тетке, совсем почти выжившей из ума, а главное, глухой, едва видевшей. Отцу Петру не было еще и сорока лет, хотя на вид он казался старше, благодаря, вероятно, той жизни, которую он вел, а жизнь была очень замечательна. Скромные привычки позволяли ему иметь небольшие суммы денег, которые затем периодически и прокучивались веселой компанией самым бесшабашным образом, когда сотни рублей бросались в один вечер, шампанское лилось рядом с простой очищенной, и в довершение всего целая компания женщин довольно подозрительной репутации разделяли все это безумное дикое веселье. Сам о. Петр в этих случаях казался совершенно неузнаваем, сразу превращаясь из скромного человека в настоящего зверя, не знавшего удержу расходившимся животным инстинктам. По городу, конечно, носились довольно прозрачные слухи о всех этих подвигах о. Петра и его сподвижников, но дело не заходило дальше слухов, потому что… уважали о. Петра и как человека, а особенно как регента, положившего на архиерейский хор всю свою душу. И действительно архиерейский хор был поставлен на очень высокую степень совершенства. Купечество, конечно, за это души не чаяло в о. Петре и носило его, как говорят, на руках, да и без этого о. Петр только и жил, что пением, которое заставляло его плакать как ребенка.

В начале июня о. Петр «разрешил» где-то на купеческих именинах и с того времени кутил наижесточайшим образом сряду две недели, за которые опустился до последней степени. Илюха, Сазон и Бенелявдов были непременными членами всех вообще попоек о. Петра, как его подчиненные-собутыльники, а это в особенности. Была, кажется, суббота, когда после всенощной все собрались у о. Петра, жившего на конце города в деревянном одноэтажном доме с крепкими зелеными ставнями.

— Ну, сегодня, братцы, разрешение вина и елея, — подмигивая и прищуриваясь, говорил о. Петр, похаживая по комнате и пощипывая рыжеватую бородку. — Ты как думаешь, Илья?

— Не совершить входящие во уста, а исходящие изо уст, — пробасил Илья … так громогласно, что пламя лампы дрожало точно пред смертной зыбью [*нрзб.*]. — Голова трещит, о. Петр, еще со вчерашнего, а сегодня что Бог даст… Вон и Сазон тоже думает. По роже вижу…

Сазон только улыбнулся, но улыбнулся такой странной улыбкой, точно подавился. О. Петр молчал и что-то обдумывал, насупив брови, что с ним случалось редко.

— А ведь сегодня, братие, назвался ко мне Алешка?!.. Что мы с ним будем делать, а? — как-то быстро заговорил о. Петр, обращаясь к Илюхе, заведомому врагу Алешки.

— По мне только чтобы он моего не выпил да не съел, а там черт с ним совсем, — равнодушно ответил Илюха, соображавший теперь главным образом о выпивке, ради которой готов был на время забыть все свои личные расчеты и соображения.

— Чтобы так было, Илья, а то брат, ежели ты ему какую пакость отмочишь, то и тебе, и мне несдобровать, потому не ровен час, как владыка узнает, вот мы с тобой и поплыли…

— Пустяки все, о. Петр, вот то есть даже пальцем его не трону, нет чтобы, значит, насчет чего прочего, — уверял Илюха от чистого сердца.

Попойка началась самым заурядным образом, пили большей частью молча, сосредоточенно, точно какие-нибудь заговорщики, не доверявшие даже стенам. Часа полтора таких упражнений развязали наконец… языки всем.

— А я тогда важно отрубил им многолетие-то, — хвастался Илюха, — вспоминая молебен по случаю открытия работ по устройству железной дороги, начинавшейся с города N. — Сам губернатор подошел ко мне и руку пожал, а губернаторша так даже испугалась и ни за что не хотела подойти ко мне… Мне инженеры за одно многолетие двадцать пять рублей подарили.

— Да что этим инженерам, им не житье здесь, а масленица, — заговорил Сазон, — каждый получает не меньше трехсот рублей в месяц. А это выходит денег как дров, тут просто рублевыми бумажками можно папироски раскуривать.

— Удивительное, однако, это дело, братие, — вступился о. Петр, — и я человек, и инженер человек, и я служу, и инженер служит, а ему триста, а мне пятьдесят… Это как же так выходит, по-вашему? Справедливо, … взаправду пословица говорит, что у денег глаз нет…

— По-моему, тут штука самая простая, — объяснил Ильюха, — эти инженеры какие-нибудь отставные дворянчики, денег им дать так, здорово живешь, правительству неудобно, вот их и рассылают по железным дорогам, и честь соблюдена честью, и деньги в кармане.

— Что-то уж очень мудрено, Илюха, — вступился Бенелявдов, сидевший до этого молча, — ведь инженеры не все из дворян, есть и из нашего брата, знать, все дело в науке, кто чему научился. Вот мы с тобой поем из-за хлеба на воду, а они строят дороги да выводят там разные вавилоны и деньгу загребают…

— Скоро вот еще висячие сады строить будут, только деньги давай, — присовокупил свое мнение Сазон.

— По-моему, господа, надо выпить… — это лучше всего, — высказал свои мысли о. Петр, который в эту минуту забыл и об инженерах, и, кажется, о всем на свете.

Все выпили, а затем стройное церковное пение огласило комнату. О. Петр регентовал, опустив глаза и слегка махая рукой. Сазон с Илюхой точно приросли к земле, выпуская тонкую густую струю басовых нот, от которых колыхалось пламя в лампе. Бенелявдов пел, полузакрыв глаза, и его тенор приятно вливался в немного суровую мелодию басов. Звуки ходили по комнате, переплетаясь между собой, они чего-то искали, пока не уходили кверху, где и стынули замеревшей мелодией.

— Довольно… больше не могу! — задыхаясь, шептал о. Петр, отирая платком крупный пот с лица и бессильно опускаясь на ближайший стул. — Душа моя болит…. сильно болит, братие!..

Крупные слезы дождем посыпались из маленьких глаз о. Петра, но он их не утирал, он их не стыдился. Он плакал как маленький ребенок, не имея больше сил сдерживать накопившегося горя в груди. Певчие молчали, потому что давно и хорошо знали весь характер о. Петра. Наступила общая тишина, которая неожиданно была прервана осторожным стуком в окно. Все невольно переглянулись, а о. Петр сам пошел отпереть дверь.

— Это Алешка ползет... — ворчал Илюха, отходя в дальний угол.

— Мир вам и я к вам, отцы и братие, — довольно развязно говорил молодой архиерейский послушник, с кудрявыми волосами и изрытой оспой физиономией, останавливаясь на пороге. — Что, не ждали? А я только что от владыки… делами весь вечер занимались…

Все молчали, только о. Петр улыбался, указывая послушнику на графин водки.

— Не упивайтеся вином, в нем же есть блуд… — говорил послушник, — наливая себе рюмку. — За здоровье о. Петра! Тысячу лет здравствовать…

— Куда уж нам… — сердито проговорил о. Петр, махнув рукой. — Того и гляди … ноги протянешь! Так вот еще пока Бог грехом терпит, болтаемся помаленьку между людей-то… Эх, господа, гости дорогие, выпьем-ка по единой, авось полегчает …

Гости выпили раз, выпили другой, выпили третий, а дело все не клеилось, разговоры не клеились, всем было не по себе, хотя все старались занимать друг друга из всех сил. Молодой послушник уже несколько раз оглядывал всю компанию своими темными глазами и как-то улыбался таинственно.

— Все бы ты хорош, о. Петр, — заговорил наконец, — только вот одного не сообразил, а приглашаешь гостей…

— В чем дело? — удивился о. Петр.

— А, а!.. Не притворяйся, брат, сам Господь сказал, что нехорошо жить человеку одному. Понял теперь?

— Понять-то понял, — смущенно заговорил о. Петр, — только теперь не такое время, и негде взять.

— Это пустяки, лишь стало бы охоты… По крайней мере я за себя отвечаю! Только мигнуть — такую кралю оборудуем, что все пальчики оближешь.

— Ну, это положим, ты уж соврал, Алексей, — заметил о. Петр.

— Конечно, соврал, — подтвердил Илюха, крякнув так, что рюмки на столе зазвенели.

Послушник несколько секунд молча смотрел на всех, а затем улыбнулся.

— Хочешь, о. Петр, пари со мной держать, — предложил послушник, у которого начало туманиться в голове порядочно, — что приведу сюда, к вам, такую кралю, что ты просто с ума сойдешь… Идет?

— Когда это? — спрашивал удивленный о. Петр.

— Да хотя сейчас так все равно, — хвастался послушник, — выйду, свистну, и… прибежит как собака…

— Значит, хозяина знает…

— Ну хоть и так, — соглашался послушник.

— Да ты все врешь, Алексей, божий человек, — пробасил Илюха.

— На воде вилами надо записывать каждое слово, — заметил Сазон, улыбаясь такой улыбкой, точно кто поднес ему под нос чего-то чересчур кислого.

— Да что толковать попусту, — горячился послушник, — хотите пари держать…

— Идет! — прогремел Илюха. — По десятке на брата, а с тебя сорок…

— Сорок так сорок, мне все равно выигрывать-то, а больше — лучше, — решил послушник, протягивая всем руку. — Выпью рюмку для смелости и вперед!

Он выпил рюмку и направился к двери, но с полдороги вернулся.

— Только вот что, господа, уговор дороже денег… Что я буду говорить при ней, вы должны подтверждать!

— Подтвердим, — уверял о. Петр, — только приводи скорее… Вон у молодцов моих на хваленое-то глаза и зубы разгорелись!

— Надует, чертов сын, — решил Илюха, когда послушник скрылся за дверью.

— А надует и лучше, без него нам совсем будет хорошо, — вмешался Бенелявдов, молчавший все время, пока послушник был в комнате. — Не люблю этого Алешку, от него так жидом и пахнет…

— Пусть приведет, посмотрим, какого полета птица, — задумчиво говорил о. Петр.

В ожидании послушника все принялись выпивать, подготовляя себя надлежащим образом. Илюха с Сазоном «хлопали» одну рюмку за другой с таким озабоченным и серьезным видом, как будто от этого зависела по меньшей мере их судьба.

— А ежели Алешка облапошит нас, я ему казанские салазки загну и вселенскую смазь пропишу, — подавал свое мнение Сазон, подкрадываясь вилкой к совсем беззащитному свежепросоленному огурцу, лежавшему на чайном блюдечке так доверчиво и вместе так соблазнительно.

— Сокрушу зубы грешника, и возрадуются кости смиренные, — присоединил свое слово Илюха, потирая свои здоровенные руки. — Мы ему горчицей нос вымажем…

Осторожный стук, послышавшийся в окно, заставил всех смолкнуть, о. Петр пошел открывать дверь, а в комнате водворилось самое мертвое напряженное молчание, так что слышно было тиканье карманных часов Илюхи.

— Здравствуйте, дядюшка, — послышался в передней голос послушника. — Вот вы хотели непременно видеть мою… невесту… Она едва согласилась прийти к вам, да … уверил ее, что у вас никого нет и вы один ждете нас.

Эта наглая ложь до того удивила о. Петра, что он только улыбался, не имея сил произнести ни одного слова, а в зале послышалось пыхтенье Сазона, который подтыкал Илюху. Вошедшая за послушником девушка, вся закутанная в темную шаль, недоверчиво смотрела кругом, не решаясь переступить порога в зал, … она смутно рассмотрела сидевших мужчин.

— Я не пойду туда… — прошептала девушка, указывая рукой в черной перчатке на зало.

Архиерейские певчие умирали от любопытства.

— Пустяки, Люба… — решал послушник, неожиданно сдергивая с девушки шаль и быстро увлекая ее за собой в зал, так что она только успела слабо крикнуть.

— Имею честь, господа, рекомендовать! — развязно раскланивался послушник, в то время как девушка вся дрожала как в лихорадке, она даже со страха ничего не могла хорошенько рассмотреть. — Люба, это мои друзья, располагайся здесь как у себя дома… Дядюшка, выпить нам для начала!

О. Петр стоял сбоку и глазами пожирал молодую стройную девушку, с задумчивыми серыми глазами, он не слыхал, как его величали дядюшкой.

— Мой дядюшка так обрадовался тебе, Люба, что не может от радости слова проговорить, — объяснил послушник девушке, — ты что будешь пить?

Девушка отрицательно покачала головой, с недоумением глядя на улыбавшееся лицо своего кавалера.

— Что ты смотришь так строго на меня, моя красавица, — продолжал послушник, развеселявшийся все больше.

Бенелявдов задрожал как осиновый лист, когда до его уха донеслись первые звуки голоса девушки, он сразу узнал ее, он запомнил … ее фигуру тогда до малейших подробностей. Все время, пока послушник … пред публикой, он был точно в лихорадке, чувствуя, как его бросало то в жар, то в холод.

Он плохо помнил, как бледный, с остановившимися глазами медленно поднимался со своего места и быстро подступил к послушнику.

— Ты выиграл и бери свое пари, — заговорил Бенелявдов сдавленным глухим голосом.

— Что же из этого! Я и без тебя возьму, авось пригодится на булавке Любе, — не смущаясь, отвечал послушник.

— Нет, врешь… этого не будет! — заревел вдруг Бенелявдов точно ужаленный, подступая все ближе и ближе к послушнику. — Я знаю эту девушку, и ты напрасно выдаешь ее нам …. за свою любовницу!.. Она порядочная девушка, а ты мерзавец! Знаю ее отца и … — волнение мешало говорить Бенелявдову, он задыхался, — и если … не сознаешься сейчас же, что обманом завел ее сюда… я… я задушу тебя как собаку!…

Все остолбенели от этого неожиданного энергичного монолога, а больше всех девушка, узнавшая Бенелявдова и теперь не знавшая, куда ей деваться. Илюха и Сазон переглядывались между собой, они не узнавали дочери Пузырева.

— Господи, что же это значит такое? — с простодушием посмотрел послушник кругом.

— А это значит то, чтобы ты сейчас же извинился при всех пред этой девушкой, которую обманом завел сюда, иначе… — Бенелявдов не мог докончить своей речи и только презрительно смерил послушника с ног до головы.

— А… понимаю… — это заговор против меня! — лепетал побледневший послушник. — Только, господа, этому не бывать, чтобы я стал извиняться пред своей… наложницей. Да… да…

Он не успел произнести последнего слова, как звонкая пощечина свалила его с ног, и он кубарем покатился по полу, где Бенелявдов по-медвежьи … сел прямо на горло и, по всей вероятности, задушил бы его в полторы минуты, если бы на выручку к послушнику не подоспел о. Петр, бросившийся в самый развал жестокой свалки. Ошеломленная всем случившимся, девушка с минуту какими-то безумными глазами смотрела на все кругом, а затем, слегка пошатываясь, вышла из комнаты, позабыв даже шаль.

— Валяй его в мою голову! — поощрял Илюха Бенелявдова, потирая руки.

— Карр-раул!… Режут!!! — орал бедный послушник, который получал жестокие удары могучей руки Бенелявдова.

VII

Прошло недели две после описанной сцены в квартире о. Петра. Над городом N стоял чудный летний вечер, солнце давно закатилось, в воздухе тянуло прохладой, весь город начинал затихать, оставляя дневные труды и заботы. Люба шла в этот вечер своей спокойной грациозной походкой по одной из глухих городских улиц, старательно избегая всяких встреч, которых в этом уединенном ме-

сте и не могло быть много. Девушка порой улыбалась какой-то горькой обиженной улыбкой и шептала бессвязные отрывочные слова.

— Все случилось, как я ждала… — бормотала девушка, потирая лоб белой маленькой рукой. — отец требует водки, Катя не ела почти два дня, а я уж позабыла, когда обедала… разве я могу их всех прокормить? Ведь лучше умереть разом, чем медленной бесконечной агонией всяких недостатков.

Люба шла все дальше и дальше, не замечая, как она выходила на большие улицы города, где прохожие начинали попадаться ей всей чаще и чаще. Она только на минуту остановилась около каменного белого дома, из окна которого, заставленного такими красивыми цветами, доносились стройные полные аккорды фортепиано, под аккомпанемент которых два молодых голоса пели такую дивную арию. У Любы голова закружилась от этих звуков, и она почувствовала себя вдвое беднее и в десять раз несчастнее.

— Куда теперь идти? — спрашивала себя девушка. — О, да это все равно!… Однако как хорошо быть богатым… Вот хоть этот дом, очень хорош, такие большие окна, .. комнаты… Богатые обедают каждый день… Впрочем, я не желаю богатства, оно портит хорошего человека. Вот если бы где можно было достать постоянный обед себе, Кате и папаше — я была бы вполне довольна. Вот какой толстый купец идет, у него, вероятно, очень много денег, разве обратиться к нему, но он верно посмеялся бы надо мной.

Люба очутилась на высоком берегу, с которого открывался великолепный вид на весь город, а особенно далеко на широкую реку, так величаво и плавно катившуюся в своих берегах. Солнце опустилось за горизонт, и с неба постепенно уходили последние розовые лучи заката, уступая место мерцающему … свету ночных звезд, бойко промигивавшихся там и сям в густой синеве темневшего неба. Люба внимательно следила за медленно двигавшимися по реке барками, на которых как мухи копошились бурлаки; вон какой-то пароход идет снизу, тяжело пыхтя и оставляя по себе длинную полосу пены; вон кучки рабочих суетятся на песчаном берегу около какого-то костра, под которым поднимается кверху бойкая струйка синего дыма; откуда-то доносится далекая, унылая, бурлацкая песня. Люба жадным ухом ловила все ее переливы, так и тянувшие ее за душу, поднимая там ее первое тяжелое девичье горе, так неожиданно придавившее ее, как наваливается черный ком земли [на] поднимающейся из земли стебель травы, который никак не может выбиться из-под его тяжести, чтобы дохнуть не свободе.

— Неужели кому-нибудь из этих людей может быть тяжелей, чем мне теперь? — думала Люба, припоминая свое тяжелое безвыходное горе. — Какое счастье, броситься отсюда туда, прямо в воду и больше ничего не знать, ничего не чувствовать… Ведь это так просто — один прыжок и все кончено! Все, все кончено, больше ничего не будет…

Люба села на зеленую скамейку, стоявшую на берегу, и бесцельно смотрела на темневшую внизу массу воды, точно манившую ее в свои холодные объятия. Пароход, который девушка видела раньше, теперь был уже совсем близко, бойко рассекая зеркальную поверхность уснувшей реки и выбрасывая вместе с клубами черного дыма целые снопы искр. Люба могла различать даже людей, которые столпились теперь на палубе парохода, любуясь картиной города, раскинувшегося на высоком берегу.

— Кто-нибудь их ждет, вот всех этих маленьких человечков, — думала девушка, стараясь рассмотреть скучившуюся на палубе публику. — Они наверняка везут с собой столько радостей в свои дома, где их ждут… Может быть .. их уже встречают на пристани…

Девушка совсем замечталась и совсем не замечала, что на другом конце зеленой скамейки поместился молодой человек в форменной шинели и пристально наблюдал ее. Это был еще совсем молодой человек, лет двадцати пяти самое большее, с довольно красивым смелым лицом и черными глазами, в закатных огнях, и небольшими усами. Он тоже следил все время глазами за пароходом и думал о собравшейся на его палубе публике почти теми же самыми словами, как и Люба. Легкий кашель молодого человека заставил девушку оглянуться, немного покраснеть и оставить скамейку. Она тихо пошла вдоль берега дальше от города, молодой человек пошел за ней и скоро догнал. Он шел за ней и думал: «Что это за Марго такая? Разве попытать счастья по части словесности, но ведь эти провинциалки пугливы как… как серны!».

— Послушайте, mademoiselle, — тихо заговорил молодой человек, равняясь с девушкой, — теперь довольно поздно, а вы идете одна в такую даль… Если бы вы позволили мне проводить вас, я счел бы себя за счастливейшего из смертных.

Люба молчала, но не ускоряла своих шагов.

«Молчание — знак согласия», — думал молодой человек, добавляя вслух: — Вы, пожалуйста, не рассердитесь на мою смелость, но обстоятельства… обстоятельства оправдывают меня, потому что… потому что мне показалось, что вы очень скучаете… и я тоже очень скучаю в этом проклятом городишке…

Люба продолжала молчать.

— Вы сердитесь? Я оскорбил вас? — спрашивал молодой человек. — Ради бога, простите меня…

— Нет, я не сержусь на вас… — тихо проговорила Люба, — если вам не будет скучно, можете проводить меня…

— О, тысячу раз благодарен вам! Вы просто являетесь моей спасительницей от моего страшного врага, неотступно преследовавшего меня, скуки…

— Я забыла вас предупредить, милостивый государь, что моя дорога вон в тот лес.

— Значит, нам по пути, — нашелся молодой человек, с удивлением оглядывая девушку, — мне тоже туда идти… Только это будет гораздо дальше, чем вы думаете, mademoiselle.

— Однако совершенно достаточно, чтобы утомиться до изнеможения.

— Неужели вам этого хочется?

— Да.

— И вы будете все идти вперед?

— Да.

— Это странно…

— Нет, очень серьезно.

— Почему?

— Потому что это мое желание.

— Которое вы не можете переменить?

— Собственно, мне все равно, и я бы предпочла прокатиться по реке в той рыбачьей лодке.

— Могу ли я предложить свои услуги? Я умею порядочно грести, а вы сможете наслаждаться природой…

— Я ничего не имею против этого.

— В таком случае смею предложить вам свою руку, потому что…

— Очень благодарна вам, — проговорила Люба, сначала не решаясь принять предложенной руки, но потом крепко оперлась на нее.

Они быстро спустились к реке, взяли лодку и несколькими взмахами весел очутились далеко от берега. Ночь совсем уже завладела городом, так что он казался каким-то большим черным животным, занявшим весь берег и что-то ворчавшим спросонья. Кой-где красноватыми пятнами вырезывались … окна обывательских домиков, да соборная колокольня упиралась … желтым конусом чуть ли не в самое небо.

— Вы теперь довольны? — спрашивал молодой человек, когда лодка очутилась на средине реки и он бросил весла.

— Да… Я бы, кажется, всю ночь провела на реке.

— Но ведь скоро начнет подниматься туман, а вы одеты по-летнему и можете простудиться…

— Это все равно для меня. Иногда смерть является очень кстати… Вы знаете, о чем я думала там вверху, сидя на скамье?

— Нет…

— Я думала, как хорошо было бы броситься оттуда в воду, чтобы разом все покончить…

— Вы говорите очень страшные вещи…

— Я говорю то, что я думала тогда.

Люба одной рукой бороздила воду, которая так бойко журчала под ее маленькими пальчиками; она несколько раз пристально всматривалась в спокойную поверхность воды, отыскивая в душе прежнее желание броситься в воду, но его больше не было, девушка теперь хотела лететь вперед, лететь так быстро, чтобы ветром било в лицо, чтобы дыхание спирало в груди. А лодка все скользила вперед, вверх по реке, где стояло несколько пароходных пристаней, мелькали огни и доносился смешанный гул голосов. Лодка подплывала все ближе и ближе, так что из темноты все ясней и ясней выступали силуэты пароходов, барж и пристаней.

— Послушайте, mademoiselle, вы не оскорбитесь одним моим предложением

— Говорите…

— Могу я вам предложить разделить со мной ужин в одной из гостиниц.

— А сколько теперь времени?

— Скоро двенадцать часов.

— Держите к берегу…

Скоро лодка стукнулась о берег, и молодые люди вышли на мокрый холодный песок. Через несколько минут они шли под руку по набережной, проталкиваясь меж кучей народа, спешившей на пароход, мерно покачивавшийся на воде и тяжело вздыхавший. Молодой человек терялся в догадках относительно своей спутницы, которая все время держала себя так странно спокойно, и вместе он не мог не заметить, что у этой девушки что-то лежит на душе. Во всяком случае, встреча обещала быть очень интересной, а молодежь только и домогается подобных встреч, из ста случаев в девяносто девяти оканчивающихся ничем. Что касается самой Любы, то она, с одной стороны, была рада присутствию около себя живого человеческого существа, а с другой — поступала совершенно бессознательно, повинуясь смутному и неопределенному, но очень сильному желанию куда-нибудь деваться от преследовавших ее тяжелых мыслей.

— Не промочили ли вы ноги? — заботливо спрашивал молодой человек, когда он помогал своей спутнице подниматься по богатой лестнице лучшего ресторана в городе, уставленной тропическими растениями и чучелами птиц.

— Благодарю вас, мои ноги совсем сухи, — спокойно отвечала Люба, с любопытством рассматривая роскошную обстановку ресторана, где пред ними глупо засуетилась толпа лакеев с белыми салфетками в руках.

Молодой человек заказал ужин на двоих. Молодые люди только теперь могли хорошенько рассмотреть друг друга, и обе стороны остались довольны таким осмотром. Люба догадалась, что ее кавалер был одним из инженеров, строивших железную дорогу, что было можно заключить по его мундиру.

VIII

— Послушайте, здесь, может быть, вам не нравится ужинать, в общей зале? — спрашивал … Любу. — Можно ужинать в отдельном кабинете…

Они помещались в небольшой комнатке, выходившей дверями в ту же общую залу и убранную так мило различными драпри, растениями, мягкой мебелью и богатыми бронзовыми канделябрами. Люба с удовольствием осматривала все кругом.

— Теперь, прекрасная незнакомка, позвольте отрекомендоваться вам — Николай Александрович Зорин — и узнать ваше имя..

— Любовь Павловна…

— Вот и прекрасно, Любовь Павловна… Я так рад, так рад, что встретился с вами… Вы далеко отсюда живете?

— Да, не особенно близко..

Дальнейший разговор продолжался в этом же роде, бегло и отрывочно, потому что при сильном освещении новым знакомым было не совсем по себе, и они украдкой рассматривали друг друга. Люба была одета очень скромно, в шерстяное платье, шитое ей самой, но все на ней сидело так хорошо, обрисовывая рельефно красоту талии, плеч и груди, что инженер начинал даже немного трусить некоторых вопросов, вертевшихся у него на языке и готовых сорваться каждую минуту. Люба, в свою очередь, не могла не замечать, что ее неожиданный кавалер если и не был особенным красавцем, то был по-своему хорош, даже немного, может быть, более чем хорош, невольно сознавалась сама себе девушка. Поданный роскошный ужин скоро прервал все взаимные наблюдения.

— Любовь Павловна, вы позволите предложить вам стакан вина? — и, не дожидаясь ответа, Зорин сейчас же приказал подать шампанское, которое золотистой струей брызнуло и запенилось в стаканах.

Люба сначала отказывалась, но потом взяла свой стакан. Ей сегодня хотелось непременно кончить день чем-нибудь необыкновенным.

— За ваше здоровье, Любовь Павловна! — поднял высоко свой стакан Зорин, предварительно чокнувшись с Любой, которой очень понравилось выпитое вино, так приятно ударившее ей в голову.

Ужин шел все время очень весело, вино заметно подействовало на Любу, которая развеселилась не на шутку и поглядывала кругом такими искрившимися глазами, точно позеленевшими и подернувшимися какой-то особенной блестящей поволокой. Ужин подходил уже к концу, как в общей зале неожиданно заиграл оркестрино ту самую арию, которую Люба слышала давеча под окном. Вилка и нож выпали из рук девушки, когда чудная мелодия полилась широкой рекой, унося с собой все кругом. По крайней мере, Любе показалось теперь, что кругом нее тонуло все в волнах этих чудесных звуков. Какое-то восторженное настроение разом овладело девушкой, крупные детские слезы выступили у нее на глазах, она вспомнила свою семью, свое прошлое, свою первую любовь, свой первый позор, и вся ее молодая горячая кровь встала одной высокой волной, заставляя кружиться голову и сердце бить тревогу.

— Любовь Павловна, у вас есть какое-то горе… Конечно, я человек совершенно посторонний, но настоящий друг узнается только в несчастье, — тихо заговорил Зорин, заметивший слезы Любы.

— Да, я не особенно счастлива, Николай Александрович, — сквозь слезы улыбнулась Люба, — но это меня расстроила музыка… Скажите, чтобы играли что-нибудь веселое!

Зорин распорядился, и оркестрино заиграло вальс il bacio, заставив девушку унестись мечтами далеко-далеко от своего прошлого и настоящего … в ту заветную страну, где они жили своими грезами. Жажда любви, жизни, жажда счастья с страшной силой вспыхнула в душе девушки в настоящую минуту, она хотела быть всех счастливее, жить каждой каплей крови, каждым нервом, утопив и свое прошлое, и свои печали в стакане с искрометным золотистым вином… Зорин больше не узнавал своей незнакомки, превратившейся точно в какое-то дитя, но такое очаровательное, обольстительное дитя.

— Послушайте, Николай Александрович, — предлагала Люба, окончательно развеселившись, — вы меня не знаете, и я вас тоже, а потому будем говорить друг другу «ты»… Ты — Коля, ты — Люба! Это будет очень смешно, не правда ли?

— Но к чему это поведет, Любовь… Люба? — как-то печально заговорил Зорин.

— Это не ваше … не твое дело, Коля, — храбрилась девушка, — жизнь так скучна и так гадка, что нужно ловить обеими руками каждое мгновение счастья … его может дать только одна молодость… Согласны?

— О, еще бы! Давайте выпьем за молодость… Виноват: выпьем за…

Люба только лукаво улыбнулась и погрозила своим маленьким красивым пальчиком. Музыка играла, вино лилось, они смеялись, шутили, хохотали, но Любе все было мало.

— Коля, вставай сейчас передо мной на колени и клянись в своей любви ко мне… Знаешь, как в романах клянутся различные герои? Ну, начинай, Коля, — командовала Люба.

— Люба! Свет моих очей, дыхание моих уст.. — на коленях страстно шептал Зорин, который окончательно потерял свою голову от выходок Любы. — С первого взгляда на тебя, Люба, я понял, что в твоих маленьких ручках заключается все мое счастье, которое ты можешь навеки разбить одним поворотом твоих чудных глаз.. О, Люба, Люба! Если ты хоть тысячную долю чувствуешь того, что я чувствую в настоящую минуту… Будь моей царицей, а я сделаюсь твоим верноподданным!!

Девушка слушала эти безумные слова с полуоткрытым ртом, с горячим румянцем на щеках, с полузакрытыми горевшими глазами… Казалось, вся молодость хлынула у ней к сердцу, и она хотела выпить за один раз. Грудь дышала тяжело и порывисто, голова сладко кружилась, губы просили поцелуя… Она была больше чем красавицей в настоящую минуту.

IX

У Пузырева была водка, у Кати был хороший обед…

Однажды вечером Николай Александрович долго гулял с Любой по всему …, оба устали, хотели отдохнуть, в ресторан никуда Люба не соглашалась идти.

— Ах, Люба, я ведь и забыл тебе сказать, — улыбаясь, заговорил Зорин. — У меня есть товарищ, с которым мы живем в одной комнате, пойдем к нам в гости.. Он будет очень рад, но только

вперед предупреждаю тебя, что с виду, по его наружности, он очень суровый человек, хотя в душе — ребенок, нет, еще больше, за что я его люблю после тебя больше всех, всей душой. Его фамилия Курганов, а зовут — Дмитрием Ивановичем

Через четверть часа молодые люди вошли в комнату небольшого деревянного дома, выходившего окном прямо на главную городскую площадь, посередине которой стоял небольшой деревянный театр. Николай Александрович ввел Любу в большую просторную комнату в три больших окна, с довольно простой мебелью и столами, заваленными какими-то инструментами и книгами. Беспорядок был порядочный, если присовокупить ко всему кучки золы и окурки сигар, валявшиеся повсюду. Небольшая дверь вела в маленькую комнату, служившую друзьям спальней, где теперь поспешно одевался Курганов, что-то сердито ворча.

— Нельзя ли поскорее, Дмитрий Иванович, а то заставляешь ждать мою даму, — с улыбкой говорил Зорин.

Через несколько минут в дверях показалась взъерошенная приземистая фигура молодого человека с такой свирепой физиономией, что Люба невольно подалась назад вместо поклона. А Дмитрий Иванович даже и не посмотрел на нее, просто уставился глазами в угол, да так и не мог никак оттуда их освободить, точно там у него лежал клад какой. Зорин отрекомендовал своего приятеля, который как-то неловко протянул свою руку, в которой была сигара и долго не знал, что ему делать с ней, пока не догадался взять сигару левой рукой. Однако кое-как знакомство состоялось.

— Ведь вот человек, Любовь Павловна, целый день лежит на боку и никакими силами его не вытащишь на свежий воздух, докладывал Зорин, — а душа у него отменной доброты, а что касается ума, Любовь Павловна, то я положа руку на сердце могу признать первейшим философом на всем земном шаре… Вы вот поговорите-ка с ним, он такой мудрости вам наскажет, … я даже иногда чихаю, Любовь Павловна! Вот ей-богу, это правда!

А Курганов продолжал все стоять на своем месте, не зная, куда ему девать свое неуклюжее тело и … исподлобья поглядывая на вошедшую девушку, присутствие которой внесло в их комнату точно волну света. При помощи Зорина все кое-как разместились за столом, где и завязался тот разговор, натянутый и неловкий, который всегда завязывается в первые минуты знакомства людей из различных слоев общества. Только для Николая Александровича последнее не было законом, и он везде чувствовал себя так же непринужденно, как и здесь.

— Вы, Любовь Павловна, можете верить всего одному слову из десяти, которые говорит мой друг, — заговорил Курганов, взглянув исподлобья и улыбнувшись такой детски-простодушной улыбкой, которая так шла к его некрасивой, но очень серьезной и умной физиономии. Люба как женщина каким-то инстинктом почуяла в этой угловатой некрасивой фигуре что-то такое славное, точно она с Курановым была знакома тысячу лет. Девушка сразу победила улыбкой этого странного человека, которого Люба наблюдала все время, и чем больше она всматривалась в него, тем больше он ей нравился. Его маленькие серые глаза, спрятавшиеся под густыми бровями, большой рот, небольшая бородка клином, выдававшиеся скулы — все так гармонизировало одно с другим. Особенно хороши после улыбки были глаза, которые смотрели то исподлобья, то прямо в упор, но их настоящее выражение Люба уловила только сбоку, когда они пристально и как-то с любопытством всматривались в предмет. Итак, на первый раз Люба заключила, что у Дмитрия Ивановича были очень хороши его улыбка и выразительные глаза, когда он не заметил, что за ним следят. Для первого знакомства этого было совершенно достаточно.

— Но ведь, ей-богу же, это более чем странно смотреть на жизнь как на что-то вроде касторового масла, о котором нельзя вспомнить не поморщившись, — отстаивал Зорин свои легкие взгляды на жизнь. — Хорошо, что у тебя такой взгляд, а у меня совершенно другой, у Любовь Павловны может третий и т.д. Нельзя же целый мир превратить в монастырь, людей — в отшельников, а солнце в погребальный факел… Фу-ты, Господи, даже возвышенным слогом стал выражаться, Любовь Павловна! И вы по милости моего милейшего друга, который мне дороже приходится, чем собаке палка… Он мне такие проповеди иногда … и даже что? Предсказывает и пророчествует самую несчастную судьбу.

— Послушай, Николай, ты против кого же это пророчествуешь? Я, кажется, молчу, … нашей даме, не думаю, чтобы особенно интересным могли показаться все наши разногласия, — спокойно заметил Курганов, пуская целые облака синего дыма.

Вообще весь этот вечер Люба провела каким-то особенным образом, точно попала в какую-то новую атмосферу, где люди и говорят, и думают, и дышат совершенно иначе, чем как это все делают обыкновенные люди. Все время, проведенное в квартире инженеров, она старалась открыть что-то, чем отличались они от обыкновенных людей, и никак не могла.

— Надеюсь, Любовь Павловна, что мы с вами будем друзьями, — говорил на прощанье Курганов, крепко сжимая руку девушки

и улыбаясь ей своей добродушной … как будто немного печальной улыбкой.

— Я скоро надоем вам, — чистосердечно признавалась Люба, не понимавшая, что от нее требовали не ума, не даже развития, а того свежего человеческого чувства, которое вносит с собой каждая порядочная женщина в мужское общество, слишком черствое, слишком эгоистичное даже в самых лучших своих порывах.

X

Люба возвращалась домой довольно поздно, занятая своими собственными делами. Зорин обыкновенно провожал Любу только до Тихонькой улицы, чтобы не навлечь на девушку каких-нибудь подозрений. Так и теперь Люба шла по Тихонькой улице одна, не слыша, как на нее сыпались с высоты крыши соседа-голубятника … недвусмысленные намеки. Этому человеку, не сходившему со своей крыши, каким-то образом было известно все на свете.

— Наше вам-с, Любовь Павловна, низенькое-с! — издали закричал голубятник, увидев подходившую девушку. — Нонче как делают, ежели что значит насчет папеньки с мамынькой … значит сичас анжинера и все такое прочее, по канплекции значит что следовает! Эх, жаль мне этого Пузырева, вот как жаль… Лучше бы … кажется, просто руки на себя наложил, взял да огурцом и зарезался, или вот же добрые люди сказывают, из деревянной пушки кислым творогом тоже хорошо порешить себя! А то эти анжинеры арихметику ой как знают…ушлый народец, одно слово! Сейчас ежели чево и сдачи, ступай жалься, с голого, что со святого, взять нечего, а как значит женская эта слабость им попадет в руки… Одно слово — профуфыришь Пузырев обоих дочерей и кончено!!

Люба шла под градом этих замечаний, на которые привыкла не обращать никакого внимания. Катя ей отворила двери и долго смотрела на нее.

— Ну что, Катя, отец?

— Спит давно, Люба … Весь день тебя бранил и все водку пил, я так боялась все время. Что ты так долго не приходила?

— У меня дела, Катя… — краснея, говорила Люба, но Катя все это замечала и не говорила только из боязни огорчать сестру.

Между сестрами за последнее время установились какие-то довольно натянутые отношения, тяготившие их обеих, но прекратить их разом у Любы не хватало сил, да и Катя была так еще мала,

что не могла понять всего, что творилось с сестрой, которая бросалась в пропасть вниз головой.

И эту, как прошлые ночи, Люба опять продумала всю напролет, не сомкнув глаз. Ей было о чем подумать на свой пай, начиная со своих несчастных отношений к архиерейскому послушнику, обманувшему ее самым несчастным образом и еще хотевшему похвастать последним, и кончая своими отношениями к Николаю Александровичу, который не обещал ей жениться на ней, да … этого она и сама не желала, потому что ей попросту надоела жизнь. Если она и продолжала жить, то исключительно только для своей Кати, отчасти для отца и еще одного неопределенного чувства, смутно бродившего в ней, и при одной мысли о котором ее бросало в жар и холод, так что она в этих случаях начинала сама бояться себя. Вообще же она считала свою песенку спетой, и ей казалось это так естественно, точно все это иначе и быть не могло. Все ее молодое нетронутое существо сразу погнулось под напором какой-то железной силы, сразу изуродовавшей ее внутреннюю жизнь. Девушка вообще старалась не думать о себе и даже совсем не могла молиться, раз и навсегда покончив со своей душой, которую серьезно считала погибшей безвозвратно. Так действует на молодое неокрепшее растение один порыв холодного ветра, который сразу морозит все, едва оставляя живыми несколько корешков спрятавшихся глубоко в земле.

Тяжелое сознание настоящего отчасти парализовалось семейными привязанностями, в жертву которым столько приносилось, отчасти тем образом жизни, который Люба вела в последнее время. Это был какой-то вихрь, уносивший ее постоянно, точно она на время отрывалась от настоящего и жила в какой-то фантастической области. И было отчего закружиться голове молоденькой девушки, жившей все время взаперти, а теперь сразу попавшей в самый крутой водоворот жизни, бросившей ее так безжалостно в бездну. Обыкновенно весь день Люба проводила дома и только вместе с сумерками оставляла его. Зорин ждал ее на углу первой улицы, и они под руку отправлялись вместе, проводя вечер где-нибудь в театре или в разговорах дома, или за последнее время в веселых поездках на маленьком пароходике далеко вверх или вниз по реке. Даже Курганов и тот поддался общему течению и послушно шел за Любой везде: и в театр, где забирался в самый темный угол ложи, и на гулянья, где обступал всем ноги.

— Вы его, Любовь Павловна, совсем ручным сделали, — улыбаясь, говорил Зорин про своего друга, который при этом только морщился.

Больше всего Люба любила ходить в театр, который она не могла посещать раньше по многим очень уважительными причи-

нам, а теперь Зорин брал билет в ложу, которая была меньше заметна для публики, и все трое отправлялись … С каким нетерпением ждала Люба, когда поднимется занавес, и как жадно следила она за всем ходом, переживая за всех героев и героинь.

— Как это удивительно, Дмитрий Иванович, — часто говорила Люба Курганову, ее главному поверенному по всем серьезным вопросам. — Ведь вот то, о чем говорят и рассуждают на сцене, сколько раз я все передумала сама… Только вот передать этого своими словами совсем не умею!

— Всему учатся, Любовь Павловна, — невозмутимо отвечал Курганов.

— Нет, мне кажется, мне бы никогда не научиться так хорошо передать все, о чем я думаю и что я чувствую..

Курганов только улыбался на эти детские наивные речи, открывавшие ему такие горизонты, о каких он прежде и представления не имел. Только теперь Курганов постепенно начал приходить к сознанию того, что самая большая и самая мудрая наука есть только сама жизнь, а самая интересная ее часть — это сам человек, со своими бесконечными думами и еще более бесконечными чувствами. Он невольно удивлялся тем метким замечаниям, которые Люба бросала мимоходом, шутя и которые ему стоили такой кропотливой тяжелой работы … Благодаря этому Курганов просто изучал Любу, в которой с каждым разом открывал новые и новые достоинства, и кончил тем, что страстно влюбился в эту, по его мнению, необыкновенную девушку, случайно затерявшуюся со своей светлой душой и сильно работавшей мыслью среди остального человечества. Любовь Курганова была той чисто возвышенной любовью, которой могут любить только люди его разбора, то есть люди, умеющие глубоко и сильно чувствовать, люди одаренные такой ясной здоровой мыслью, которая находится в связи с их детски-наивной душой. Люба иногда замечала на себе упорный взгляд Курганова, но не придавала этому особенного значения, слишком занятая своими собственными соображениями.

Люба вся как-то переменилась в театре, переживая за десятерых. Даже антракты и те приносили с собой много интересных сведений, благодаря всеведению Зорина относительно толпившейся в партере публики. Люба всегда с особенным любопытством засматривалась на шикарно разодетых дам, N-ских аристократов, которых она почему-то не могла представить себе как обыкновенных людей, а чем-то совершенно другими, какой-то высшей породой.

— Все это пустяки, Любовь Павловна, — разуверял девушку Зорин. — Люди везде как люди, с грехом пополам.. Вон видите

ту чересчур полную молодую даму, брюнетку, это вице-губернаторша, она замечательна тем, что когда утром выходит из ванны и горничная вытирает ее простыней, в это время она всегда призывает своего слугу, которому совсем голая и передает всю свою волю относительно текущих счетов.

— Не может быть… — не поверила Люба.

— А вот та белокурая, востроносая, тоненькая дамочка, которая теперь подошла к вице-губернаторше и навела на нее своей золотой лорнет, — продолжал Зорин, — это жена одного инженера, тоже в своем роде особа довольно замечательная, потому что меняет своих любовников как перчатки.. Заметьте, какие у ней щегольские аристократические ручки, она прочно держит в них губернатора, который для нее готов трепака отплясывать при всем честном народе.

— А вон у барьера разговаривает высокая стройная женщина, с темными глазами, с красивой румяной девушкой, — не унимался Зорин. — Эта парочка тоже стоит вашего внимания… Эта высокая женщина с такими прекрасными глазами, Любовь Павловна, куплена теперешним своим мужем от живого мужа, который отказался от нее за известный куш денег. Румяная девушка, которая теперь смеется, месяц тому назад вышла замуж за одного купца, а сама по уши влюблена в полицмейстера, вон того полного шатена, которому она делает глазки..

— Неужели все это правда, Николай Александрович? — удивлялась и не верила Люба.

— Уверяю вас, Любовь Павловна, как честный человек, — горячо уверял Зорин, — даже могу сказать больше, именно, что мужья меняются грешками с женами…

— Это как же?

— Да очень просто, Любовь Павловна. Муж смотрит сквозь пальцы на проделки жены, жена смотрит сквозь пальцы на шашни мужа, и все довольны друг другом, а главное — все приличия соблюдены! Да что же будешь делать в подобной трущобе, как город N, поневоле грешить приходится, хоть для простого времяпровождения, ведь не все же родились философами и стоиками.

«Неужели все это правда?» — тысячу раз спрашивала Люба сама себя, продолжая смотреть в партер, где волновалась и шумела веселая, разодетая, красивая, вечно довольная сама собой и всем на свете толпа, точно пылинки в полосе солнечного света.

«Так вот вы какие… — думала Люба, чувствуя, как какая-то пелена спадала с ее глаз. — Мы, бедняки, грешим по глупости и по бедности, а вы грешите из любви к искусству и в свое собственное удовольствие!»

— Заметьте при этом, Любовь Павловна, — развивал свою мысль Зорин дальше, — все эти красивые, недоступные, великолепные дамы сменяют своих любовников периодически, смотря по сезону. Прежде были в ходу отставные армейские офицеры, их сменили земские, земских забили аблакаты, а теперь, Любовь Павловна, знаете на кого мода?

— На инженеров?

— Да-с, имеем честь нравиться! Может быть, вы пожелаете знать, чем занимаются все те наиприличнейшие благочестивые мужи с пенсне на носу. Занятий у них по горло: играют в карты, волочатся напропалую, а главное — поголовно все пьют горькую … До зеленого змия, до белых слонов все пьют.

Зорин вообще беспощадно отзывался о всей публике, обыкновенно наполнявшей битком весь партер, и Люба слушала его, затаив дыхание, совсем не замечала, как за ней из угла ложи смотрела пара серых пронзительных глаз Курганова, который по целым вечерам не мог оторваться от ее стройной гибкой фигуры, так и дышавшей всей силой молодости. Особенно долго любовался Курганов выражением подвижного лица Любы, которое постоянно менялось, переходило от горя к радости, от полной апатии — к живому участию. Особенно хорошо было лицо Любы, когда она слушала бесконечные рассказы Зорина о всякой всячине, начиная с городских сплетен и кончая жестоким обличением всех и вся, что иногда любил делать Зорин в минуту одушевления. Какое-то тонкое, едва уловимое выражение скользило по лицу Любы в эти минуты, заставляя слегка вздрагивать верхнюю губу и прячась где-то в уголках рта.

XI

По случаю именин Любы, 17 сентября инженерами было устроено катание по реке на пароходе, откупленном на целую ночь у какой-то пароходной компании. Люба была против обыкновения как-то особенно грустна и все время молча смотрела в воду, двумя пенившимися волнами расступавшуюся перед пароходом. Зорин исчерпал весь запас своих анекдотов, но девушка оставалась к ним равнодушной.

— Я очень скверная девушка … — серьезно говорила Люба Курганову. — Я жила все время только для самой себя, я и не подозревала существования другой жизни…

— Но вы, Любовь Павловна, так молоды, что еще не могли сделаться хорошей или дурной, в полном значении этих слов, —

успокаивал Курганов расходившееся чувство девушки. — Все у вас еще впереди, вы только начинаете жить…

— Вы жестоко ошибаетесь, Дмитрий Иванович, — грустно говорила Люба, — я оканчиваю свою жизнь, которой, говоря правду, и не начинала… Привязанности, которыми я жила до сих пор, могут каждую минуту оборваться, до более широких интересов я не доросла и только первый раз от вас услышала о них. Ведь все это не для нас, наивных девушек, которые обжигают свои крылья около первого огонька и больше летать не могут…

— Вы, Любовь Павловна, сегодня не в своей тарелке…

Люба так взглянула на Курганова своими большими серыми глазами, что у того похолодело на душе от этого взгляда, так он был правдив и так много говорил, чего не умеет высказать язык. Только теперь Курганов понял, сколько горя накипело у девушки на душе, и ему сделалось страшно за нее, страшно за ту бездну, которая расступалась у нее под ногами.

— Что это, господа, такое? — недовольным голосом спрашивал Зорин. — Ведь мы, слава Богу, не собираемся еще никого хоронить… Будемте веселиться, будемте гулять, только молодость — счастье, сказала когда-то Любовь Павловна, так осушим же счастье капля по капле до самого дна и тогда повесим наши надежды на гвоздик и будем жить воспоминаниями. Любовь Павловна, пьем за ваше здоровье!

Инженеры подняли стаканы шампанского и чокнулись с Любой, в это время на носу парохода заиграла полковая музыка. У Любы задрожал в руках стакан, она меньше всего ожидала такого сюрприза, устроенного для нее Зориным.

— Благодарю вас, господа… — прошептала Люба, пожимая руки своих кавалеров и едва сдерживая слезы, дрожавшие у нее в голосе и застилавшие ей глаза.

А там, на носу парохода так и вставали дыбом торжественные звуки какого-то туша, далеко разносясь по реке и замирая где-то у берегов. Сюрприз этим еще не кончился, через четверть часа весь пароход горел разноцветными шкаликами, а на мачте вспыхнул большой вензель Любы, устроенный самим Зориным. У девушки просто голова закружилась от всего этого внимания к ней.

— Господа… я, право, не знаю, чем могу заплатить вам за ваше внимание? — наивно говорила Люба, не имея сил отделаться от охватившего ее впечатления. — Вы всегда были так добры ко мне…

Курганов только схватился за голову от этих слов, которые резали его как ножом и которые он ждал и боялся еще в то время,

когда проект праздника только что был задуман вчера. Люба, сама того не подозревая, сразила наповал своих друзей.

— Любовь Павловна … на ваши слова позвольте лишь ответить… что… — замялся Курганов, что с ним вообще редко случалось, — что … что мы, собственно говоря, не достойны, чтобы пить за ваше здоровье… Да мы не достойны, Любовь Павловна.

Курганов с этими словами закрыл лицо и убежал, Люба с недоумением посмотрела на Зорина, который тоже замялся и кусал губы.

— Это … это случается с Дмитрием… — объяснял Зорин. — С ним, если он выпил много вина, всегда делается что-то вроде припадка… то есть какое-то эдакое восторженное настроение!!!

— А … — прошептала девушка, начинавшая что-то подозревать во всем этом.

Но Курганов скоро вернулся, он был немного бледнее обыкновенного и особенно старался быть развязным, точно чтобы забыли о его выходке. Ночь была очень холодная, звездная, какие иногда выдаются в этой местности, но река была тиха и отливалась каким-то темным блеском, пароход с шумом бежал все вперед и вперед, в ночную мглу, как какое-то железное чудовище нового времени, тихо вздрагивая и дыша густыми клубами густого дыма и целыми снопами золотых искр, скоро гаснувших в холодном воздухе. Гулявшая компания то спускалась вниз, в зало первого класса, то поднималась на палубу, когда играла музыка или попадались интересные виды. Люба особенно долго гуляла по палубе под руку с Кургановым, у которого в глазах время от времени вспыхивали какие-то огоньки, смущавшие девушку, заставляя ее вздрагивать невольно каждый раз.

— Посмотрите, как хорошо горит вон та звезда… — говорила Люба, показывая Курганову на Сириус. — Прежде верили, что у каждого человека есть своя звезда. Я бы желала, чтобы эта звезда была моей! Когда я думаю о смерти, Дмитрий Иванович, я никак не могу понять, что вот мы надеемся, живем с вами, думаем, чувствуем, и вдруг — ничего! Ведь это невозможно… Что-нибудь да должно остаться от нас. Какой это народ верил в переселение душ?

— Индусы, Любовь Павловна.

— Да, да, индусы, я когда-то читала об этом в гимназии еще. Ведь это очень интересно, Дмитрий Иванович?

— Да, Любовь Павловна, но есть вещи еще интереснее, которые вы можете испытать на себе, тогда как переселения душ никто еще не испытывал… Видите ли, Любовь Павловна, есть такие мысли, такие идеи, которые были сознаваемы людьми за много тысяч лет до нашего времени и до сознания которых мы только теперь еще

дорабатываемся. И эти мысли, Любовь Павловна, не из мудреных, а из тех, над которыми приходится более или менее задумываться каждому. Хоть, например, относительно взгляда человека на свое место в природе, взаимные отношения между людьми, на сущность человеческого счастья.

— Господа! Да что же это такое, наконец, Дмитрий Иванович… — неожиданно вскричал Зорин, на время исчезавший куда-то. — Вы, кажется, милостивый государь, поклялись не портить нам сегодняшний вечер…

— Вы напрасно так думаете, Николай Александрович! — вступилась за Курганова Люба, которая всегда любила слушать его умные разговоры и, не стесняясь, передавала свои собственные мысли: — Мы так хорошо проводим свое время здесь..

— Это, господа, наконец, какой-то заговор против меня…

— А вы вот послушайте, о чем мы говорим здесь…

— Благодарю вас! Мне пока еще жизнь не надоела, тем более что нас ждет ужин, Любовь Павловна…

Ужин был устроен на палубе, под открытым небом. Стол окружали со всех сторон стены густой зелени и цветов, сквозь листву которых пробивались желтые огоньки шкаликов. Над головами ужинавших весело горел вензель, а на тропе играла музыка. Пароход шел тихим ходом по какой-то глубокой излучине реки, вдававшейся далеко в высокий и крутой берег, весь заросший темным лесом.

— Ах, как хорошо, как хорошо!! — удивлялась Люба, не верившая своим глазам, точно она плыла в каком-то волшебном царстве.

Ужин шел все время более чем весело, Люба шутила и смеялась с такой беззаветной радостью, что у ее кавалеров явились даже сомнения, та ли это девушка, которая недавно так печально смотрела своими прекрасными глазами в воду. Курганов просто не верил своим глазам, что это была Люба, так она была хороша, обольстительно хороша, хороша каким-то безумным одушевлением. Щеки у нее горели, несколько прядей спутавшихся волос красиво рассыпались по лбу, а глаза сделались такими темными, глубокими, блестящими, чудными глазами, выглядывавшими то сердито, то лукаво из пушистых темных ресниц… А как Люба смеялась! Курганов чувствовал, что эти улыбки просто губили его, но он не мог оторваться больше от лица девушки, постоянно менявшегося, точно искрившегося и счастьем, и молодостью, и красотой! А эти гордовспухшие губки, в углах которых притаился прихотливый рой безумных горячих поцелуев, за каждый из которых Курганов готов был отдать свою жизнь… «Боже, как все в ней хорошо!» — в

тысячный раз думал Курганов, любуясь девушкой, которая не могла не заметить, что ей любуются, и еще больше шутила и смеялась, хлопая своей маленькой ручкой большую сильную ладонь Курганова. Когда подали шампанское, Люба быстро поднялась с своего места и заговорила взволнованным задыхавшимся голосом:

— Господа, я больше не хочу быть сегодня Любовью Павловной… Пейте просто за здоровье Любы, которая очень вас любит!

— За здоровье нашей Любы… Ура!! — крикнул Зорин, поднимая высоко свой стакан и махнув белым платком.

Не успели все поднести стаканы к губам, как с задней части парохода, с треском и хлопаньем, целым снопом разноцветных звездочек взлетел на воздух великолепный фейерверк, из середины которого, описывая крутые огненные дуги, как змеи с шипеньем поднялись ракеты, лопнувшие где-то далеко вверху, рассыпаясь золотым дождем искр. Эффект вышел до того поразителен, что Люба долго смотрела на своих кавалеров и кончила тем, что, вся вспыхнув, прошептала: «Господа, что же это такое? Это уж слишком…»

Пароход шел тихим ходом как раз напротив города N, фейерверк трещал и хлопал, играла музыка, на берегу собрались несколько кучек любопытных, любовавшихся картиной, как «кутят анжинеры». Люба под руку с Кургановым гуляла по палубе, вздрагивая при каждом треске загоравшихся ракет, плавно тонувших там высоко-высоко вверху. Она вдруг как-то притихла, точно все эти сюрпризы тяготили ее, и она о чем-то сильно задумалась. Курганов тоже думал … одинокую тяжелую думу, чувствуя, как в голове опять какой-то туман, а его беспокойное сердце било тревогу.

— Любовь Павловна … — начал Курганов дрогнувшим голосом, но Люба так на него посмотрела, что он сейчас же сказал: — Люба, ты не оскорбишься, если я скажу одну вещь?

Они стояли в носовой части парохода, Люба облокотилась одной рукой на железную решетку и смотрела куда-то вдаль.

— Говорите … — прошептала как-то глухо девушка.

— Вам… тебе покажется это может быть диким, смешным, нелепым, но я выскажусь все равно… Люба, иди за меня замуж?

Курганов слышал, как задрожала от этих слов рука Любы у него под локтем, он видел, с каким испугом отскочила от него, и понял все.. Бедный валился теперь в пропасть вниз головой, которую вырыл себе собственными руками.

— Дмитрий Иванович… — через минуту заговорила Люба, не имея сил сдержать своего волнения. — Я слишком уважаю вас и … и люблю как брата… Ваше предложение для меня слишком большая и незаслуженная честь… но я люблю другого! Вы вправе

презирать меня и ненавидеть как последнюю женщину… но у меня нет больше своей воли… я самая несчастная женщина!!

— Люба, Люба.. что ты делаешь! — мог только простонать Дмитрий Иванович, хватаясь за голову и рыдая как ребенок.

Мог ли он ненавидеть ее, этого ангела, нет, больше чем ангела, он, который был недостоин осквернять своим взглядом следов ее ног… Так думал Курганов, закрыв лицо руками и ничего более не видя и не слыша.

XII

Жизнь в архиерейской певческой шла своим чередом после описанной сцены в квартире о. Петра. Алешка как-то сразу стушевался, не подавая ни малейших признаков своего существования, но все были уверены, что он ведет самые хитрые планы под архиерейскую певческую, а потому держали ухо востро, то есть только говорили об этом один другому, продолжая жить по-прежнему. Сазону, например, было совершенно некогда, потому что он был то пьян, то с похмелья, в случае недостатка своих денег он сколько душе угодно мог пить на чужие, благо недостатка в городских попах и псаломщиках не было, не принимая в расчет ставленников и искателей хороших поповских мест, поивших наповал всю архиерейскую челядь. Сазон был душой этой пьяной орды, и никакой доктор не поверит тому странному количеству водки, которую поглощал Сазон, продолжая оставаться одним и тем же, только глаза делались уже, да голос терял свою певучесть и гибкость. Бенелявдов тоже участвовал в этом гомерическом пьянстве, хотя и не всегда, ему надоедала грязь этих попоек, которым не предвиделось конца. Притом у него была какая-то мысль в голове, которая неотступно мучила его, и он не раз обращался к Сазону с разными странными вопросами.

— Что бы ты сказал, Сазон, если бы я взял да вдруг и женился? — спрашивал как-то Бенелявдов своего приятеля.

— Чего сказать-то? — нахмурившись, нехотя отвечал Сазон. — Сказал бы, что ты круглый дурак, значит, туда тебе и дорога…

Вообще, Сазон был открытый и беспощадный враг всех баб, к которым безразлично относился с одинаковым презрением. Красоты он в них не признавал, над всякими нежностями смеялся и даже вполне соглашался с Магометом, не признававшим в женщине души.

— Да какая в ней душа? Ну скажи ты мне, Бенелявдов? — наступал Сазон на своего друга. — В курице разве есть душа? —

Нет! Значит, и в бабе нет, потому натура-то у них одна и та же … В них один пар, а не душа!

Впрочем, и у Сазона была одна интрижка довольно низшего свойства, но она так необыкновенно окончилась, что все признали в Сазоне окончательно отпетую душу, чуждую всякому человеческому чувству. Дело началось с того, что одна молодая купчиха влюбилась в Сазона в церкви и какими-то одной ей известными путями затащила в отсутствие мужа Сазона к себе. Дело шло отлично, Сазон пил и хмурился, купчиха угощала его напропалую, а потом подсаживалась к нему все ближе и ближе, давая понять, вероятно, свои настоящие намерения, но Сазон, догадавшись в чем дело, плюнул ей в лицо и убежал. Роман жены Пентефрия с новым Иосифом начинался самым обыкновенным образом, и Сазон каждый раз белел от злости, когда ему делали хоть малейший намек на это событие в его жизни, слухи о котором с приличными покровами долго ходили по всему городу. Таков был Сазон, таким он и остался на всю свою жизнь.

Над городом N тянулась бесконечная, грязная осень, дождь лился не переставая целые недели, все ходили какие-то сонные, точно окормленные каким-то дурманом мухи. Представить себе что-нибудь подобное тому унынию и скуке, которые в эту пору овладевали городом N, нет никакой возможности, потому что это выше всякого описания. Все обыватели сидят как мыши по своим норам, грязь на улицах стоит непролазная, только вороны, чиновники да несчастные школяры пренебрегают всеми стихиями и довершают своим присутствием без того унылую картину. Кто бывал в эту пору в N, тот хорошо знает, что сделать полверсты по его улицам в это грязное время — целый подвиг, потому что, например, при переходе с одной стороны улицы на другую пешеходы сплошь и рядом оставляли не только калоши, но даже сапоги в глубокой и вязкой грязи, осыпая проклятиями и городскую думу, и земства, и вообще всех на свете. С первым выпавшим снегом картина города как бы сразу меняется, обыватели веселеют, на улицах делается заметна какая-то жизнь. В описываемый нами год осень особенно долго продолжалась, что все даже впали в какое-то отчаянье и потеряли всякую надежду на наступление спасительницы зимы, а Сазон, по крайней мере, раз пять возвращался в свою певческую откуда-нибудь из гостей просто босиком, неся сапоги в руках или оставив их совсем на произвол судьбы в грязи. Наконец небо сжалилось над N, и в октябре выпал первый снег, которому все обрадовались как отцу родному. Даже архиерейская певческая наперекор с остальным миром и те по-своему приветствовали выпавший

снег, ознаменовав это важное событие самой жесточайшей кутежкой, от которой у всех трещали головы по крайней мере дня три. Один Бенелявдов был неузнаваем, так что Сазон начал на него смотреть немного подозрительно, точно предчувствуя что-то недоброе, тем более что Бенелявдов повадился чуть не каждый день ходить в гости к Агнцеву, где и напивался особенно жестоким образом.

А Бенелявдов действительно погибал, погибал в цвете лет… Ему казалась теперь архиерейская певческая каким-то адом, из которого его так и тянуло, и он, сам того не замечая, попадал как-то случайно в Тихонькую улицу, прямо в дом Пузырева, где и просиживал длинные осенние вечера за рюмкой водки, слушая сердитые рассуждения Павла Петровича, вылетавшие из его щетинистого рта в густых клубах дыма, точно он стрелял сердитыми мыслями. Сидит Бенелявдов, пьет водку, слушает Пузырева, а сам чутким ухом прислушивается, не скрипнет ли половица под маленькой ножкой Любы, не зашумит ли ее платье, задевая за стулья. Как бы вскипел, как бы возревновал Сазон, если бы узнал, зачем ходил Бенелявдов в гости к Агнцеву!! Бенелявдов и сам сознавал, что чувство начинает овладевать им, и десять раз давал себе слово не ходить больше к Агнцеву, о чем вспоминал каждый раз, когда снова переступал порог пузыревского дома.

— Не будь я Максим Бенелявдов, если позволю бабе ездить на мне, — стараясь этими рассуждениями задушить расцветавшее в душе то новое чувство, которое было так томительно и вместе с тем приятно.

Не раз возвращаясь поздно ночью в свою певческую, Бенелявдов приходил в какое-то отчаянье и подолгу сидел у стола, положив буйную голову между ладонями своих рук, не имея сил о чем-нибудь думать, кроме своей заветной мечты. Ему казалось в эти минуты, что Люба стоит над ним, он чувствовал ее присутствие, слышал ее дыхание, и его губы шептали что-то, вероятно, те бессвязные слова любви, которыми грезит молодость.

— Люба, Люба, зачем ты мучишь меня? — шептал Бенелявдов, касаясь головой стола, у которого сидел.

Он закрыл глаза, и ему снова казалось, что над ним стоит она, прекрасная, печальная, любящая.. Он даже протянул руки в пространство, точно стараясь обнять кого-то, но в комнате никого не было, руки бессильно опустились, и Бенелявдов … скрежетал зубами от бессильной злобы, что Люба с своим ласковым девичьим взглядом, со своей упругой и гибкой, как речной камыш, фигурой ускользала из его рук. В эти тяжелые минуты Бенелявдов невольно припомнил, сколько великих и славных мужей было погублено женщинами: Сам-

сона, погубленного прекрасными очами Далилы, Давида, Ирадиаду, Елену Прекрасную, Клеопатру… Вспомнил Бенелявдов одного дьячка в Чубарке, который утопился от несчастной любви, вспомнил одного консисторского приятеля, которого захватили еще живым в петле, куда он полез от своей жены. Много еще чего другого припомнил Бенелявдов, и в том числе и драконовы законы Сазона относительно женщин, и сделалось ему стыдно самого себя, своей слабости.

— Так не будет же по-твоему, а будет по-моему! — шептал Бенелявдов, ударив кулаком по столу с такой силой, что он погнулся и затрещал. — Не я буду, если поддамся бабе!!

Но это была совсем ненужная храбрость, в следующую минуту Бенелявдов плакал как ребенок, стыдясь голых стен своей комнаты, но не имея сил удерживать себя дома. Он напрягал все свои силы, чтобы бороться против такого сильного врага, который залез внутрь его, и вместе с тем он чувствовал, что его мучения — мучения больного, который совершенно не в силах сбросить с своих плеч свой недуг.

— Люба, Люба, что ты со мной делаешь!? — стонал Бенелявдов и опять со страшной силой бил рукой по столу и грозил кому-то. — Слышишь, Люба, я тебя не люблю больше… Не подходи ко мне, Люба!.. Люба… Любка!! Я тебя не хочу знать, ты не стоишь того!

XIII

Раз Бенелявдов позвонил в квартиру Агнцева, и ему отворила дверь Люба, так что Бенелявдов подался было назад, но было уже поздно. А как она была хороша в эту минуту со своей длинной косой, с большими смелыми серыми глазами, с едва мелькнувшей улыбкой на полуоткрытых губах.

— А я думала, что это папа звонит… — тихо заговорила Люба, улыбаясь Бенелявдову. Он ушел куда-то по делу… Агнцева тоже нет дома, так что вам придется подождать его, m-r Бенелявдов.

— Я подожду, — решил Бенелявдов, проходя в комнату Агнцева, где ему вдруг показалось жарко.

— Кстати, чтобы не было вам скучно, я могу принести вам какую-нибудь книгу, — сказала Люба, появляясь снова в дверях комнаты Агнцева.

— Благодарю вас… с большим удовольствием почитал бы что-нибудь, — бормотал Бенелявдов, чувствуя, что несет чушь.

Люба быстро исчезла, а Бенелявдов принялся ходить по комнате, его голова шла кругом еще со вчерашнего похмелья, а тут

еще эта красавица Люба, сводившая его с ума какой-то особенной силой, дрожавшей и прятавшейся в каждом ее движении, в каждой складке ее платья.

— Я, право, не знаю, что вам выбрать, — с веселой улыбкой говорила Люба, появляясь в дверях с целой охапкой книг, которые она бросила на стол. — Выбирайте, пожалуйста, сами…

Бенелявдов молчал и только смотрел на девушку таким пристальным и смущенным взглядом, что остановил Любу.

— Что вы так смотрите на меня, m-r Бенелявдов?

— Извините… мне кажется, что вы избегаете меня, Любовь Павловна, я … я не кусаюсь…

— Я избегаю вас?! Напротив, мне кажется, что вы меня избегаете, — опустив глаза и немного покраснев, отвечала Люба.

— Зачем же вы теперь хотели уйти?

— Да чтобы не мешать вам… притом скоро может вернуться папа, а он не любит, чтобы я была в этой комнате, да еще и глаз на глаз с молодыми людьми.

— Вы ненавидите меня!! — прошептал Бенелявдов, с каким-то отчаяньем махнул рукой.

Девушка отступила несколько шагов назад — с недоумением смотрела на Бенелявдова, стараясь угадать, говорит ли он правду или шутит, но Бенелявдов в эту минуту был просто жалок, точно приговоренный к смерти. Люба так была поражена всей этой оценкой, что ноги у нее подкосились, и она бессильно опустилась на стоявший близ стул.

— Я не помню, чтобы я подала вам повод так думать о мне, — тихо заговорила … немного приходя в себя. — Вы меня просто удивляете… Я вам много обязана … считаю себя в долгу у вас…

— Нет, Любовь Павловна, я знаю, что вы ненавидите меня, — продолжал твердить Бенелявдов. — Потому что считаете меня за пьяницу… Я действительно скверный человек… Нисколько не хуже других, которых считают порядочными людьми…

— Это все неправда! Вас никто никогда не считал дурным человеком, а тем более я, — горячо вступилась Люба. — Вы как честный человек не имеете права говорить таких вещей, потому что оскорбляете этим других… Что касается меня, то я всегда считала вас за честного и очень хорошего человека!

— Вы смеетесь надо мной…

— Нет, я говорю очень серьезно и могу прибавить к этому, что всегда … жалела вас, — продолжала смело Люба, точно чувствуя, что смелость именно теперь и нужна ей больше всего. — Я не понимаю, например, почему вы всегда проводите свое время в

пьяной компании, которая сведет с ума всякую лошадь, не то что человека?

Бенелявдов молчал, с жадным вниманием ловя каждое слово девушки, которая делалась все смелее и смелее с каждой минутой, высказывая Бенелявдову прямо в глаза все то, что у ней накипело в душе.

— Послушайте, Любовь Павловна, — начал Бенелявдов изменившимся голосом. — Вы говорите правду?

— Да, я так думаю…

— И не смеетесь надо мной?

— Конечно, не смеюсь!

Бенелявдов на минуту приостановил свой допрос и испытующим взглядом посмотрел на Любу, которая так просто и открыто смотрела на него своими большими глазами.

— Да.. видите ли … Вы говорите, что я хороший человек… — замялся Бенелявдов, опуская глаза в землю и чувствуя, как роковое слово не шло с языка, точно оно было пришито к нему. — Я… я давно люблю вас…

Минутное, тяжелое молчание водворилось в комнате, яркий румянец жег лицо Любы, Бенелявдов не смел поднять глаз, ожидая смертельного удара.

— Но это так вдруг… право, у меня голова кружится теперь… шептала девушка, действительно не имея сил отвечать на такой мудреный вопрос, от которого зависела самая жизнь. — Дайте подумать…

— Нет… так нельзя… — задыхавшимся голосом заговорил Бенелявдов. — Да или нет, говорите прямо… А если вы не согласитесь быть моей женой… я сейчас же покончу с собой, потому что мне больше незачем жить!

— Вы непременно этого желаете?

— Сейчас же! .. Жизнь или смерть… все в ваших руках!.

— Да… Я тоже давно люблю вас, — шептала девушка, закрывая лицо руками, чувствуя, как вся комната заходила кругом, но в следующую минуту она открыла глаза и смело посмотрела прямо в лицо Бенелявдову, который в этом глубоком взгляде прочитал свой роковой приговор, отдававший в его руки всю судьбу этой чудной девушки.

— Люба… Люба… как я люблю тебя! — сжимал Бенелявдов девушку в своих железных объятиях. — Я весь измучился по тебе… я и пил от этого!!.

И Бенелявдов дико и безумно, как помешанный, целовал свою возлюбленную, вся кровь ходила в нем одной тяжелой волной, в

глазах стоял туман, в голове мысли бродили как пьяные. Люба молчала, она послушно отдавалась этим ласкам всем существом своим, как послушно гнется былинка в поле под напором бури, ее унесло вихрем то счастье, о котором она боялась даже мечтать… Бенелявдов схватил Любу на руки как маленького ребенка и посадил ее к себе на колени, покрывая поцелуями все ее лицо.

— Люба, Люба… Неужели ты любишь меня? — спрашивал Бенелявдов в сотый раз.

— Да… О, я очень люблю тебя…

— Ах, Люба, Люба… я кажется согласен умереть от счастья…

— Будем жить… жить так хорошо, — шептала Люба, обвивая своими белыми руками шею Бенелявдова и заглядывая ему в глаза.

— Да, да…

Раздавшийся звонок заставил влюбленных расстаться. В прихожей Бенелявдов расслышал голос Пузырева, который что-то сердито ворчал на дочь.

— А .. вы здесь! — начал недовольно Пузырев.

— Да… я жду Агнцева..

— Ага… хотите водки?

— Пожалуй…

Они поместились за столом и молча выпили по первой рюмке. Бенелявдов не знал, как ему было приступить к старику со своим довольно щекотливым объяснением.

— Что вы на меня смотрите, млствый гсдарь? — сердито спрашивал Пузырев, заметив пристальный взгляд Бенелявдова.

— Я… я хочу просить у вас руку вашей дочери, Павел Петрович…

— Что-о-о!! Ка-ак!! — даже зарычал Пузырев, поднимаясь со своего места.— Да кто вам позволил, млствый гсдарь?!! Вы за кого меня принимаете? Без позволения своего родителя… да я ее в порошок сотру, млствый гсдарь, потому что она — моя дочь!.. Понимаете вы это? Да-с.. Вон!!!

Последнее было так удивительно для Бенелявдова, что он не мог тронуться со своего места, не веря своим глазам.

— Папа… что это ты делаешь? — вся в слезах ворвалась в комнату Люба.

— А это ты, Люба… — успокоился понемногу старик. — Спроси у этого молодого человека, что ему нужно от меня?

— Он, папа, просит моей руки…

— А, это дело другое… Нужно всегда спрашивать и слушать своих родителей, Люба! Ты любишь его?

— Да, папа…

— Ну, подойдите, молодой человек, ко мне, я не кусаюсь… Бог да благословит вас, дети мои! Будьте счастливы, любите друг друга и не забывайте меня … Ну, теперь, выпить, Люба… Не нужно слез.

А в глазах старика стояли давно крупные слезы, которые катились по морщинистому лицу.

Голубятнику в тот же вечер уже было известно все, и он на всю улицу … такие подробности, которые только и могло создать его воображение.

— Ай да Пузырев, обварганил важнецкое дельце, — орал голубятник. — Только напрасно он с этой кутейной балалайкой связывается… Другой мещанин, особливо эдакий пробойный парень, как например я, в тыщу раз лучше! Вот што эти кутейники от телесного наказания ослобонены, это точно что хорошо, потому первая вещь, чтобы не могли тебя пороть за всякое время, а то дерут, дерут, как брынскую козу… Ну тоже и нас, при всем этом, не кобыла высидела, вот маленичко вторая-то дочь у Пузырева подрастет, значит, и того, авось породнимся. Я торговлю ветром заведу, она будет … тремелюды* разводить — вот и отлично будет. То есть — лучше не надо!! Теперича Пузырев всю ночь думать будет, как меня шафером пригласить… Эх, раздуй вас горой, амозников! Ведь вот женятся сквалыжники и кончено, водой не разольешь… У жениха-то в одном кармане блоха на аркане, а в другом тараканы на цепи, и у невесты не хуже: в одном кармане смеркается, в другом — заря занимается… Пока пообсохнут молодые-то, Пузырев знай катайся как сыр в масле! Разлюбезное дело…

Пока Пузырев пил с Бенелявдовым, в комнате Любы происходила очень нежная сцена между сестрами.

— Теперь я понимаю тебя, Люба, — сердито говорила Катя сестре, — ты будешь счастлива, а я останусь одна с папой… Он такой сердитый делается, и я его боюсь, Люба!

Люба долго смотрела на свою сестру, которой теперь шел уже шестнадцатый год, и ей делалось жаль девочки. Что с ней будет в этой берлоге, вместе с пьяным отцом?

— Катя, я тебя непременно возьму после к себе, — утешала Люба сестру, у которой на глазах давно уже блестели слезы.

Долго не спалось в эту ночь Любе, много передумала она в нее, точно пловец, много потерпевший на своем веку и теперь истосковавшийся ввиду тихой и мирной гавани. Что-то ждет тебя в этой гавани, думалось девушке, ведь целая жизнь поставлена на карту! Да, и она, Люба, выиграет непременно эту карту, потому что ее жених такой славный, она его так любит, и он еще лучше будет, когда женится. Мечты росли быстро, хотя Люба лежала с откры-

*Тремелюды — дрянь, мелочь.

тыми глазами… В первый раз она его увидела на новоселье Агнцева, он тогда же ей очень понравился, а когда он вступился за нее у о.Петра — она полюбила его сразу, но только и мечтать не смела, чтобы он когда-нибудь мог полюбить. С каким трепетом она прислушивалась к его голосу, когда он бывал у Агнцева, и как страстно хотелось ей каким-нибудь путем вытащить его из этой всепьянейшей компании. Странно было только одно, что она до последнего времени даже и подозревать не могла его чувства к ней, а между тем… Боже, как она будет счастлива, как будет счастлив с ней он, этот человек, которого она любила всей душой.

Мечты уходили все дальше и дальше. Любе рисовалась такая картина: в ее небольшом деревянном домике зажигаются огни, в угловой комнате на столе кипит самовар, как детьми окруженный чашками… Вот с шумом и смехом врывается в комнату целая гурьба краснощеких, здоровых детей, за ними входит их мать, еще молодая женщина, одетая в простое старенькое платье, какие обыкновенно носят дома молодые женщины.. С шумом отодвигаются стулья, и молодое поколение усаживается за столом, из-за которого выглядывают только их смеющиеся шаловливые лица с такими светлыми глазами. Они, конечно, болтают страшно ногами, толкают один другого, стол начинает шататься, чашки звенят, мамаша строго грозит пальцем этим дорогим шалунам… А вот и он… В комнату входит Бенелявдов (к нему так идет этот патриархальный наряд русского священника), он целует свою жену, Любу, дети как мухи облепили его со всех сторон… Ведь это она подарила его этими малышами, которыми она так гордится и для которых теперь живет.

[Пока Люба предавалась своим скромным серьезным мечтам, в комнате Агнцева происходила такая сцена. Бенелявдов, попрощавшись со своей невестой, собирался уйти, но Пузырев цепко удерживал его за борт пальто, рассказывая один анекдот за другим. Испытание Бенелявдова окончилось на каком-то деле «о погашении сигары о нос квартального надзирателя на церковной площади»]*.

XIV

Свадьба Бенелявдова состоялась через месяц. Гости были все свой народ, приглашено несколько знакомых девушек, и пир кипел далеко за полночь. Сазон успел перехватить «малую толику» еще до свадьбы и «отхватил» за венчанием такого «апостола», что стекла заговорили в оконных рамах.

* Зачеркнуто.

— Только бы не для Бенелявдова, — говорил после Сазон, крайне огорченный тем, что Бенелявдов не последовал его мудрым советам относительно женщин.

После всех пришел о. Петр, который был посаженным отцом и что-то переминался весь вечер, пока не отозвал Бенелявдова в сторону, где ему прошептал очень невеселое известие:

— Знаешь что, Макся, ведь Алешка-то механику какую выкинул… призывает меня давеча владыка и говорит, что дошли до меня слухи и всякое такое прочее, посему мне было бы желательно, чтобы Бенелявдов был уволен из певческой. Ну, думаю, это все пустяки, ему и так приходится выходить, а тут попадается Алешка, улыбается, бестия… Успел уж все пронюхать, значит, да и говорит мне: поздравь, говорит, молодых, может, им и до меня дельце какое будет. Понял, куда он гнет, каналья?

Бенелявдов задумался, но потом махнул рукой.

— Пустяки все это, о. Петр, белый свет не клином сошелся, авось и без Алешки обойдемся, — храбрился Бенелявдов.

[В конце вечера дьякон Илюха «отломал» такое многолетие, что голубятник … спавший мертвым сном, соскочил как угорелый и долго оглядывался кругом, пока не догадался, в чем было дело. Долго еще Тихонькая улица оглашалась громоносными возгласами кутивших на свадьбе]*.

— Я очень рад, что сбыл с рук Любу, — ласково говорил Пузырев дьякону Илюхе, держа его за широкий рукав рясы. — Еще как-нибудь развязаться с Катей, и тогда я вольный казак… Тогда я задам им! Я доберусь до них! Покажу им, каков есть на свете Павел Петрович Пузырев! Я их всех в бараний рог загну, ракалий!! Подлецы!..

Трудно было понять, к кому, собственно, относились эти угрозы, которые шептал Пузырев с такой затаенной радостью, точно опасаясь, чтобы кто-нибудь не подслушал его и не открыл его тайны.

— А я все-таки этого анафему Алешку поколочу, непременно поколочу! — в свою очередь, сообщал Илюха Пузыреву. — И знаешь, каков он, бестия? Взял с меня двадцать пять рублей, обещал место хорошее предоставить и того, прокатил на вороных… Поищи, говорит, места в лесу, может, найдешь. Ну, думаю, погоди, голубчик, у нас так-то не играют…

Люба с замиранием сердца весь вечер прислушивалась к этим разговорам и невольно вздрагивала каждый раз, когда речь заходила об архиерейским послушнике. Она боялась какой-нибудь истории, какую могли устроить подгулявшие гости.

---

* Зачеркнуто.

Агнцев давно ходил среди кутивших и что-то усиленно соображал, улыбаясь себе под нос своеобразной хитрой улыбкой, а когда принесли шампанское, он поднялся на стул и протянул одну руку вперед, прося себе слова. Все на минуту умолкли.

— Господа! В этот многознаменательный день… — ораторствовал Агнцев, балансируя на своем стуле, — в этот день… когда соединяются священными узами Гименея… Э! да это все равно! Господа, выпьемте за здоровье молодых! Ура!

Все с радостью подхватили этот крик, и дом Пузырева даже задрожал от громогласного дружного «ура».

— Ну ты, брат, того, сплоховал, — решил Илюха, дружелюбно похлопывая Агнцева по спине. — Язык-то у тебя точно лопата… Вот послушай, как я отломаю!

Илюха выступил в передний угол и начал своим семипушечным басом многолетие, точно спускаясь по лестнице, так резко вырывались из его могучей груди густые басовые ноты:

— Бла-го-ден-ствен-но-е-е и мир-но-е жи-ти-е.., здррра-ви-е и .. всех де-лах бла-го-е по-спе-ше-ни-е по-даждь, Го-спо-ди, но-во-брачу-щим-ся и со-о-хра-ни их на мно-о-ги-я ле-та.

Затем совместными усилиями Сазона и Илюхи исполнено было оглушительное «многие лета», точно в комнате лопнула граната. Пузырев и тот умилился и со слезами на глазах обнимал мощные телеса архиерейских певчих, заявляя во всеуслышанье, что от этой минуты он готов отдать за них даже свою душу, если таковая на что-нибудь будет пригодна. Этот дружеский крик Илюхи и Сазона разбудил даже голубятника, который сначала испугался, а потом, догадавшись в чем дело, долго ругался, переворачиваясь с одного бока на другой.

Еще один человек, никем не замеченный, услышал этот крик. Это был Курганов, который несколько часов ходил по другой стороне Тихонькой улицы, внимательно вглядываясь в освещенные окна пузыревского дома. Он с замиранием сердца следил за мелькавшими силуэтами на освещенном фоне, стараясь уловить знакомые дорогие очертания любимого лица и всей стройной фигуры Любы.

XV

Опасения о. Петра оправдались. Спустя неделю Бенелявдов явился к архиерею на благословение, заявляя свое желание поступить куда-нибудь священником. Преосвященный долго и внимательно смотрел на Бенелявдова и строго покачал своей седой головой.

— Плохие слухи, плохие слухи, Бенелявдов, — с сомнением говорил архиерей, — … ты еще молодой человек! Надо было посоветоваться со старшими, теперь поздно! Ну что, доволен своей женой?

— Доволен, ваше высокопреосвященство! — ответил Бенелявдов, не понимая, к чему все это клонится. — Нельзя ли, ваше высокопреосвященство, насчет места..

— Места? А ты понимаешь, что значит быть священником… Знаешь, какую берешь на себя великую ответственность? Приготовился ли ты к возложению на тебя этого великого сана? Кроме себя ты принял великую обязанность отвечать и за жену… Готов ли ты к этому?

— Готов, ваше высокопреосвященство…

— Не говоришь ли это ты по увлечению, которое существует в молодом муже?

— Нет, ваше высокопреосвященство..

Долго еще продолжался допрос в этом роде, Бенелявдов все время был как на иголках, начиная подозревать что-то недоброе, но на этот раз дело кончилось ничем, и Бенелявдов вернулся домой, с чем ушел.

— Ну что, Макся? — заботливо спрашивала Люба, все время нетерпеливо дожидавшаяся у окна.

— Скверно, Люба… — печально отвечал Бенелявдов, целуя жену, ласка которой скоро разогнала его скверное настроение.

— Это, должно быть, все тот мешает нам? — делала предположение Люба, инстинктом женщины угадавшая истинное положение дел.

— Да, кажется… но это пустяки, Люба! — утешал Бенелявдов как умел.

Бенелявдов с женой заняли на время комнату Агнцева, который переселился на другую квартиру. Люба не ошиблась в своих расчетах. Муж с каждым днем любил ее все больше и, незаметно для себя самого, подчинялся ее воле, что умела устроить так искусно его молодая жена. Только в одном Люба встречала против ожидания чересчур сильный отпор, это относительно прекращения прежних отношений к своим старым товарищам. Впрочем, здесь оправданием Бенелявдова служили сами обстоятельства, потому что время шло, а преосвященный все не давал ответа. Средства к жизни давно истощились уже заметным образом, и Люба употребляла все старания, чтобы как-нибудь протянуть до получения места, огорчением для нее в этом случае был ее отец, требовавший каждый день неизменно водки и, кроме того, не хотевший жить один, а непременно вместе со своим зятем. Но и с этим мирилась Люба, твердо надеясь, что как только муж получит место, она сразу переменит все.

Относительно специально семейных добродетелей Люба отлично разгадала своего мужа, который оказался именно тем добрым малым, которые более пригодны для семейной жизни и вполне удовлетворяются тихими семейными радостями. Конечно, было и у их семейного очага несколько вспышек, но это были блудящие огоньки, без которых не обходится ни одна семья, да … эти маленькие распри, как летние грозы, точно освежали атмосферу, и Люба с особенным удовольствием замечала, что делаемые ей в эти минуты уступки выкупались сторицей, потому что спустя несколько времени Бенелявдов сам доходил до сознания того, что погорячился, и старался загладить свою ошибку удвоенной нежностью к жене. Люба тайно торжествовала в этих случаях, боясь кому-нибудь поведать секрет своих маленьких побед. Молодая женщина усердно вила свое гнездышко, с удовольствием замечая, что ее труды и расчеты оправдываются самым делом и что семья помаленьку входит в свою настоящую колею, неровности сглаживаются, и в результате получается то счастье, которое не налетает волною, как буря, а приходит шаг за шагом и зато так прочно и глубоко пускает свои корни. Люба каким-то внутренним чувством понимала, что еще немного, и она сделается для мужа тем, чем так страстно желала быть, сделается для него совершенно необходимой.

По вечерам Бенелявдовы подолгу гуляли по всему городу, занятые сами собой, никого не замечая. Раз они шли по одной из самых глухих улиц, Люба что-то рассказывала мужу и громко смеялась. В это время в сотне шагов перед ними из какого-то кабачка вышел пошатываясь какой-то человек и, опустив голову, тихо пошел перед ними.

— Люба, смотри, вон как добрые-то люди гуляют, — говорил Бенелявдов, указывая жене на пошатывающегося человека, переходившего с одной стороны тротуара на другую. — Давно ли я также разгуливал с Сазоном… Видно, правду говорят, Люба, что женишься — переменишься!

Люба ничего не отвечала мужу, ее внимание было приковано пошатывающимся человеком, мешковатая фигура которого показалась ей почему-то знакомой. Перебирая в памяти своих знакомых, Люба старалась найти с кем-нибудь из них сходство в том пошатывающемся человеке, но память изменила ей. Они скоро догнали его, и только за несколько шагов Люба по большой голове и особенному складу широкого затылка узнала Курганова, … вернуться было поздно, чтобы не подать мужу каких-нибудь подозрений, и просто без всякой задней мысли Люба никогда не кривила своей душой. Шум их шагов заставил Курганова сойти с тротуара, и он

бы совсем не узнал Любы, занятый своими собственными мыслями, если бы сама Люба, когда они уже прошли мимо него, не оглянулась назад. Глаза их встретились, Курганов остановился, какая-то больная, надорванная улыбка скользнула по его широким губам, и он долго-долго смотрел вслед удалявшейся счастливой парочке, затем махнул рукой и снова вернулся в кабак, из которого только что вышел.

Кабак, в который вошел Курганов, был как две капли воды похож на все провинциальные кабаки. Прямо — грязная стойка, за которой красовались несколько полок, установленных всевозможными «посудинами», около голых стен несколько грязных старых скамей, на которых сидели, понурив головы, кабацкие «завсегдатаи», в углу несколько пьяных мужиков неистово горланили какую-то песню, никак им не дававшуюся. У самой стойки, закрыв глаза, стоял какой-то спившийся приказный, перед которым стоял полный стакан водки. Караулова сразу охватила знакомая кабацкая атмосфера, насыщенная винными испарениями, какой-то специфической вонью и гулом пьяных голосов.

— Водки!!. — мог только проговорить Курганов, подходя прямо к стойке.

Кабатчик, разбитной и бойкий малый, как все кабатчики, с удивительной легкостью снял с полки полуштоф и несколько раз повернул его перед собой и еще с более удивительной ловкостью громко откупорил его при помощи какого-то гвоздя. Водка блестящей струей полилась в стакан, Курганов смотрел на быстрые движения ловких рук кабатчика, плохо сознавая, что с ним творилось в настоящую минуту. Закрыв глаза, он с отвращением пил налитую водку, после которой долго кашлял, а затем громко поставил стакан на стойку.

— Еще … — шептал Курганов.

И второй стакан выпил Курганов, в глазах что-то вертелось, а на душе не было легче, что-то тяжелое как гора лежало там и давило как могильная плита. Курганов плохо помнил, как он мешком опустился на скамью и старался прислушиваться к громкому говору мужиков.

— Что же это такое? Как тяжело, как тяжело… — шептал Курганов, перед которым как живая стояла Люба, та самая Люба, которая только одна могла улыбаться своей ласковой девичьей улыбкой. — Люба, Люба.. Ах, Люба, как я тебя люблю!! Разве кто мог тебя так любить, Люба?

Курганов закрыл лицо руками, и сквозь пальцы полились на грязный кабацкий пол крупные пьяные слезы. Сколько картин, сколь-

ко образов точно в каком тумане вставало теперь в голове Курганова… Это был тот самый инженер Курганов, который всю свою молодость провел за книгами, из-за бумажного мира которых он не видел ничего. Это был целомудренный человек в полном смысле этого слова, чуждый всякой неискренней мысли, привыкший на себя и на свои чувства смотреть со стороны, как на что-то постороннее, что можно было анализировать, мерить, чем можно было управлять по произволу своей собственной воли. А тут вдруг поперек дороги встала эта чудная девушка Люба, которая была лучше ангела, и другой такой Любы не было и не могло быть в целом мире.

— Да, она погибла для меня, погибла навсегда… — шептал Курганов, продолжая сидеть на своей скамье. — Ведь она одна была, моя Люба… О Люба, Люба, дорогая, милая Люба!

Какие нежные любящие названия давал Курганов своей возлюбленной, как он жаждал еще хоть один раз издали посмотреть на нее, услышать чарующие звуки ее голоса, и под обаянием ее присутствия позабыть целый мир и свое тяжелое горе.

Для каждого живого организма первая болезнь более всего опасна, но неизбежна; Курганов совсем не знал женщин, Люба первая ввела его в этот заколдованный мир чувств, мир нелепых симпатий и антипатий, мир безумных желаний и чарующей мечты. Курганова никогда не целовала ни одна женщина, и он только теперь понял, что до настоящего времени жил всего половиной своего человеческого сердца, другая сказалась только тогда, когда он увидел в первый раз Любу, разбудившую в нем желание счастья, которое спало в его душе до настоящего времени. И вот это видение, чарующее и обворожительное, мгновенно скрылось, и снова Курганов остался в темноте, которая после увиденного света показалась ему невыносимой. Занимавшееся солнце его счастья вдруг скрылось за темными тучами, обложившими как свинцом весь горизонт. Курганов хотел утопить свое горе в вине, хотел собственными руками задушить в себе развернувшееся с такой силой чувство, но вино не исцеляло глубокой раны, глухо нывшей в сердце, отзываясь тупой болью, точно из него капля за каплей вынимали всю кровь.

— Дмитрий… что ты делаешь здесь? Идем домой, — раздался знакомый голос над головой Курганова, он открыл глаза — перед ним стоял его приятель Зорин.

— А… что?.. — спрашивал Курганов, не понимая, что ему говорят.

Зорин взял его под руку и вывел из кабака, Курганов, не сопротивляясь, отдался в полное распоряжение своего друга как ребенок.

XVI

Опять весна шла по земле с веселыми песнями, ароматом цветов, изумрудной зеленью показавшейся из-под земли травы, с тихим шорохом распускавшихся деревьев. Воздух переполнен каких-то живых сил, бродивших в природе, заставляя жить каждое живое существо удесятеренной жизнью. Каждая мышь ликовала, каждый таракан выходил подышать свежим воздухом, концерты сладострастных котов по целым ночам стояли в воздухе над благословенным городом N, в своей сущности очень благонамеренным городом. Алешка тоже не дремал, Бенелявдов все еще был без места, да и едва ли мог его ожидать в близком будущем, благодаря усилиям архиерейского любимца, теперь наслаждавшегося местью. Бенелявдов ходил все такой грустный и притом начал все чаще и чаще пропадать из дома по разным попойкам, что немало печалило Любу, не знавшую, как помочь новому горю. Но в одно утро она с каким-то страхом почувствовала в себе первые признаки новой жизни; радость молодой женщины была так велика, так подавляюща, что она упала ниц перед иконой и в скорой и безумной молитве излила свои чувства, но вместе с тем в ее душу закрались и первые подозрения, первые муки, какой-то неожиданный страх перед чем-то таким необъятным, от чего она могла найти спасение только в объятиях любимого человека. Бенелявдова не было дома в эту роковую ночь, когда было сделано такое важное открытие, в несколько минут совсем преобразившее Любу, которая не двигаясь целое утро сидела на своей кровати, бесцельно глядя куда-то на одну точку каким-то особенным просветленным взглядом… Почувствовав себя матерью, Люба разом точно отряхнула с себя все тяжелое прошлое, которому не оставалось ни малейшего места в этом счастливом бесконечном будущем. Только теперь было сказано последнее слово, окончательно решившее судьбу Любы, соединившее ее с мужем в неразрывное целое, о котором говорит церковь и которого недоставало Любе для полного счастья. Теперь Люба была уверена, что Макся больше не отойдет от нее, бросит для своего сына (у ней непременно будет сын!) прежних товарищей. Она чувствовала себя бесконечно счастливой, счастливой и гордой как царица, все царство которой было в ней самой, в ее душе, в ее сердце и было ей тем дороже, что она подарит это счастье своему молодому мужу.

А комната, в которой теперь сидела Люба, была затоплена ярким солнечным светом, каким дышит весеннее утро, разливая всюду жизнь и уважение и любовь. Несколько отдельных лучей зо-

лотыми пятнами играли на белой подушке и по всей постели, Люба с каким-то детским любопытством следила за ними и даже несколько раз потрогала их рукой. Вообще она вдруг сделалась крайне чуткой к малейшему впечатлению, точно ее глаз вдруг получил способность шире и глубже воспринимать все оттенки света и красок, а ухо ловило всякий шорох, малейший шум. Люба была уверена, что это для нее светило весеннее, радостное солнце, для нее пели птицы, зеленели деревья, цвели цветы, да оно и не могло быть иначе, когда она была царицей дня, когда в ней так таинственно зарождалась новая жизнь

— Тише, тише, Катя… — шептала Люба, когда в дверях ее комнаты показалась голова Кати.

— Что такое, Люба, — удивилась девушка, с недоумением глядя на сестру.

— Ах, ты еще ничего не знаешь, Катя… Иди сюда! — заговорила Люба, улыбаясь … счастливой улыбкой.— Как я счастлива, Катя… Как счастлива! Ты еще молоденькая девочка…

«Ну уж не совсем чтобы девочка», — с невольной гордостью невольно подумала Катя, припоминая умильные взгляды, которые кидал на нее Агнцев, этот величайший из застольных ораторов.

— Да, ты еще не можешь понять, Катя, что я чувствую теперь… — продолжала Люба, покрывая сестру горячими поцелуями и затем, вся вспыхнув, что-то прошептала ей на ухо.

— Не может быть, Люба! — вскричала Катя, спрыгивая с кровати, где сидела вместе с сестрой.

— Говорят тебе, что правда..

— Нет, нет… как же это могло случиться так вдруг?

— Ах ты, моя глупенькая девочка! Тебе еще рано это понимать.

Послышавшийся звонок заставил Катю убежать из комнаты, но она пред тем отворила дверь еще раз и прошептала:

— А как, Люба, я буду любить его.

Звонивший был Бенелявдов, который чувствовал себя виноватым перед женой, скромно покашливал в передней, прежде чем войти в свою комнату. Но Люба была так полна своей радостью, своим счастьем, что позабыв и преступника, не ночевавшего дома, и то, что должна была принять его немного холодно, она босая, в одной рубашке выскочила в переднюю и повисла на шее ошеломленного мужа, который совсем растерялся в первую минуту от этого припадка женского чувства.

— Макся, Макся… — шептала обезумевшая от счастья Люба, заливаясь слезами. — Как я счастлива… счастлива…

Бенелявдов как ребенка на руках унес свою жену из передней и как ребенка осторожно положил ее на кровать, встал перед ней на колени и заплакал как дитя.

— Я скверный человек, Люба, — шептал Бенелявдов, — я не стою этого счастья…

Люба и смеялась, и плакала вместе с мужем, который был очень (нрзб.) в роли раскаивающегося грешника, с невысохшими слезами на щеках. Она и целовала его, и ласкала как сумасшедшая.

— Послушай, Люба, я действительно много виноват перед тобой и всегда буду виноват, если не брошу пить, — начал Бенелявдов, а Люба даже вся задрожала, чувствуя, как все ее предположения сбываются. — Сегодня по случаю такого радостного дня в последний раз выпью с отцом и больше — шабаш!! Ты сама, Люба, увидишь, сдержу ли я свое слово…

Люба ничего не могла больше говорить, она только крепко обняла своими красивыми белыми руками шею мужа и долго целовала его, крепко, безумно целовала, ей в первый раз показалось, что она только теперь вполне достойна своего мужа, все тяжелое прошлое для нее не существует.

Пока весь дом Пузырева точно притаился в ожидании будущего счастья, у Бенелявдова на душе было иногда очень тяжело, благодаря все тем же происка Алешки, который, кажется, поклялся испортить ему все. Кроме того, Бенелявдову за последнее время начало казаться, что на него почему-то все посматривают немного косо или с плохо скрытым сожалением, но он был так полон своим внутренним счастьем, так занят своими собственными расчетами, что скоро забывал о закрадывающихся в его душу подозрениях относительно переменившегося к нему отношения товарищей. Даже Сазон и тот как-то презрительно смотрел на Бенелявдова своими узенькими заплывшими глазками, но это было вполне понятно с его драконовскими законами. Более всего злило Бенелявдова то, что когда он бывал в певческой, о здоровье его жены справлялись такие люди, с которыми он не вел даже и шапочного знакомства. В этих случаях вся кровь в нем так и закипала ключом, а руки так и почесывались превратить этих не в меру любопытных людишек с их каверзами в порошок, потому что под всеми этими косыми взглядами и вопросами крылось что-то нехорошее, не мог не заметить Бенелявдов, как ни старался он пропускать мимо ушей всю эту чепуху. Если бы говорили о нем, он бы и глазом не повел, но он видел, что сознательно или бессознательно все старались задеть Любу, его безвинную, обожаемую Любу, которую он чуть не боготворил.

Раз Бенелявдов зашел в певческую, где собралось очень много разнокалиберного народа. Тут же были Илюха и Сазон. Все как будто переглянулись, когда Бенелявдов вошел в комнату, что даже передернуло его, потому что в его голове мелькнула молнией мысль, что только что перед ним говорили о его Любе, говорили во всеуслышанье, как о какой-нибудь публичной женщине. Бенелявдов чувствовал, как вся кровь отлила от сердца и хлынула в голову, как страшно застучали виски и перекосило конвульсией побелевшие губы.

— Ну что, брат, как поживаешь? — дружелюбно спрашивал Илюха, трепля Бенелявдова по плечу.

Под этим колоссальным добродушием, которым дышала вся могучая фигура Илюхи, Бенелявдову сделалось немного легче, и он почувствовал, как пароксизм его бешенства начал проходить.

— А я, брат, знаешь, непременно порешу Алешку-то, — продолжал Илюха, — потому он, просвирнин сын, опять надул меня… И как это умеет он подход найти, просто удивительно! Кажется, съел бы его, каналью, проглотил как таракана без всякого покаяния, нет, прикинется шельма таким Лазарем убогим, так это заглядывает по-собачьи в глаза, ну вот-вот только не прослезить… Верно говорю! Ну и того, дал ему, жулику, опять взятку, а он опять меня на вороных и провез… Ах, думаю, опять маху я дал, да опять, думаю, что дураков-то учат да и плакать не велят. Все-таки я Алешку порешу, это, брат, верно! Возьму его за долгой-то нос да в реку и брошу как гнилую редьку … Ха! Ха!

Илюха сам же первый засмеялся своему последнему сравнению, за ним невольно засмеялись все. Бенелявдов тоже смеялся вместе с другими, зная по опыту, что Алешка еще несколько раз надует Илюху самым ехидным образом.

Архиерейская певческая по-прежнему носила следы той голой, точно ободранной обстановки, которая теперь так поражала Бенелявдова и которой он прежде совсем не замечал. Сазон на время куда-то исчез, а затем появился с четвертной бутылью водки в руках, которую и поставил на стол с таким воинствующим видом, точно эта бутыль была каким-то важным трофеем, отбитым у неприятеля.

— Аще кто жаждет — да пиёт, — решил Сазон своим басом, вынимая из кармана несколько огурцов. — Вы, господин Бенелявдов, не употребляете сего кабацкого зелья?

— Употребляю… — коротко отозвался Бенелявдов, чувствуя что в вопросе Сазона какое-то скрытое ехидство, которое преследовало его по пятам в последнее время и с которым он желал померяться, схватившись грудь о грудь.

— Гм! — как-то недоверчиво промычал Сазон, недоумевавший, говорит ли Бенелявдов правду или просто смеется над ним.

Бенелявдов, опять почувствовавший прилив бешенства, быстро налил себе полный стакан водки и залпом выпил его. Ему показалось, что все опять переглянулись между собой, и это общее внимание подлило масла в огонь. Бенелявдов забыл свой зарок не пить и свою дорогую Любу, он весь дышал теперь бешенством, как кровожадный зверь, почуявший запах крови. В певческую пришел Агнцев, который в последнее время тоже, как показалось расстроенному воображению Бенелявдова, избегал его и при встрече с ним не знал, куда спрятать свои маленькие серые глазки, юлившие под белыми ресницами так торопливо и неловко, точно Агнцев был постоянно в чем-то виноват перед каждым. Бенелявдов опять почувствовал себя в знакомой старой атмосфере и пил один стакан за другим, хотя на душе скребло, и он окончательно потерял голову, как явится в таком виде к своей жене, вероятно, давно ожидавшей его, но Бенелявдова что-то продолжало удерживать в певческой. Сазон и Илюха тоже заметно пьянели и что-то шептали между собой, кивая в сторону Бенелявдова, что последний заметил, заметил и то, что Илюха все отрицательно крутил своей лохматой головой, поднимая свои брови чуть не выше лба.

— Что же ты, Максим Гаврилович, не обрадуешь нас… — пошатываясь на месте, говорил Сазон. — Так-то не делают добрые-то люди с хорошими товарищами.

Бенелявдов молчал, не понимая, к чему клонился этот странный…

— Мы наслышаны, что Господь Бог посетил вас, Максим Гаврилович, такой радостью…

У Бенелявдова опять побелели губы от злости, которая мешала ему говорить, но он все еще сдерживал себя, пока Сазон заплетавшимся пьяным языком высказывал ему какую-то ерунду. Для Бенелявдова в этом случае особенно было обидно то, что под него подкапывался именно Сазон, бывший к нему ближе всех и как друг детства, и как товарищ вообще. Он видел: в этой глупой выходке Сазона кроется чужая, ядовитая как змея интрига, окутывавшая всех вокруг него.

— Послушай, Сазон, — дрогнувшим голосом заговорил Бенелявдов, и глаза его сверкнули, — если ты хочешь что-нибудь сказать мне, так говори прямо в глаза, не ломайся…

— Я ничего… чего мне говорить? — забурчал Сазон. — Я сказал только, что так, мол, и так, что честь имеем поздравить с зачатием…

— Что же тут удивительного или смешного нашел в этом? — допрашивал Бенелявдов.

— Я ничего … только говорят люди-то…

— Кто говорит?! — закричал Бенелявдов, соскакивая с своего места как ужаленный. — Кто говорит?! Подай его сюда, сейчас своими руками задушу первого подлеца, кто только раскроет рот…

— Ишь ты, какая важная птица! — удивился Сазон, даже отступая назад. — Только ты, Макся, больно невелик в перьях-то… Тебе бы, право, лучше молчать, потому дело твое вышло самое плохое!

— Что-о?!!.. — зарычал Бенелявдов, подымаясь со своего места.

— Ничего.. — спокойно отвечал Сазон, не двигаясь со своей позиции. — Ведь не я говорю, люди говорят… А мне тебя, ей-богу, жаль!.

— Убирайся к черту с твоей жалостью!!.

— А ты не кричи, здесь не в лесу, а лучше слушай добрых-то людей… Как жене-то родить, так позови в крестные какого-нибудь инженера.

Сазон не успел выговорить последних слов, как почувствовал, что его шею сдавило чем-то вроде тисков, и он мешком полетел на пол, он успел стукнуться еще головой о стену. Раненый медведь так не взревел бы, как взвыл Сазон от боли и гнева. Бенелявдов продолжал его держать за горло, весь бледный, с пеной у рта, грозя кулаком всем бывшим в комнате.

— Я всех … всех разорву на клочки! — шипел Бенелявдов, наступая Сазону коленкой на грудь и чувствуя, как он выбивается из-под него.

— Убью! — хрипел Сазон, стараясь встать на четвереньки.

— Врешь!! Я тебя задушу как щенка… — задыхаясь, говорил Бенелявдов, напрягая всю силу своих молодых мускулов.

Илюха и Агнцев сначала безучастно относились к этой свалке, но затем, убедившись, что она приняла чересчур ожесточенный характер, оба бросились разнимать дерущихся, что им и удалось после героических усилий. Бенелявдова держали за руки четверо, но он стоял смирно, только весь бледный с посиневшими губами. Сазон, поднявшись с полу, был просто страшен, лицо было все в крови и синяках, кровь сочилась из носа, рубашка была разорвана, и он метался как бешеный, стараясь дорваться до Бенелявдова, но ему постоянно загораживали дорогу Илюха и Агнцев, получившие несчетное число тумаков от рассвирепевшего Сазона, потерявшего всякую способность видеть и слышать и дышавшего только одной ненавистью. Он просто лез на стены как сумасшедший, сокрушая все, что попадалось ему под руки. Развалины стола и осколки

стульев окружали арену, на которой как дикий зверь метался Сазон, которому было мало этого, злость просто душила его, и он, подлетев к окну, одним ударом своего могучего кулака вышиб ветхую раму и сам бросился в окно, но его вовремя успели схватить Илюха с Агнцевым.

— Бенелявдов — подлец!! — орал Сазон как под ножом. — Его жена к инженерам таскалась… Она и теперь у них на содержании живет, а… только облизывается!.. Подлец!! Я его убью..

Бенелявдова увели в соседнюю комнату, где стояло несколько медных умывальников, у одного из которых Бенелявдов умылся, чтобы хоть сколько-нибудь освежить горевшую голову. До него доносились все ругательства Сазона, порывавшегося еще раз сразиться с Бенелявдовым.

— Люба… Люба! — шептал Бенелявдов. — Все против тебя, но я умру за тебя и не позволю позорить твое имя. Что им за дело до тебя?!

Бенелявдов сознавал, что теперь отступать было уже поздно. Сазон слишком откровенно высказался за всех, и теперь Бенелявдову оставалось только встать грудью против этих всех, так безжалостно нападавших на его жену, за которую Бенелявдов готов был отдать капля за каплей всю свою жизнь. Что им за дело, кто бы ни была его жена, думал Бенелявдов, — не им жить с ней, а ему… А она так любила его, он был с ней так счастлив, впереди еще предстояло больше счастья и все через нее, его Любу, … вдруг на нее нападают все эти люди, которые недостойны одного ее взгляда. О, Бенелявдов отомстит за свою Любу, он еще достаточно силен, чтобы передушить их всех как цыплят, и он это сделает, начиная с первого Сазона, который пляшет по чужой дудке. Всего более для Бенелявдова здесь было обидно то, что все эти люди действовали против него без всякой задней мысли, вполне чистосердечно, и что всего хуже — этим чистосердечием безжалостно пользовался главный враг Бенелявдова, Алешка, распустивший по всему … всевозможные слухи про его жену. Несколько минут в голове Бенелявдова стояла мысль — пойти и задушить первым главного виновника всей этой кутерьмы Алешку, но его что-то опять удержало, и он продолжал ходить из одного угла в другой своей комнаты, в которой он теперь очутился один.

— А ты здесь?! — дико взвыл Сазон, заскакивая в комнату Бенелявдова и бросаясь на него с кулаками.

Илюха с Агнцевым просмотрели своего пленника, который воспользовался случаем и улизнул. Бенелявдов отскочил в сторону, но Сазон со скрежетанием зубов продолжал наступать на него, в дверях

показалось несколько перепуганных физиономий, с любопытством следивших, что будет дальше. Через несколько секунд у обеих воюющих сторон очутились в руках по большому медному рукомойнику, каждый фунтов в десять весу, бой принял размер какого-то поединка, удвоивший интерес зрителей. Сазон с азартом наступал, размахивая своим импровизированным оружием, Бенелявдов защищался как мог, глухой звук сыпавшихся ударов раздавался среди мертвой тишины. Бенелявдов старался вышибить у Сазона его рукомойник, а Сазон метил ему прямо в голову. Несколько случайных ударов, попавших на долю каждой из сторон только разгорячили бойцов.

— Да что же это, братцы! — кричал Илюха, врываясь в комнату через толпу любопытных и стараясь разъединить бойцов.

Илюха опоздал, Сазон успел так ударить Бенелявдова по левому плечу, что тот только застонал, но справился, и Сазон, в свою очередь, пошатнулся под страшным ударом, попавшим ему прямо в грудь. Крепок уродился Сазон, затрещала только его молодецкая грудь под роковым ударом, в свою очередь, он замахнулся тяжелым рукомойником и попал со всего размаху Бенелявдову в левый бок. Бенелявдов даже не вскрикнул от страшной боли, а с тихим лепетом, как ребенок, припал к полу, из горла у него фонтаном ударила алая молодая кровь и залила весь пол. Сазон остановился над ним с поднятым рукомойником, который вовремя успел схватить Илюха, а Бенелявдов растянулся на полу почти без признаков жизни, весь бледный и в крови.

— Он убит! — дико вскричал Агнцев, наклоняясь к лежавшему с закрытыми глазами Бенелявдову.

Все с каким-то ужасом переглянулись между собой, Илюха исподлобья смотрел на Сазона и несколько раз проговорил с каким-то укором:

— Эк, угораздило тебя!!

В это время точно ветер пробежал в комнаты и все расступились, давая дорогу Любе, которая торопливо пробиралась вперед и остановилась как вкопанная, увидев роковую картину.

— Его убили… — могла только прошептать несчастная женщина, хватаясь за голову, бросаясь к лежавшему без чувств мужу, но силы изменили ей, и она снопом повалилась на пол, так что Агнцев едва успел подхватить ее.

Бедную Любу на руках вынесли в другую комнату, где она и пришла в чувство. Пока она лежала в обмороке, кровь успели стереть, Бенелявдова опрыснули холодной водой, и он открыл отяжелевшие помутившиеся глаза. Говорить он не мог, грудь поднималась тяжело, он видимо задыхался. Люба положила его голову

на колени и покрывала какими-то безумными поцелуями его лоб и глаза.

— Макся, Макся… ты жив… — шептала Люба, своими волосами вытирая кровь, показывавшуюся у Бенелявдова время от времени изо рта.

Люба долго ждала мужа, но он не приходил, и у нее вдруг явилось какое-то предчувствие, что с ним делается что-то нехорошее. Кроме певческой, он обычно никуда не ходил, а потому, одевшись на скорую руку, Люба и побежала туда, и если бы поспела одной минутой раньше, роковой удар не был бы нанесен Сазоном.

XVII

Со времени последнего открытия дом Пузырева преобразился в очень таинственную лабораторию, в которой люди ходили с серьезными лицами, как-то приготовляясь с таким усердием, которое невольно удивляло Бенелявдова, потерявшего голову. Во всей этой суете первое место, конечно, принадлежало Кате, которая с таким серьезным лицом шила какие-то миниатюрные рубашечки, которые чуть не дюжинами исчезали в комоде Любы. Бенелявдов часто вставал совершенно в тупик, когда ему попадались в руки «штуки» какого-то чересчур замысловатого строения, употребления которых он никак не мог разгадать, как ни старался, а когда он расспрашивал об этом Катю, та только хохотала и убегала. Люба все время была серьезна и задумчива, Бенелявдов не узнавал ее и только удивлялся, когда она задавала ему такие вопросы, на которые он никак не мог ответить и которые видно сильно интересовали ее.

— Я, Макся, непременно желаю иметь сына, — заявляла серьезно Люба своему мужу, потому что девушка только и может выиграть одной красотой, а этого слишком мало… Я хочу, чтобы мой сын был непременно инженером. Как, Макся … в инженеры?

— Хорошенько не знаю, Люба, но знаю, что сначала нужно учиться в гимназии.

— Ну так мы отдадим его в гимназию, Макся, — решала вперед Люба.

Люба в последнее время не терпела никаких возражений и отстаивала все свои мнения и проекты относительно будущего. Она желала в этой сфере бесконтрольной власти, идя навстречу своих материнских обязанностей с такой слепой верой и таким упорством, которые удивляли Бенелявдова и самого Пузырева. Она

походила на тигрицу в своем логовище, и горе было тому, кто бы осмелился перешагнуть в ее пределы. Бенелявдов с каждым днем проникался по отношению к жене каким-то благоговением, чувствуя, что только теперь она встала во весь свой рост, встала такой высокой, какой не предполагал совсем Бенелявдов, начинавший даже побаиваться жены, около которой точно слагалась какая-то новая атмосфера, полная ожидания чего-то чересчур великого. Бенелявдову часто не верилось, что у него кто-нибудь будет, будет совершенно новый человек, но вглядываясь в Любу, он мало-помалу начинал верить в возможность такого счастья, так самоуверенно и так спокойно смотрела теперь его жена. Счастливый муж ходил смотреть на других детей, но это были именно «другие дети», а у Бенелявдова будет особенный, совсем особенный ребенок, он это чувствовал до глубины души, когда издали наблюдал свою Любу, следя за ней тем ревнивым беспокойным взглядом, точно боясь, что она вся разольется и у него на руках ничего не останется. Люба, в свою очередь, чувствовала этот пристальный взгляд мужа, и вся кровь подымалась в ней под его магнетической силой, ей было в одно время и как-то жутко-хорошо, и точно чего-то стыдно, как будто вдруг она могла не выполнить тех ожиданий и надежд, которые лелеяли в ней теперь все.

Из всех обитателей пузыревского дома только один его хозяин остался верен самому себе и выдержал свой характер до конца. Он только сердито фыркнул, когда ему довольно прозрачно намекнули о приятной перспективе в самом непродолжительном времени сделаться дедушкой, и с языка старика чуть не сорвалось его любимое слово: подлецы, но он вовремя успел удержаться, испустив только какое-то глухое ворчание, меньше всего похожее на радость. Люба понимала, что это было только одной формой, старой привычкой, в сущности, отец ее был очень рад и даже одобрял решение Бенелявдова больше не пить водки.

— Я сам, молодой человек, был когда-то отцом и понимаю обязательства гражданина, — сердито говорил, сидя вечером с Бенелявдовым за графинчиком водки. — Один человек один и останется, а два человека… Ну да что об этом толковать! Помните, я как-то рассказывал вам об одном квартальном надзирателе. — Еще было у него одно эдакое казусное дело, так и называлось «Дело о потушении сигары о нос квартального надзирателя на церковной площади». Так у него, доложу я вам, была жена-с.. Да-а, этакая небольшая женщина, а можете себе представить — она рожала каждый год по два младенца. Да-с, на выдумки природа таровата, сказал какой-то мудрец.

Бенелявдов согласился, что действительно природа сильно подшутила над квартальным надзирателем, не стараясь подвергать сомнению самый факт, чтобы не раздражать старика, не сносившего противоречий. Спустя некоторое время зять и тесть разговаривали самым дружелюбным образом, и Пузырев только как-то скрипел, когда Бенелявдов поверял ему свои планы относительно его будущей жизни.

— Тогда мы за-да-дим всем им подлецам!.. — рычал Пузырев, грозя неизвестно кому.

— Конечно, зададим… — соглашался Бенелявдов, не понимая, что говорил его язык.

Голубятник тоже не остался безучастным к общей радости пузыревского дома, ему было уже известно все довольно давно, и он на всю улицу распространял интересное известие, но нельзя было не заметить некоторой печали в его злобных желчных речах, точно он был обижен тем, что у Пузырева вдруг будет маленький внук или внучка.

— Ишь, подлые, хватили шилом патоки и думают, что лучше их нет, — ворчал голубятник, печальным взглядом окидывая всю Тихонькую улицу, над которой царил столько лет. — Только нет, брат, шалишь… Все это дудки! Нашли чему радоваться; у меня вон бабушка девяноста девяти лет тройню родила да за три дня и померла до разрешения-то. Это как, по-вашему? А то Пузырев большого-то ума и образования, зафинтил перед зятем, как бес перед заутреней… Уж вот именно самую что ни на есть правду сказал царь Давид: каждый дурак по-своему с ума сходит. Вот этот самый дурак и есть Пузырев! Только мне сдается, что как только разрешится принцесса-то, Пузырев беспременно живым проглотит этого самого дитю, как один отставной офицер, который так на суде и показал, что всякого мяса едал, окромя человеческого. Вот он его и захотел!.

Все в доме Пузырева затихло и притаилось опять, только не в ожидании счастья, как это было раньше, а в каком-то инстинктивном страхе перед тем что новым и неизбежным, темной тучей нависшим над всем домом.

Даже сам Пузырев как-то сразу оставил свои суровые привычки и даже меньше икал после обеда. Катя с затаенным дыханием подолгу наблюдала в дверную щель, как ее отец какими-то неровными нерешительными шагами все ходил около двери в комнату Любы, не имея смелости войти в них. Девочка видела, как отец как-то боязливо покашливал в руку, подходя к ее роковой двери, даже брался за ее ручку, но сейчас же отступал назад самыми осторожными шагами, точно боясь кого-то разбудить. Впрочем, один

раз он зашел в комнату Любы и хотел сейчас же вернуться, но Люба остановила его.

— Тебе, папа, что-то нужно? — спрашивала она отца, который удивил ее своим растерянным виноватым видом.

— Да, да… Люба… я хотел спросить тебя, — бормотал Пузырев, не зная куда деть свои глаза, — спросить тебя… как ты думаешь, Люба… какой табак … курить мне?

Люба только округлила глаза, так поразил ее этот неожиданный вопрос, но Пузырев продолжал бормотать какую-то чепуху таким же торопливым образом и закончил тем, что, махнув рукой, быстро выбежал из комнаты, продолжая бормотать на ходу:

— Это все равно, Люба… это все равно!. Подлецы!!!..

XVIII

Через десять дней Бенелявдов умер на руках своей жены, которая продолжала держать его мертвую голову, уверяя всех, что он спит. Молодую женщину, обезумевшую от страха, не старались разуверить в противном, так много вынесла она в течение этих десяти дней, когда ее муж боролся между жизнью и смертью. Похороны были устроены самым скромным образом. О. Петр на свежей могиле сказал коротенькую речь, в которой упомянул о достоинствах усопшего и напомнил, что все мы будем там и что вообще жизнь человеческая уподобляется блуждающему огню, а по всему этому родным и знакомым не нужно сильно печалить себя, тем более что это противно и Богу, без воли которого не единый волос не спадет с нашей головы. Обряд кончился, небольшой холмик сероватой земли скрыл под собой могучее тело архиерейского певчего, и его жена, эта несчастная Люба, долго лежала на этой родной могиле, не имея сил оторваться от нее. Давно уже застыли в ее серых больших глазах слезы, и лютое горе, как змея, холодным кольцом обвилось вокруг сердца. Поминальный обед прошел тихо, все чувствовали себя неловко, когда после (нрзб.) запели установленную обычаем «вечную память», Люба с каким-то удивлением посмотрела на всех, точно испугавшись, что это заживо отпевали ее. Сазона на похоронах не было, и все гости скоро разошлись. Голубятник все время был одним из главных действующих лиц, а после обеда по своему обыкновению забрался на свою крышу, откуда долго раздавались его громогласные мысли.

— И что есть такое наша жизнь? — вопросом открыл свою речь голубятник, точно он когда-нибудь обучался ораторскому ис-

кусству. — Наша жизнь все одно что лампа, карасину не стало и шабаш, брат! Другая лампа, однако, немудренькая, в чем душа держиться, горит, потому первое дело — карасин, а другая опять лампа бывает отличная и вдруг гаснет… Теперь так и с людьми, вот хоть Пузырев, ему уже давно помирать, а он все скрыпит себе да скрыпит, а хорошие люди помирают… Скрыпучее-то дерево два века живет, и пословица говорит.

А Люба сидела в своей комнате, одинокая, убитая, точно все силы жизни оставили ее разом, и она как-то съежилась и точно застыла под давлением тупой боли и тяжелого беспросветного горя. Действительно, вся ее внутренняя жизнь теперь сводилась на какое-то странное ощущение холода, точно она провалилась в какую-то пасть, откуда ей не было никакого выхода, а кругом стояла мертвая тишина, какая-то зловещая темнота. Ни один луч света не проникал сюда, чувства притупились, в голове какой-то тяжестью лежала мучительная пустота… Один день приходил за другим, а Люба все не переменяла своего образа жизни, оставаясь неподвижной как статуя и машинально повинуясь всякому, кто только хотел ей руководить. Она не замечала солнечных лучей, так любовно заглядывавших в ее комнату, не замечала того нежного внимания, которым окружила ее сестра, точно она вся ушла в себя, куда-то внутрь, где, свернувшись, лежало ее холодное, одинокое горе, сразу пригнувшее ее к земле. Люба даже не могла ни о чем думать, как ни старалась это делать, точно мозг потерял свою мыслительную способность.

XVIII

Время шло над городом N, шло своим ровным неизменным шагом, прехладнокровно унося в вечность за собой все, что попадалось под руку. Общественных интересов для такого города, как N, Господь Бог еще не успел создать, а потому его обитатели пробавлялись больше сплетнями, в которых нет пощады отцу родному. Впрочем в виде награды за ожесточенную, упорную скуку судьба иногда отпускала в город N какое-нибудь особенное происшествие, над которым долго работали все языки, пока из него не выходило что-то вроде пресловутого решного огурца. Все, конечно, смеялись над последними, сваливая вину один на другого. В половине весны, пожалуй, и явился животрепещущий интерес, это сербско-турецкая война, но газеты приходили в N через неделю, а потому скоро все и позабыли о этой войне, тем более, что

по части географии даже интеллигенция города N была невообразимо плоха, так что сам губернатор, после ходивший с кружкой для сбора в пользу славян, в первое время все перемешивал сербов с караимами, серьезно уверяя всех, что это одно и то же. И вдруг точно луч света ворвался в эту беспросветную глушь, выхватывая одно совсем выходившее из ряда обыкновенных — необыкновенных событий, давшее такую богатую пищу умам и особенно языкам. В самом деле, какие необыкновенные события посещали город N? — В сущности, это были вполне обыкновенные и даже, может быть, записные случаи, вроде записного количества писем, опускаемых в почтовый ящик без адреса. Чего в самом деле особенного было в том, что повесился, например, соборный дьякон, или в том, что отравилась две гимназистки спичками, или в том, что жена одного чиновника утопилась от побоев, или в том, что пьяные мужики в драке убивали кого-нибудь. Все такие заурядные явления, а тут вдруг город молнией облетела весть, что простой мещанин зарезал одного инженера и сам явился в полицию, где признался в своем преступлении. И зарезавший, и зарезанный — оба были люди молодые, никаких отношений не имели и даже не могли иметь, нет, это только так показалось всем на первый взгляд, а там стоустная молва разнесла такие подробности, что у всех даже сердце забилось от радости — буквально от радости, потому что подкладкой всего дела явилась любовь, и причем любовь самая страшная, самая романтическая… Все обыватели города N просто ликовали, потому что у них, да, в их городе совершилось такое таинственное убийство, которое открывало необозримое поле всевозможных догадок и подозрений, в облаках которых особенно усердно носились N-ские дамы, позабывшие все на свете из-за этого события, которое разрослось до таких громадных размеров наконец, что даже блюстители порядка сочли нужным вмешаться в это дело и открыто заявили, что будут преследовать законным порядком всех тех, кто распускает по городу нелепые слухи.

Действующими лицами загадочного происшествия явились Николай Александрович Зорин и сосед Пузырева, наш старый знакомый голубятник, который по совершении преступления сам явился в полицию, где и заявил, что «убил человека». Дальше последнего заявления из голубятника ничего не могли вытянуть никакие следствия и никакие допросы, потому что он все время молчал или сердито ругался. Во всем этом деле всем было понятно, только одно, именно, что преступление голубятника было вызвано не какими-то денежными расчетами, а просто личной ненавистью. Мол-

ва подхватила это соображение, из которого быстро вырос целый роман, главным героем которого явилась неизвестная дотоле никому Люба, дочь отставного акцизного чиновника Пузырева. Дамы города N торжествовали, многозначительно улыбались между собой и бросали на мужчин самые таинственные взгляды, точно первым было известно все, а последние были виноваты во всем. Не было, кажется, во всем N ни одного человека, который бы не знал самым подробным образом, как Люба, эта девушка сомнительного поведения, завлекла молодого инженера, как она кутила с ним целое лето, как затем вышла замуж за архиерейского певчего, которого, кажется, спровадила на тот свет немного рано. Дамы все знали очень хорошо, что до встречи с инженерами Люба была обручена с голубятником, который был так сильно влюблен в свою невесту, что решился отомстить за свою обиду и, опасаясь, что Люба выйдет замуж за инженера, — убил его. Все дело было так ясно и так очевидно, что все были уверены, что главной виновницей всего дела была эта дочь чиновника Пузырева, Люба, которую N-ские дамы и не называли иначе, как развратным чудовищем, какому трудно было отыскать подходящее место даже в аду. И вдобавок ко всему это чудовище было беременно… Что ожидало несчастного ребенка? Здесь справедливые, проницательные, глубоконравственные дамы города N окончательно терялись и только покачивали своими птичьими головками.

Через три дня после рокового происшествия скромные дроги увезли на кладбище тело Зорина, которого провожали несколько инженеров и в числе их Курганов, переставший пить и шедший за гробом своего друга с опущенной головой. Обряд окончился, все ушли, Курганов тоже пошел вслед за другими, но вернулся назад и долго ходил кругом могилы Зорина, что-то соображая про себя. Он не замечал, как в двадцати шагах от него молодая высокая женщина, в черном, с каким-то убитым восковым лицом беззвучно опустилась на какую-то безымянную могилу, затерявшуюся среди большого кладбища.

— Finita comedia, — бормотал Курганов, приближаясь к женщине и не замечая ее. — Все кончается уничтожением… удел всех — нирвана. К чему ведут все наши желания, страсти, радости и надежды, когда достаточно трех аршин земли, чтобы скрыть какое угодно горячее сердце… какую угодно великую мысль. К чему это, к чему стремиться, к чему желать?

Курганов при последних словах поднял голову, и его взгляд упал на женщину в черном, в которой он сразу узнал Любу и, слабо вскрикнув, побежал в сторону недалеко стоявшего леса.

Курганов бежал все вперед, точно за ним по пятам гналась одна страшная мысль, мысль, что если бы он еще раз взглянул на Любу, все его выстраданное горе снова поднялось в его душе высокой всепожирающей волной, затопляя на своем пути зарождавшееся спокойствие. Он опомнился только на опушке леса, когда уже некуда было идти вперед и опасность встретиться еще раз с Любой совершенно миновала.

— Куда теперь идти? — спрашивал самого себя Курганов, осматриваясь на каком-то пригорке, с которого виден был весь город N, почти совсем тонувший своими беленькими домами в зеленых садах.

Курганов быстро спустился с пригорка и пошел по маленькой тропе, которая вела в городское предместье, так называемую солдатскую слободку, известную таким оборванным истертым людом, при одном взгляде на который невольно коробит всякого свежего человека. Курганов шел, опустив голову, на каждом шагу сталкиваясь с пьяными солдатами, прогуливавшимися по улицам под руку с какими-то до невозможности отвратительными женщинами в лохмотьях. Несколько кабаков были набиты пьяным, галдевшим народом, пропивавшим в этих помойных ямах последние лохмотья. Курганов невольно остановился у одного из таких притонов всякой рвани, откуда доносился такой густой голос, певший знакомую песню:

Кузнец, ты скуй мне цепь.
Я цепью той красавицу жену
К кровати крепко прикую…

Курганова заинтересовало это пение, и он вошел в кабак, дыхнувший на него такой невообразимой вонью, таким смрадом, что в первую минуту он было попятился назад, но знакомые звуки в это время с особенной силой прорезали зловещую атмосферу кабака и точно застыли под низким деревянным потолком, заставив Курганова даже вздрогнуть.

И пес прикормленный не лает… —

Гремел чей-то голос, продолжая песню. Курганов продрался через всю толпу к самой стойке, рядом с которой на низенькой скамейке сидели Сазон и дьякон Илюха. Сазон пел, Илюха держал в руках полуштоф очищенной.

Но цепь … но цепь… но цепь крепка и коротка!!! —

закончил Сазон с таким громовым раскатом, что у Курганова на душе похолодело от какого-то неиспытанного им еще чувства. Курганов подошел к стойке и спросил стакан водки, молча наблюдал архиерейских певчих, которых узнал с первого раза, потому что как настоящий русский человек любил иногда зайти в архиерейскую церковь послушать архиерейский хор, заменявший в N оперу.

— Я говорил, что не надо связываться с бабой… — сердито бурлил Сазон, обращаясь собственно ни к кому. — Эх, Мася, Макся… загубил ты свою голову по-напрасному!

— А что, господа, не видно стало господина певчего, который прежде с вами ходил, — спрашивал целовальник Иван Никитич, известный всей солдатской слободке под именем Ваньки Каина, знавший во всех подробностях несчастную историю Бенелявдова, но желавший выслушать ее из первых уст. — Эдакий славный был человек, голосистый и, должно полагать, оченно доброй души…

— Умер он, — отрезал как ножом Илюха.

— Умер?! — с удивлением протянул целовальник, придавая своей роже самое невинное выражение и крестясь широкими купеческим крестом. — Пошли, Господи, царствие небесное… Хороший был человек! А как, позвольте знать, вся кумплеция случилась?

— Очень просто… после смерти ни одного часа не жил, — сердито проговорил Сазон, не поворачивая головы. — С бабой связался, ну и того, шабаш!

Курганов слушал этот отрывочный разговор, точно не веря своим ушам. — Опять она и везде она, думал он, чувствуя, как каждое слово певчих бросало его в жар и холод. Желая сколько-нибудь подкрепить себя, Курганов выпил сряду несколько стаканов какой-то отвратительной водки, ожегшей ему горло и сразу затуманившей ему голову, так что он снова очутился в той пьяной атмосфере, из которой его вытащил Зорин.

— Остались мы с тобой теперь одни, Сазон, — говорил как-то особенно печально Илюха, взбалтывая в штофе очищенную.

— Да..

— Макся помер, Агнцев, того гляди, женится на этой черномазенькой…

— И выйдет дурак!

— А как ты думаешь, Сазон, хорошие мы с тобой люди?

— Конечно, хорошие… настоящие люди!

Певчие выпили по стакану и на время замолкли, но Курганов видел по их красным потным лицам, что их занимала какая-то одна мысль.

— Знаешь што, Сазон, — тихо заговорил Илюха, — мне почему-то сдается, что и нам с тобой не долго осталось гарцевать на белом свете…

— Туда и дорога! Не дорого дано — не жаль..

— А я все-таки перед смертью этого монашенку, Алешку долгоносого, непременно отколочу, потому он опять меня надул, — неожиданно воодушевился Илюха, сжимая могучие кулаки.

— Всыпать надо… — решил Сазон, опрокидывая в свою «пасть» с ряду два стакана.

Илюха последовал его совету, а Сазон в это время положил свою голову на грязную стойку и долго лежал в таком положении, закрыв лицо руками. Когда он поднял голову, лицо было мокрое, а в глазах стояли крупные слезы.

— Сазон… Что это?! — с каким-то испугом спрашивал Илюха, до настоящей минуты даже не подозревавший, что Сазон мог плакать, но последний в ответ только облапил своего «закадыку» и, спрятав голову на его груди, шептал как ребенок: — Люба… Любка! Змея Любка… Зачем ты погубила Максю?! Я задушу тебя… Ох, Любка, Любка… погубила ты нас всех…

Что хотел сказать последними словами Сазон, трудно было понять, но Курганова ударили они по голове, точно молотом, и он стоял минуты две перед Ванькой Каином точно помешанный, чувствуя только, как в груди повертывалось с тупой мучительной болью что-то такое необъятно-громадное, чего он боялся как ребенок.

— Камедь!! — решил Иван Никитич, встряхивая своими в скобу подстриженными волосами и улыбался какой-то жирной, гадкой улыбкой.

«Они все ненавидят ее!!» — думал Курганов, выбегая из кабака.

В ушах у него стоял хриплый шепот Сазона, в глазах проносилась подлая, кабацкая улыбка Ваньки Каина, и Курганов все бежал вперед и вперед, бежал изо всех сил, точно от этого зависело что-то очень важное. Он опомнился только тогда, когда очутился на Тихонькой улице, низенькие домики которой он узнал сразу. Начинало уже смеркаться, и Курганов, выбрав какие-то ворота, наискось от дома Пузырева, поместился в них, присев на какой-то чурбан. Тихонькая улица засыпала, ни одного человека не видно было на всем ее протяжении, только где-то в отдалении едва слышно доносился хриплый лай собаки.

— Они все против тебя, Люба, — думал Курганов, не спуская глаз с пузыревского дома, в котором было темно как в могиле. — Но я буду за тебя…, я буду твоим ангелом-хранителем… И даю

тебе, моя Люба, честное слово, что от этой минуты не возьму в рот ни одной капли вина… Да, у меня теперь есть … я спасу тебя, Люба!

Курганов был в каком-то восторженном настроении, подавленная любовь вспыхнула в нем с страшной силой, и он дольше был не в силах бороться с ней, покорно отдаваясь течению. Когда в доме Пузырева засветилось одно окно, Курганов осторожным шагом прошел по другой стороне улицы, но знакомой силуэт не вырезался на белой занавеске; в доме было по-прежнему тихо, точно в нем все вымерли. Курганов продолжал ходить, любуясь ночью и не желая расстраивать овладевшего им торжественного настроения, Люба в его глазах сделалась каким-то божеством, перед которым он преклонялся всеми своим существом. В эту минуту до уха Курганова издали донеслась знакомая песня, которую пел Сазон, возвращаясь из солдатской слободки:

Ах вы ночи, ночи темные, осенние
Вы совсем мне ночи надоели, надоскучили…

Сначала Курганов вздрогнул, а затем долго ловил ухом замиравшие в ночной тиши звуки, лившиеся на его измученную душу каким-то словом спасения, точно он в этот самый момент стряхивал с себя все свое прошлое.

XIX

Стоял июль-месяц в начале, дни выпадали все такие жаркие, светлые, Люба все время никуда не выходила из дому и кончила тем, что заболела, родив во время болезни мертвого ребенка. Против ожиданий, она как-то равнодушно отнеслась к последнему, так что лечивший ее врач сначала крепко задумался, а потом дал совет старому Пузыреву наблюдать как можно внимательнее за дочерью, чтобы она как-нибудь не покончила с собой или не сошла с ума в одиночестве. Таким образом, Люба очутилась под контролем своего отца, который употреблял различные предлоги, чтобы не выходить из комнаты как можно дольше. Сначала он пустил в оборот весь запас анекдотов, который оказался очень скудным и притом вызывал у Любы не смех, а улыбку сожаления к бесплодным усилиям старика отца. Пузырев начинал было совсем терять голову, как вдруг одно случайное обстоятельство выручило их из беды самым блестящим образом. Дело в том, что он случайно познакомился с одним инже-

нером, который сам предложил к его услугам всю свою библиотеку и, кроме того, несколько газет и журналов. Таким образом, комната Любы обратилась во что-то вроде читального кабинета, где Пузырев ежедневно читал по нескольку глав, стараясь угадать, что нравилось Любе. Последнего Пузырев, вероятно, не узнал бы никогда, если бы тот же инженер, который дал ему книги, не научил его, что и где читать. Вышло так, что Люба начала следить за чтением отца с заметным интересом и делалась как будто веселее. Больше всего Любу интересовали известия с театра войны, где лилась сербская кровь и кровь наших первых добровольцев. Здесь Пузырев был особенно в своей тарелке и пускался в длиннейшие рассуждения по поводу различных политических вопросов. По вечерам в комнате Любы велись горячие политические споры между самим Пузыревым и Катей, а иногда и сама Люба вмешивалась в их разговор.

— Ах, па-адлецы!! — рычал Пузырев, читая известия о болгарской резне. — Я бы их, ракалий, всех в бараний рог свернул… Что это смотрит наше правительство, право, не понимаю! Кажется, я бы этих турок всех так узлом завязал да в море… туда им и дорога, шельмецам!!

— Папаша, ведь и турки тоже люди, — вступалась иногда Катя.

— Ка-ак?! Что?!. Люба? Да попала бы ты к ним, голубушка, так показали бы они тебе себя … С живой всю бы кожу содрали!!

Пузырев изливал на турок целые потоки всевозможных ругательств, которые давно уже накипели у него на душе. — Они младенцев живьем едят, а ты говоришь — люди! Волки и то лучше… По крайней мере разорвут сразу и кончено, а эти па-адлецы сначала до полусмерти измучат, а потом уж убьют! Ах, бестии… ракалии… па-адлецы!

— Эх, кабы я был молодой, — с сожалением не раз говаривал Пузырев, — вот ей-богу бы пошел турок колотить… Своими бы руками задавил … каналью! Так, Люба? Ты не смотри на меня, что я стар стал.

Агнцев за последнее время все чаще и чаще посещал дом Пузырева, просиживая в нем целые вечера в разговорах о войне и особенно пристально заглядываясь на Катю, которая под этими взглядами вспыхивала просто как маков цвет. Люба замечала возникавшие отношения между молодыми людьми, но делала вид, что ничего не видит; в душе она была рада выдать сестру за Агнцева, который хотя и не был особенно выгодной партией, но зато был именно таким мужем, какой был нужен для Кати. Они прожили бы целый век самым счастливым образом, так думала Люба о молодых людях, глубоко убежденных, как и все остальные люди,

что их проделок никто не замечает. Раз Агнцев зашел в комнату Любы, когда она была одна, Пузырев ушел за газетой.

— А я, Любовь Павловна, к вам… — нерешительно заговорил Агнцев.

— Я знаю, зачем … — тихо ответила Люба, поднимая на Агнцева свои большие серые глаза, — вы переговорили с ней?

— Да… да… то… есть…

— Ну и прекрасно, теперь остается переговорить с отцом, а он, наверно, даст свое согласие… Может быть, немного покричит на вас, но он заметно постарел, и ему многое можно простить как старику.

— Помилуйте, Любовь Павловна… я знаю Павла Петровича, слава Богу, не первый год!

Пузырев был, как говорится, легок на помине и в этот момент появился в дверях, такой веселый и даже радостный, видимо, с хорошими вестями с театра военных действий, который теперь занял первое место в числе интересов пузыревского дома.

— Молодцы… Ей-богу, молодцы, — запыхавшись, говорил старик, бросаясь на стул.

— Кто, папа, молодцы? — спрашивала Люба, указывая Агнцеву глазами на отца.

— Да наши добровольцы молодцы, Любушка… Я сам пойду в Сербию. Вот только ты поправишься, Люба…

— Я к вам, Павел Петрович… — краснея, заговорил Агнцев.

— Вместе со мной? В Сербию? Иди я тебя поцелую…, — вскочил со своего стула Пузырев, простирая объятия. — Я, брат, всегда хорошо о тебе думал, потому что знаю, что Агнцев не выдаст… не такой человек! Так я говорю или нет?

— Я не то хотел сказать, Павел Петрович… — замялся окончательно Агнцев, чувствуя на себе поощрительный взгляд Любы.

— Да тут и говорить не о чем, — продолжал Пузырев, не понимая Агнцева, — разнесем всю Турцию и шабаш! Не посрамим земли русской…

— Я… я пришел к вам, Павел Петрович, просить руки вашей дочери, — выпалил наконец Агнцев роковую фразу, заставившую Пузырева сначала остолбенеть, а потом осердиться.

— Как?! Что?!. Млствый гсдарь… Какую такую дочь пришли вы просить у меня? … — Пузырев подступал к самому носу Агнцева, так что тот даже немного попятился назад.

— Катерину Павловну…

Пузырев посмотрел сначала на Агнцева, потом на Любу и на дверь, за которой почему-то подозревал присутствие Кати, и начал довольно энергично:

— Вон! Убирайтесь к черту, млствый гсдарь… Я никому не паазволю смеяться над собой!

— Папа, над тобой никто не смеется, — вступилась Люба, не ожидавшая такого крутого поворота. — г. Агнцев серьезно просит руку сестры…

— Да вы с ума все сошли! — с гневом крикнул Пузырев, заметавшись по комнате как ужаленный. — Девчонке двенадцать лет, а они за рукой … хороши соколы!

— Папа, Кате шестнадцать лет, — вставила свое слово Люба, догадавшаяся, в чем было дело.

— Как шестнадцать лет?! — удивился Пузырев, никак не подозревавший, что из маленькой Кати могла вырасти большая девушка.

— Очень просто, папа…

Пузырев сел на свой стул и несколько раз вздохнул самым тяжелым образом, точно на нем только что пропахали верст десять полной рысью. Агнцев стоял посереди комнаты, не зная, что ему следовало делать в таком исключительном положении, Люба смотрела на отца своим светлым говорящим взглядом.

— Позовите сюда Катю… — решил Пузырев, тяжело вздохнув, точно у него с плеч гора свалилась.

Катя вошла в комнату с опущенными глазами, на ресницах у нее дрожали слезы. Пузырев долго смотрел на нее сердитыми глазами, так что Любе сделалось жаль сестры, совсем растерявшейся и точно виноватой в чем-то таком большом перед целым светом.

— Я говорила тебе, что она совсем большая … — прервала первой Люба тяжелую для всех минуту.

— Да, да, большая… Нынче все большие сделались, — сердито заворчал Пузырев. — А впрочем… Бог благословит вас, дети мои… любите друг друга… Только свадьбе раньше года не бывать, это уж как вы там хотите!

Влюбленные переглянулись между собой, протянули друг другу руки и подошли к старику за благословением, Пузырев дрожавшей рукой благословил молодую парочку и даже прослезился, Люба тоже не могла удержаться и со слезами на глазах целовала молодых людей, глядя им в глаза таким любящим чистым взглядом, каким умела смотреть только она одна.

Вечером этого дня в доме Пузырева весело пили за здоровье молодых, которые краснели и стеснялись как дети. Люба смотрела на них своим задумчивым печальным взглядом, все это замечали и всем было немного не по себе, потому что, очевидно, Люба заставляла себя насильно участвовать в общем веселье, когда

у самой лежала на душе черная туча. Когда влюбленные наконец расстались, и Люба осталась одна с отцом, она долго и пристально смотрела на него, а потом заговорила своим грудным симпатичным голосом:

— Послушай, папа, теперь Катя пристроена, и у тебя больше не остается никакой заботы на руках… Я этого давно ждала, чтобы сообщить тебе одно очень важное обстоятельство.

Пузырев весь встрепенулся от этого торжественного вступления, точно предчувствуя что-то недоброе, которое вот-вот сейчас обрушится на его седую голову.

— Да, папа… но сначала я должна тебя поблагодарить за твои (нрзб.) во время моей болезни… Я думала, что умру, и была этому рада, но довелось опять жить, а жить я не могу… Я говорю тебе это, папа, прямо в глаза, и ты напрасно стараешься развлекать меня — моего счастья не воротишь, значит, и толковать не о чем. Все это время я обдумывала, папа, что мне делать, когда я поправлюсь, и теперь придумала и не переменю своего решения ни за что на свете. Ты знаешь, мой хороший папа? Я не люблю обманывать и делаю, как говорю…

— Ну… — протянул Пузырев, удивлявшийся все более и более.

— Я, папа, уйду сестрой милосердия…

— Что?!.. Как?!. — вскричал Пузырев, подскочив на месте как резиновый мяч. — И не думай лучше… выкинь из головы! На кого же ты меня, старика, оставишь?

— С тобой, папа, будет жить Катя…

— Нет… не надо!... Не для этого, Люба, я родил и воспитывал тебя… Ты нехорошо делаешь, Люба…

— Папа, если я здесь останусь — я умру с горя… — шептала Люба, целуя отца.

— О, я несчастный, несчастный!! — возопил Пузырев, хватаясь за голову. — Что мне остается теперь делать? Живому лечь в могилу и велеть закопать себя… Ах, Люба, Люба, неужели ты бросишь меня?

В этих словах старика было столько горя, столько отчаянья, столько какого-то дикого страха, что Люба не могла выдержать и бросилась к отцу на шею, продолжая шептать:

— Папа, папочка… пожалей меня, ведь я умру здесь с горя или сойду с ума!

Но старик молчал, он был окончательно убит, последний луч света уходил с его жизненного горизонта.

XX

В один из последних дней июля, на пристани, с которой готовился отплыть пароход в Нижний, собрались почти все обыватели города N, благодаря совершенно исключительному случаю, составлявшему положительно злобу дня. Дело в том, что по примеру других русских городов N кликнул клич и собрал на свои средства отряд добровольцев и несколько сестер милосердия, которые отправлялись в этот день в Сербию. На пристани собрался весь город, так что набережная была усыпана народом; полиция выбивалась из сил, стараясь водворить порядок в тысячеголовой толпе, гудевшей и волновавшейся как море. Вся городская аристократия была налицо и ждали даже преосвященного, который обещал проводить отправлявшихся в далекий путь. Человек тридцать добровольцев столпились на пристани в ожидании отплытия парохода. Что за смесь одежд и лиц! Преобладающим большинством, конечно, были отставные солдаты и вообще «отставные», вроде отставных чиновников и т. п., исключением была только небольшая группа раскольников, во главе которой шел небольшой приземистый старик с седой бородой, с густыми, нависшими бровями. Собравшиеся провожать добровольцев родные причитали и голосили от всего сердца, так что картина выходила очень раздирательного свойства; особенно убивалась какая-то пожилая бабенка, провожавшая отставного солдата и никак не хотевшая выпускать его из своих рук. Теперь дело прошлое, и все подсмеиваются над добровольцами, но в начале, когда только это дело устанавливалось, все общество было охвачено неподдельным одушевлением, что можно объяснить как угодно: и отсутствием других общественных интересов, и смертной скукой, и желанием погалдеть… Словом, говорить можно что угодно, но важно то, что дело сделано и сделано от всего сердца, со слезами на глазах, по крайней мере так было в забытых губернских городках вроде города N.

Люба сдержала слово и поступила в число отправлявшихся на войну сестер милосердия. Провожать ее явился Пузырев, Катя и Агнцев, представлявшие собой довольно оригинальную живую картину: Катя плакала навзрыд, и ее хорошенькое личико было совсем мокрым от слез, Пузырев хмурился и ворчал на кого-то самым свирепым образом, Агнцев окончательно изнывал в роли утешителя между обеими сторонами. Люба была по обыкновению спокойна, но к этому спокойствию прибавилось сегодня что-то особенное, отчего все ее бледное лицо словно светилось. Суета прощания вышла почти безмолвной, старик Пузырев долго держал в своих объятиях Любу,

целовал ей глаза, шептал какие-то наставления и кончил тем, что начал ругаться с кем-то из толпы. Люба твердой походкой шла по трапу, и только, когда ей пришлось спускаться на палубу, она подняла глаза на толпу добровольцев, скучившихся на носу парохода, и несколько подалась назад, — ее взгляд упал на двух добровольцев, стоявших рядом, из которых один был Сазон, а другой Курганов. Любе большого труда стоило пройти первые шаги по палубе, которая, как казалось ей, уходила из-под ее ног.

Наконец явился преосвященный, который пришел прямо на палубу, где добровольцы ждали его без шапок. Старик благословил отправлявшихся в далекий путь, сказал коротенькое слово, после чего он долго искал глазами кого-то в толпе, пока не отыскал Сазона, которого обнял как сына и поцеловал. Толпа на берегу замерла под давлением какого-то одного торжественного чувства, охватившего всех разом, женщины плакали, плакали и многие мужчины. Впечатление дошло до последней степени, когда архиерейский хор неожиданно запел «Спаси, Господи, люди твоя…!» Стройное торжественное пение тихо и плавно поднималось над смутным гулом толпы, замирая величавыми аккордами где-то там, вверху. Преосвященный благословил сестер милосердия, из которых особенно выделялась Люба своей высокой стройной фигурой.

— Больше сея любы никто же имать, аще душу свою положит за братий своих, — говорил преосвященный, ограждая всех отправлявшихся в путь последним благословением.

Наконец он вышел на пристань, где хор стройными и могучими аккордами начал «Боже, царя храни»… Минута вышла настолько торжественная, что народ плакал навзрыд, но вот упали чалки, пароход тяжело вздохнул и с каким-то пыхтением повернул своими колесами, загребавшими и дробившими воду. Весь берег огласился одним общим криком «ура», точно море вышло из берегов и с глухим ревом бросилось на берег. А пароход, сделав полуоборот, стрелой пустился вниз, унося с собой кучку добровольцев и сестер милосердия, за которыми летели молитвы и благословения громадной толпы, стоявшей на берегу.

«Теперь все кончено, впереди — новая жизнь, — думала Люба, прощаясь с городом своим глубоким, светлым взглядом: — Прощай всё и все… Там будет что-нибудь новое!»

Почти это же самое думал Курганов, не спускавший все время глаз с Любы; он тоже разом рвал связь с прежней жизнью. Один Сазон, кажется, ни о чем не думал и только странно улыбался, поглядывая на пропадавший город.

Вместо эпилога

Над городом N стояла жестокая зима, все потонуло в непроходимом снегу, вьюги и метели проносились над несчастным городом почти без перерыва. После Рождества в доме Пузырева праздновали свадьбу Кати, которая выходила за Агнцева раньше срока, назначенного Пузыревым сначала. Свадьба была очень скромная, гостей было не много, в числе их были из наших старых знакомых только двое — дьякон Илюха и о. Петр. Сам старик Пузырев все время был как-то задумчив и грустен, а когда гости начали (нрзб.) он остановил их.

— Я приберег к концу письмо, которое получил из Сербии, — торжественно начал Пузырев, вынимая из бокового кармана большое письмо, писанное рукой Любы.

Люба писала следующее:

«Милый дорогой мой папа! Пишу тебе это письмо из Сербии, из Белграда, где мы теперь находимся вместе с моим мужем, Дмитрием Ивановичем Кургановым… Описывать тебе, как все это случилось, — слишком долго и притом начинать пришлось бы чуть не с Адама, скажу только, что очень счастлива, счастлива каким-то особенным счастьем, о существовании которого я никогда и не подозревала. Все это время я пережила слишком много, теперь, папа, живу совершенно новой жизнью, которую открыл передо мной мой муж. Ты спросишь, папа, люблю ли я его? Могу ли я любить его? На это я тебе отвечу: да, потому что мой муж совершенно особенный человек, именно тот человек, которого я могла полюбить после всего, что вынесла в жизни… Он был сильно ранен под Дьюнишем, где был убит наш общий знакомый Сазон (я ему давно все простила!), я как сестра милосердия ухаживала за ним, и мы сошлись при этой исключительной обстановке, которая помогла нам наконец понять друг друга. Война теперь кончилась, но мы, я и муж, остаемся в Сербии и, вероятно, останемся там навсегда, потому что обоим было бы выше сил возвращаться на родину, где у нас осталось столько тяжелых воспоминаний… Сербия, папа, чуть не рай в сравнении с N, сами сербы тоже отличный народ, и мы решились с мужем поселиться здесь навсегда, тем более, что, как говорит мой муж, мы на это имеем право, купленное нами ценой нашей собственной крови и крови русских добровольцев. (Я, папа, тоже была ранена, слегка царапнута пулей в руку, так что пролилось несколько капель и моей крови за Сербию…) Мы теперь пока живем в Белграде, но скоро поселимся где-нибудь на берегу Дуная, где мой муж хочет купить клочок земли, на котором можно

было бы устроить что-нибудь вроде фермы или виноградника. Займемся, папа, сельским хозяйством, и если дело пойдет хорошо, выпишем тебя, что мне уже обещал мой муж…»

«Это письмо, папа, я пишу собственно для Кати, о которой часто вспоминала здесь… мне так хочется видеть ее, потому что она, по мере того как делается старше, все больше и больше начинает походить на нашу покойную мать. (Вдали от родины поневоле вспоминаешь все, что относится до нее, и если бы ты знал, папа, как мы с Дмитрием отыскиваем в русских газетах все, что пишут о N, но пишут о нем слишком мало, или когда совсем ничего не пишут.) Да, я начала говорить о Кате, перед которой чувствую себя виноватой, папа, потому что оставила ее совершенно одну в такую важную пору ее молодой жизни… Дай Бог ей всего хорошего! Передайте мой поклон Агнцеву, и скажите, чтобы он берег мою девочку больше всего на свете…»

«Очень глубоко любящая вас ваша Люба Курганова!.»

«P.S. Я буду, папа, теперь тебе писать каждую неделю, пишите и вы нам о всем и о всех… Ах, папа, если бы ты знал, как живут люди за границей, например в Сербии! Ты себе ничего подобного и представить не можешь. Мой муж, когда мы говорим об N, всегда называет его не иначе, как «пьяным городом».

Письмо было прочитано, но все хранили самое глубокое молчание.

— А ведь правду она пишет, Любовь-то Павловна наша, — заговорил о. Петр, удивившийся больше всех, — ведь точно наш N-то совсем пьяный выходит… Я и раньше об этом думал, только со стороны-то оно, значит, виднее!..

Старатели

(Очерки из жизни Среднего Урала)

IV

Наконец наступил и многозначительный день суда над Гвоздевым, и эта темная история должна была …появиться на свет божий со всеми подробностями, эпизодами и аксессуарами, о которых говорили больше, чем о самом процессе. Для меня лично этот процесс был бытовой страницей из истории Урала, живым воплощением из жизни таких крупных воротил, какими были для Урала Гвоздев и Печенкин: действующие лица в процессе, и суд, и отношение к тому и другому публики — все было полно глубоким интересом, открывающим собою любопытную картину совершенно особенной жизни местных дельцов со всеми их каверзами, проделками, ходами и выходами.

Помещение для заседания сессии окружного суда было отведено в старых заводских конюшнях, так как другого более приличного помещения в Старом заводе не оказалось. В залу заседания впускали только по билетам, и я принадлежал к тем счастливцам, которые заранее успели запастись этим сокровищем. Здание конюшен помещалось в глубине длинного двора, который был буквально запружен народом с раннего утра; за недостатком входных билетов, многим желающим пришлось поместиться даже в амбразурах узеньких окон. Четыре полицейских охраняли вход в зал заседания и, выполняя строжайшую инструкцию Пальцева отнюдь никого не впускать без билетов, в пылу усердия чуть-чуть не угостили оплеухой самого товарища прокурора, Венедикта Венедиктовича Пржетачинского, который, как говорила молва, отлично изучил все дело и должен был сказать громовую речь.

Импровизированная зала заседания представляла собой узкую очень длинную комнату с избитым деревянным полом и давно небелеными стенами; новенькая деревянная перегородка разделяла эту комнату на две небольшие, для публики и для суда. Публика помещалась на простых досках, изображавших скамьи, места

были, конечно, все заняты, и часть публики принуждена была стоять в проходе и между скамьями. Большинство этой публики состояло из заводских служащих, местного купечества и представителей старозаводского beau monde'а. Дамы занимали две передние скамьи, и среди этого «букета полевых цветов» помещался сам несравненный, по выражению Евмении, «сладчайший», père Нектарий, облаченный в шелковый фиолетовый подрясник и темно-синюю шелковую ряску. Розовое, постоянно улыбающееся лицо о. Нектария, обрамленное небольшой бородкой, с едва заметной сединой, издали сильно походило на спелую землянику; его маленькие серые глазки, подернутые... (неразб.) поволокой, смотрели кругом необыкновенно умным, пытливо сверлящим взглядом, казалось, говорившим всем: «Я знаю, дети, что все мы грешные... один Бог без греха, дети мои». Этот пастырь посреди своего духовного стада представлял поистине умилительное зрелище, дамы облепили его, как пчелы сот, и закидали массой вопросов, имея скверную привычку говорить все разом, но о. Нектарий успевал всем отвечать и остроумно, и приятно. Когда о. Нектарий начинал говорить серьезно, физиономии дам делались серьезными, в них, как в зеркале, отражались мудрость пастыря, а как умел говорить о. Нектарий... вот уж чего не описать никаким пером, и даже чесание пяток не могло идти в сравнение с этим удивительным красноречием, которое, не задевая никого, решительно никого, умело оставаться совершенно беспристрастным. Оглянув на места, занимаемые публикой, я заметил в самом дальнем углу Василису Мироновну, сидевшую в темном платочке и слегка кивнувшую мне головой; у выходных дверей сидел «мамочка», покручивая усы и перебрасываясь словечками с Пальцевым, который успевал являться как-то разом в нескольких местах и даже говорил дамам самые приятные вещи.

Недалеко от меня помещался «министр», совсем опьяненный сознанием собственного величия и строго смотревший на всю публику; земский доктор сидел рядом с министром и по обыкновению ковырял пальцем в носу, что, как известно, спасителям отечества в вину не ставилось. Димитраки, конечно, был тоже в числе публики, потому что ему в техническом училище не было никакого дела; у этого почтенного представителя старозаводской золотой молодежи оказался на носу порядочный рубец, оставленный ногтями Заверткина, но этот рубец нисколько не помешал Димитраки забраться как раз позади своего предмета, т.е. почтенной половины Заверткина, вероятно, в тех видах, чтобы удобно было протягивать свои блудливые ноги. Впрочем, Димитраки был теперь не один, рядом с ним помещался один из заводских упра-

вителей, Карл Мария Агнесса Штукмахер. Это был настоящий немец, красный как рак и нахальный, как всякий немец, помнящий, что у всякого немца есть великая Германия, и в великой Германии живет великий Бисмарк. Штукмахер по примеру Димитраки тоже вытянул свои длинные ноги, так что бедная красавица очутилась разом между двух огней, и ей ничего не оставалось делать, как совсем поджать под себя ноги и внимательно слушать все, что говорил о. Нектарий.

— О какой красивый дам... — довольно громко говорил Штукмахер, пьяный со вчерашнего дня и не имевший обыкновения стесняться пред публикой, потому что вся эта публика была, по понятиям немца, «швин» и «канайль». — Я за один ножка такой дам отдам семьдесят русский... (неразб.)»

Другая половина залы была занята самим судом, в глубине стоял длинный стол, накрытый красным сукном, направо от него были места для присяжных, налево — скамья подсудимых, огороженная легкой деревянной решеткой, а перед ней были расположены места для защитников обеих сторон. За красным столом сидел секретарь суда, уткнувшийся в свои бумаги, да еще выставлялась из-за перегородки прокурорского пюпитра голова Пржетачинского, который делал какие-то отметки карандашом на листе бумаги и поглядывал на публику тем углубленным в себя леденящим взглядом, каким способны смотреть только одни прокуроры и только отчасти товарищи прокурора. Пржетачинский был только товарищ прокурора, но держал себя, как прокурор, и был предметом особенного внимания дам, лорнировавших его с замечательною настойчивостью и коварством. По свободному пространству, оставшемуся между красным столом и скамьей присяжных и решеткой, отделявшей публику, расхаживали защитники подсудимого и несколько каких-то безымянных адвокатов, сильно занятых собой и рисовавшихся перед публикой. Заверткин деланно бегал с портфелем под мышкой, вздергивая плечами и постоянно ероша свою козлиную бородку; он был наверху блаженства, и только несомненно коварное поведение Димитраки и Штукмахера, видимо, беспокоило этого почтенного человека, отравляя каплей яду полную чашу блаженства. Праведный медленно переваливал по зале на своих толстых ногах, как человек, которому решительно везде по колено море; эта массивная фигура, сделанная из всего дерева, наравне с неким, привлекала на себя общее внимание, и некоторые дамы уверяли о. Нектария положительнейшим образом, что в этом Праведном есть «что-то такое». Брюховинский сидел на своем месте и ковырял в зубах с самым сосредоточенным выражением, веро-

ятно, обдумывая какое-нибудь новое кушанье; Печенкин сидел недалеко от своего поверенного и лениво смотрел на публику своими узенькими глазками, как сытая хищная птица.

— Вот так адвоката достал Гвоздев! — удивлялся около меня какой-то старичок служащий — точно сейчас медведя подняли с берлоги…

Пробило десять часов: в зале делалось жарко, и публика начала обнаруживать ясные признаки нетерпения. Но вот к общему удовольствию судебный пристав, постоянно поправлявший цепь на своей груди и надоевший всем своей бестолковой беготней, громко провозгласил: «Суд идет, прошу всех встать!». Публика с шумом поднялась, и суд занял свои месте за красным столом. Председатель суда, худощавый старик, пытливо обвел глазами весь зал и отдал приказание ввести подсудимого. Появившийся в сопровождении пристава Гвоздев был очень бледен, но спокоен; он коротко оглянул публику и не без достоинства занял свое место на скамье подсудимых. Вся эта маленькая фигура точно была подавлена каким-то духом кротости, и только одни глубоко ввалившиеся глаза горели прежним напряженно-болезненным взглядом, как у загнанного волка. Печенкин тяжело завозился на своем месте и посмотрел кругом острым и самодовольным взглядом: о. Нектарий набожно вздохнул и целомудренно запахнул полы своей темно-синей ряски. Присяжные заседатели занимали две скамейки; впереди сидел высокий седой старик, один из заводских служащих, с строгим лицом и умными глазками; рядом с ним помещались несколько купчиков. На второй скамье разместились мастеровые и два крестьянина; мастеровые бойко оглядывали публику, шептались между собой и пальцами указывали на Праведного, который тихо дремал на своем местечке все время, пока происходили выбора присяжных заседателей и поверка свидетелей.

По исполнении этих необходимых при открытии судебного заседания обрядностей, секретарем суда был прочитан обвинительный акт, с содержанием которого большинство публики было знакомо давно; я слышал об этом деле еще от Грехова на Мамынихе, затем о нем же несколько раз приходилось слышать во время моего пребывания в Старом заводе, но, как часто бывает в таких случаях, многое было сказано о деле лишнего, и многое существенное было совсем пропущено. Содержание обвинительного акта приблизительно заключалось в следующем: в 186… году, еще в эпоху старого судопроизводства, купец второй гильдии Евдоким Печенкин выдал купцу первой гильдии Аристарху Гвоздеву несколько листов с своими бланковыми надписями, на которых

Гвоздев должен был, согласно условию, подать прошения в разные присутственные места. Гвоздев, получив бланковые листы, действительно написал на них несколько прошений и подал куда следует, на одном из этих бланковых листов явился вексель в тридцать тысяч, будто бы выданный Печенкиным Гвоздеву и представленный последним ко взысканию. Печенкин, признавая свою подпись на векселе, совсем не признавал его текста и доказывал, что этот текст написан Гвоздевым без его ведома на одном из тех бланковых листов, которые им были выданы Гвоздеву. По прочтении обвинительного акта на обычный вопрос председателя, не признает ли подсудимый себя виновным по настоящему делу, Гвоздев отвечал отрицанием, почему суд перешел к заключению экспертизы и осмотру вещественных доказательств. Экспертиза должна была решить вопрос: как был написан вексель — до подписи Печенкина, или уже на выданном бланковом листе. Эксперты отвечали очень уклончиво, признавая подлинность подписи Печенкина на векселе, чего не отрицал сам Печенкин, они не могли сказать утвердительно, был ли текст векселя написан одновременно с подписью или уже был подогнан на выданном Печенкиным бланковом листе. Правда, существовала некоторая разница в ширине строк, и некоторые слова якобы преднамеренно были растянуты, чтобы текст векселя подошел как раз к бланковой надписи; но это были только предположения экспертизы, которых они не брались подтвердить утвердительно, положительным образом. Несчастный вексель долго ходил из рук в руки судей, присяжных и поверенных, все его осмотрели, проглядывали на свет, а Заверткин даже понюхал. По осмотре векселя суд перешел к рассмотрению вещественных доказательств, состоявших всего из нескольких частных писем и пустых телеграмм, оказавшихся ничтожными по отношению к настоящему делу.

После этой длинной и утомительной процедуры суд приступил наконец к допросу самого места. Печенкин давал ответы коротко, но не совсем ясно, что вызвало со стороны защиты длинный ряд вопросов.

— Вы живете в Старом заводе, — говорил Праведный, обращаясь к Печенкину, — и между тем оказывается, что бланки вы выслали Гвоздеву из Казани. Зачем вы были в Казани?

— Я лежал в больнице, — сердито отвечал Печенкин.

— А в Казань как попали?

— Обыкновенным образом попал, на пароходе приехал...— Если мне не изменяет память, дело приблизительно происходило так: за пощечину, которую вы нанесли бывшему исправнику Хряпину, суд

приговорил вас к годичному заключению в остроге. Когда наступил срок высидки, вы скрылись от полиции, уехав в Петербург, и если я не ошибаюсь, полиция схватила вас на железной дороге между Петербургом и Москвой. Кажется, так?

— На Николаевской железной дороге, — невозмутимо отвечал Печенкин.

— Для меня и важно выяснить вопрос, — продолжал Праведный, подчеркивая слова, — выдавали ли вы бланки Гвоздеву в момент своей свободы, т.е. в свой передний путь до Москвы, или же вы выдали их уже в свой обратный путь, когда полиция препровождала вас на место жительства в качестве арестанта этапным порядком.

— Я выслал бланки Гвоздеву в то время, когда лежал в тюремной больнице… значит, выходит на обратном пути!

— То есть уже на обратном пути, находясь в качестве арестанта?

— Да, в больнице.

Это поджаривание на медленном огне на глазах тысячи слушателей заставило Печенкина вспотеть, и он дико водил кругом своими маленькими свиными глазками, но Праведный был слишком опытный человек, чтобы ограничиться этим допросом, и продолжал тянуть жилы дальше.

— Вы человек коммерческий, — начал Праведный, — и очень хорошо знаете, что бланковыми листами не шутят, а между тем вы даете Гвоздеву несколько таких бланковых листов. Мне остается непонятным, как вы, без сомнения очень опытный человек, могли поступить так легкомысленно, чтобы не сказать более…

Последняя фраза окончательно взорвала неистового старика, и он, сверкнув глазами, глухо проговорил:

— А вы, защитник, сиживали в остроге?

— Странный вопрос…

— А вот посидели бы на моем месте, так еще и не то сделали бы. Это ведь легко только на суде разговаривать…

— Вы уклоняетесь от сущности вопроса, — строго заметил Печенкину председатель.

Начавшийся допрос свидетелей продолжился затем часов шесть. Сначала допрашивали каких-то оголтелых мастеровых, бойко отвечавших на все вопросы: «Не могу знать», «Не запамятовал» или начинавших нести странную околесную. В числе этих свидетелей попал какой-то жид, уверявший, что его подкупил Гвоздев; за ним вышел бойкий и вертлявый мещанин, постоянно встряхивающий волосами, он сначала бойко рассказал, как его подкупил Печенкин, а затем запутался в собственных показаниях и начал

отпираться от всего. Этот жалкий сброд свидетелей только запутывал и тормозил дело, не выясняя ни малейшей подробности; Праведный наотрез отказался от допроса таких свидетелей и тяжело сопел носом в ожидании более крупной дичи. Один Заверткин не унывал и всячески донимал вызванных свидетелей, задавая им вопрос за вопросом и постоянно поправляя золотое пенсне на своем распухшем от пьянства носу. В числе других был вызван и мой сосед по номеру; прежде чем отвечать, он долго прокашливался и сморкался.

— По принятой вами присяге и по долгу совести вы, свидетель, должны показать все, что знаете по настоящему делу, — строго заговорил председатель, играя карандашом.

Купчик немного помялся, разгладив свою бороду и проговорив глухим голосом:

— Я ничего не знаю, г. председатель…

— Не припомните ли, может быть, каких-нибудь обстоятельств, относящихся к этому делу? — продолжал председатель.

— Никак нет-с, г. председатель… Ничего не припомню.

Председатель обратился к товарищу прокурора и защитникам сторон, предлагая им сделать допросы свидетелю.

— Вы бывали в доме Гвоздева? — спрашивал Брюховинский, когда прокурор отказался от допроса.

— Бывал-с… как мы, значит, торгуем мукой и бываем на Старом заводе, значит, у нас есть свои дела, и мы точно обедали у Аристарха Прохорыча. Да-с… это было.

— Не было ли у вас каких разговоров с Гвоздевым?

— Как не быть разговоров: все разговаривали… пред обедом немного выпили, за обедом еще выпили. Больше я ничего не знаю, г. председатель.

— Не помните ли вы, о чем тогда говорили? — продолжал допрашивать Брюховинский.

— О разном говорили… После обеда подали шампанское… Евдоким Игнатьич взяли свой бокал, подошли к Аристарху Прохорычу, хлопнули его по плечу и сказали: «Ну что, подлец?» Я больше ничего не знаю, г. председатель.

— Не помните ли вы, свидетель, что отвечал Гвоздев, когда Печенкин называл его подлецом? — продолжал Брюховинский.

— Аристарх Прохорыч стали на коленки и начали просить.

— О чем он просил?

— Не помню.

Сколько ни допрашивали купца, он ничего нового не сказал.

— Введите свидетеля Калина Грехова, — обратился председатель к приставу.

Через минуту показалась круглая фигура Калина Калиныча, неловко и смешно перевалившаяся на своих коротеньких ножках; его появление в зале суда вызвало в публике сдержанный шепот. Красное, совершенно круглое лицо старика было покрыто крупными каплями пота, волосы прядями прильнули к мокрому лбу, но бедный старик не смел утереться платком и только дергал одной рукой какую-то пуговицу. Неловко поправив намотанный на шее шарф и еще более неловко улыбнувшись, Калин Калиныч едва собрался с духом, чтобы отвечать на вопрос председателя.

— Я-с знаю-с Аристарх Прохорыча-с сызмальства, — упавшим голосом заговорил Калин Калиныч, переминаясь с ноги на ногу: — и в Москву с ними действительно ездил, когда они выправляли Евдокима Игнатича из заключения-с... Только я ихних делов промежду себя ничего не знаю.

— Зачем же это вы ездили в Москву с Гвоздевым? — спрашивал Брюховинский.

— Обыкновенно ездил-с... Сначала на пароходе, а потом-с на железной дороге-с...

— Я спрашиваю вас не о том, как вы ездили, а о том, по какому делу вы ездили с Гвоздевым. Может быть, вы помогли ему хлопотать об освобождении Печенкина?

— Нет-с, я просто ездил-с... Аристарх Прохорыч сказали тогда: «Поедем, Калин Калиныч», я и поехал-с.

— Поехали в качестве прислуги, что ли?

— Нет-с, я ездил сам по себе-с, с дочерью-с...

— А векселя вы видели у Гвоздева?

— Видел-с.

— Чьи же это были векселя?

— Разные были векселя-с...

— Может быть, видели вексель Печенкина?

— Нет-с, такого я не видел-с... Не упоминаю-с. А векселя были у Аристарх Прохорыча... И в чемодане были векселя, и на столике в углу-с тоже лежали разные бумаги-с...

— А между бумагами, которые лежали в чемодане и на столике, — заговорил Праведный, — между этими бумагами вы не видали обыкновенных белых листов с подписью Печенкина?

— Нет-с, таких не видал-с...

— А ваша дочь, свидетель, — обратился Заверткин к Калину Калинычу, вздергивая плечом, — не помните ли вы, в каких отношениях находилась она тогда к Гвоздеву?

В публике послышался шепот и сдержанный смех, Калин Калиныч немного смутился, не понимая, куда был заброшен камень.

— Никаких отношениев не было, — отвечал старик, немного оправившись, — Аристарх Прохорыч сами по себе, мы сами по себе-с…

— Не замечали ли вы какой перемены в характере вашей дочери? — продолжал Заверткин. — Например, не возвращалась ли она домой слишком поздно, не проводила ли иногда ночей вне дома?

В публике опять послышался смех и шепот, о. Нектарий строго подобрал губы и покачал головой; но председатель прекратил эту глупую травлю, и Калина Калиныча наконец отпустили. Старик, обливаясь потом, убрался на скамейку позади присяжных заседателей и долго утирал свое круглое лицо платком. После Калина Калиныча допрашивали какого-то вертлявого интендантского офицера, с усами, вытянутыми шильцем; офицер, бойко щелкнув каблуками и очень подробно рассказав историю своего случайного знакомства в Москве с Гвоздевым, который будто бы не токо показывал ему вексель Печенкина, но даже советовался с ним относительно этого векселя. Это показание настолько было сшито белыми нитками, что вызвало общий смех в публике, а Праведный отвернулся от своего свидетеля, который по глупости сильно пересолил, хотя и отвечал, видимо, по заученному вперед.

— Ладно настегал его Праведный-то! — говорил около меня старичок служащий, добродушно улыбаясь.

Оставалось допросить главную свидетельницу Евмению Грехову, показания которой должны были, как давно говорила молва, заключить в себе главные улики против Гвоздева; говорили, что даже самый подлог векселя производился в присутствии Греховой. Поэтому понятно, что публика с волнением поджидала появления этой учительницы, показания которой должны были разоблачить все проделки этого темного царства, хотя задолго до процесса весь Старый завод в один голос говорил о том, что если Грехова еще не подкуплена Гвоздевым, то все равно Праведный еще успеет ее подкупить. Несмотря на такую уверенность, каждый из публики думал: «А что, если вдруг Грехова возьмет да и отрежет всю истинную правду… Тогда пропал Гвоздев!».

Обвиняемый по-прежнему неподвижно сидел на своем месте, точно он застыл в своей позе угнетенной невинности. Калин Калиныч обратился весь в один вопрос и с открытым ртом и круто поднятыми бровями, не смея моргнуть, смотрел на ту раскрытую дверь, откуда должна была выйти Евмения. В зале наступила мертвая

тишина. Послышались громкие шаги пристава, а за ним показалась Грехова, одетая вся в черное. Она шла откинув свою голову немного назад; войдя в залу, она быстрым взглядом окинула публику, но не смутилась, а только опустила вниз глазки.

За минуту ее иззелена-бледное лицо начало быстро покрываться пятнами. Слегка поклонившись судьям, Грехова остановилась на своем месте и смело посмотрела на скамью защитников; на минуту поколебавшееся присутствие духа снова возвратилось к этой белокурой девушке, на которой сосредоточились теперь все взгляды. Гвоздев смотрел куда-то в сторону. Калин Калиныч моргал глазами и побледнел, как полотно. Председатель предложил свидетельнице свой обычный вопрос:

— Мне очень часто приходилось бывать в доме Гвоздева, — начала Грехова, немного дрожавшим голосом. — Жена Гвоздева приходится нам дальней родственницей, и затем я занималась с детьми Гвоздева... Мне несколько раз приходилось слышать о делах Печенкина, который в это время сидел в остроге, а когда Гвоздев отправился в Петербург хлопотать по этому делу, я вместе с отцом ехала с ним до Москвы, где мы и остались с отцом, а Гвоздев уехал в Петербург. Дорогой и в Москве мне несколько раз приходилось слышать разговоры о деле Печенкина, но о векселе, который будто бы выдал Печенкин Гвоздеву, я ничего не слыхала и узнала об этом только тогда, когда Гвоздев предъявил этот вексель ко взысканию.

Как публика не была подготовлена к тому, что Грехова будет неподкуплена, но это показание для всех было ударом грома, в особенности для Печенкина, который пыхтел, как паровик и, выкатив свои свиные глазки, глупо и злобно смотрел на Грехову, стоявшую совершенно спокойно и, видимо, приготовившуюся смело встретить перекрестный допрос защитников.

Калин Калиныч благочестиво перекрестился и долго шевелил своими губами, вероятно, читая про себя какую-нибудь молитву. Греховой пришлось выдержать сильную атаку со стороны товарища прокурора г. Брюховинского, но она осталась при своем первом показании, не выдавая себя ни одним словом. Когда этот допрос наконец окончился, Заверткин, играя пенсне, обратился, в свою очередь, к свидетельнице:

— Не находились ли вы, свидетельница, к Гвоздеву в более интимных отношениях, чем дальняя родственница или домашняя учительница?

— Я думаю, что это к делу не относится, — вспыхнув, резко отвечала Грехова.

— Свидетельница совсем не обязана отвечать на такие вопросы, — заговорил председатель, — а вы, г. защитник, уклоняетесь от сущности дела.

— Я хотел спросить вас, свидетельница, — продолжал Заверткин, — не было ли у вас интимных отношений к Гвоздеву до поездки в Москву?

— Г. защитник, закон не дает вам права делать подобные вопросы, — строго заговорил председатель. — Закон говорит прямо, что защитник подсудимого не должен употреблять выражения, оскорбительные для чьей-бы то ни было личности.

— Позвольте мне слово, г. председатель? — заговорил Праведный, грузно поднимаясь с своего места и опираясь толстыми кулаками на свою конторку. Получив позволение, он несколько мгновений молча смотрел на Грехову, а потом заговорил, отчеканивая каждое слово:

— Из показаний вашего отца, свидетельница, видно, что вы сопровождали Гвоздева в его поездке в Москву. Вы не отрицаете этого таинственного путешествия, и поэтому не можете ли вы ответить, зачем именно вы ездили в Москву с Гвоздевым?

— Я не желаю отвечать на такой вопрос, потому что он касается только меня одной и к делу не относится...

— Я не касаюсь ваших отношений к Гвоздеву, свидетельница, только хочу знать истинные причины, заставившие вас сопровождать Гвоздева до Москвы. Ведь это немного странно, если бы мне Гвоздев сказал: «Поедемте до Москвы», и я поехал с ним, как говорится, здорово живешь.

— Мне хотелось видеть Москву, я и уговорила отца ехать вместе с Гвоздевым, потому что это было дешевле и ... веселее, чем ехать одним.

— Но вы были хорошо знакомы с Гвоздевым и часто бывали в его доме, — сильно подчеркивая слова, говорил Праведный, — поэтому немного странно, что вы ничего не слыхали о таком векселе, какой был выдан на его имя Печенкиным, тем более, что и ранее вы были хорошо знакомы с этим делом, и у вас заходил о нем, вероятно, разговор не раз и не два.

— Я больше ничего не знаю, кроме того, что сказала, — тихо проговорила Грехова, опуская глаза.

После допроса Греховой, продолжавшегося около часа, суд назначил получасовой перерыв, после которого должно было начаться судоговорение т.е. обвинительная речь товарища прокурора, речи защиты и поверенного истца. Вся публика с громким говором кинулась в коридор, а оттуда в небольшую боковую ком-

натку, где был устроен временный буфет. Дамы окружили самовар и довольно храбро атаковали блюда с пирожками. О. Нектарий опять оказался в толпе дам, которые усердно угощали его пирожками, так что пастырю приходилось работать и челюстями, и языком. В коридоре и в буфете стоял громкий говор, все спешили поделиться впечатлениями от суда, причем общим мнением была та мысль, что присяжные непременно должны оправдать Гвоздева, так как свидетельские показания были за него.

— Ну, а вы как думаете, о. Нектарий? — приставали дамы к о. Нектарию, — осудят Гвоздева или нет?

— Будущее в руце Божией, — скромно отвечал о. Нектарий, облизывая после пирожных свои пальцы, — все, Mesdames , будет зависеть от речей защитников... Да, Mesdames...

— Нет, по вашему мнению, кто виноват? — допрашивали неотступные дамы.

— По моему мнению, Mesdames, они оба не правы, — уклончиво, как оракул, заговорил о. Нектарий, — Да, да... я не говорю: оба виноваты, я говорю: оба не правы... Да, Mesdames. Если виноват Гвоздев, то не прав и Печенкин, потому что дал повод к совершению подлога; если виноват Печенкин, то не прав и Гвоздев, потому что назначил слишком большую сумму за свои хлопоты, и, наконец, не правы оба, потому что столько лет вели дела вместе и теперь не могли покончить миром такого дела и не доводить его до суда к общему соблазну... Да, да, Mesdames, я не говорю, что который-нибудь из них виноват, но утверждаю, что они оба не правы.

— А по-моему, — вмешался в этот разговор Пальцев, — Гвоздев невиновен, но заслуживает снисхождения.

Эти немного устаревшие остроты вызвали несколько улыбок на лицах дам, слушавших хитроумное объяснение о. Нектария с общим унынием, потому что едва ли хоть одна дамская головка могла проникнуть всю его глубину. Через минуту Пальцев был уже около Василисы Мироновны, которая скромно стояла в углу.

— Так, по-твоему, ангел мой, — говорил Пальцев, молодцевато расправляя свои щетинистые усы, — и Гвоздев, и Печенкин — две дымящиеся головни?.. Хорошо сказано, ангел мой! Хорошо, черт возьми... Скажешь, как рублем подаришь...

В восторге Пальцев довольно фамильярно потрепал раскольницу по плечу.

Я остановился около Василисы Мироновны, и она заговорила тихо и печально:

— Калина-то как страмили... Стыд головушке! А этот пес, прости господи, Заверткин-то, совсем опакостил девку.

— Какую девку?

— Ну, да эту, стриженую-то, Калинову-то дочь. Я в углу-то сидючи со стыду сгорела, думаю, хотя бы провалиться от этакого страму. А этот ихний Праведный выправил ведь Гвоздева-то, совсем выправил.

— Как выправил, Василиса Мироновна?

— А то как же? Чего еще? Все, как по писаному, так и режут. Это его рук дело... Ну, да это Печенкину вперед наука, чтобы меньше дурил.

— По-моему, оба виноваты, потому из них правды и топором не вырубишь... Все размазано, и взять не с кого. А Калина-то страмили, страмили... Стыдовище!...

— А почему ввы думаете, чччто Гво-оздев виноват? — спрашивал «министр» земского доктора, поднося ко рту рюмку водки.

— Потому и виноват, что сделал подлог, — коротко отвечал врач, глубокомысленно прожевывая кусок ветчины.

— По-по-моему мне-ению, сви-идетели поддкуплены...

— Черт их разберет, батенька мой, — примирительно говорил врач, хлопая рукой министра по животу.

Из всей публики, бывшей в буфете, может быть, один Димитраки совершенно равнодушно относился как к главным героям процесса, так и к свидетелям, пользуясь отсутствием Заверткина, этот молодой человечек, кажется, не терял напрасно времени и по-видимому, был уже на пути к своей цели, потому что преследуемой им красавице, кажется, надоело изображать из себя неприступную крепость, и она несколько раз улыбнулась ему своей ленивой улыбкою, не поднимая глаз.

Звонок пристава заставил всех оставить буфет. В дверях залы произошла небольшая давка, причем Пальцеву пришлось освобождать безбожно толстую даму, попавшую как в тиски между широкими спинами двух прасолов; Пальцев довольно энергично уперся коленком в живот стиснутой дамы, и последняя, при помощи такого ловкого маневра, получила наконец свободу. «Мамочка» сидел по-прежнему неподвижно у входа в зал и лениво смотрел копошившуюся вокруг него публику. Хлопнув его по плечу, Пальцев проговорил:

— Ну, ангел мой, свиде-етели!.. Откуда вы таких набрали?... Посеребрить бы их, канальи, не так бы заговорили. Так, ангел мой!

«Ангел мой» только улыбнулся и посмотрел на Пальцева таким взглядом, который говорил, что, конечно, хорошо и посеребрить, только вот это гласное судопроизводство, щелкоперы разные,

«не те времена», посеребрить, совсем не тот ветер, теперь без серебрения… (неразб.) и баста.

В ожидании суда адвокаты Гвоздева о чем-то горячо совещались, Заверткин по обыкновению вздергивал плачами и сильно махал руками, причем роковое белое пространство между жилетом и брюками начинало мелькать все чаще и чаще, заставляя дам отворачиваться и смотреть в другую сторону; Печенкин шептался с Брюховинским, тыкая опухшим толстым пальцем в какую-то измятую бумагу. Пржетачинский стоял за своим пюпитром, углубившись в какие-то соображения, которые он для памяти помечал на бумаге карандашом. Калин Калиныч сидел позади присяжных заседателей в числе других свидетелей, он сложил свои коротенькие ручки на круглом животе и смотрел кругом спокойным взглядом, по временам слегка кивая своей круглой головой кому-нибудь из знакомых в публике.

— Суд идет! — громко провозгласил судебный пристав, становясь в позу оскорбленного мужа, как это делают плохие актеры на провинциальных сценах.

Встали, потом сели. Слышно, как муха полетит. Общее внимание сосредоточилось теперь на Пржетачинском, который должен был наконец сказать свою знаменитую речь; он маленькими глотками отпил воду из стакана, потом поправил волосы на голове, медленно оглянул всю публику, и, немного подавшись вперед и опершись обеими локтями на свой пюпитр, медленно и с расстановкой начал свою речь. Гвоздев сидел за своей решеткой неподвижный, как статуя, он не сводил глаз с прокурора и внимательно вслушивался в каждый звук обвинительной речи.

Калин Калиныч сильно заморгал глазами при первых словах прокурорской речи и попробовал было сморкнуться в бумажный платок, но сам испугался собственной смелости и торопливо спрятал платок в карман.

Речь Пржетачинского можно было бы назвать во всяком случае образцовой обвинительной речью, если бы она не страдала обилием общих мест и слишком изысканным языком, где каждая фраза, каждое сравнение, каждый оборот речи были обдуманы, приглажены, подчищены и чуть не прилизаны языком. Эта, без сомнения, очень умная речь была не по плечу ни публике, ни присяжным заседателям, которые одинаково были не посвящены в тайны юридических тонкостей и красивых изгибов родной речи, потому одинаково недоумевали и глупо хлопали глазами. Начав с определения права вообще и уголовного в частности, оратор перешел к определению субъекта и объекта юридических правонарушений

и отсюда вывел определение преступления, как такого нарушения известных юридических норм, всякое посягновение на которые отзывается в жизни общественного организма самым болезненным образом, почему общество в лице своих представителей особенно строго должно относиться ко всем тем случаям, где существует такое правонарушение, карать их силой своей власти и этим обеспечивать спокойствие и благосостояние не только себя самих, но и будущность грядущих поколений, заставляя их с молоком матери всасывать твердое убеждение в непоколебимости тех законов, которыми живет и дышит каждое общество, и в неизбежности строгой кары, которая должна настигнуть каждого нарушителя этих основных устоев жизни общества и государства. Перейдя к обстоятельствам настоящего дела, Пржетачинский прежде всего очертил характер действующих в нем лиц. Печенкин, по мнению прокурора, был типом Кит Китыча, для которого прежде всего и выше всего стояло «ндраву моему не препятствуй», который был богат и в ослеплении собственной силы, как это часто случается, считал себя не тем, чем он есть на самом деле, т.е. он был очень непрактическим человеком в жизни и еще более неопытным человеком в коммерческих делах. Гвоздев, как человек очень умный, очень ловкий, и главное — замечательно выдержанный человек, сумел не только с изумительной легкостью воспользоваться недостатком Печенкина, но и провел все это дело до конца поистине с гениальной предусмотрительностью, устранив со сцены заранее даже мельчайшие подробности, которые смогли бы дать нить в руки суда; не говоря уже о более крупных деталях этого дела, которые обработаны Гвоздевым с замечательным хладнокровием, знанием людей и особенно знанием человеческих слабостей.

— Господа присяжные заседатели, — воскликнул Пржетачинский, делая рукой немного театральный жест, — обратите ваше внимание на показания свидетелей... Всякий, слышащий эти показания, должен сознаться, что они ничего не дали суду, кроме глубокого сожаления к тем личностям, которые фигурировали пред нами в качестве свидетелей. По крайней мере я, г.г. присяжные заседатели, вынес из этих показаний только глубокое угнетение своего нравственного я, почему в своей обвинительной речи буду совсем игнорировать их.

Пржетачинский подробно от начала до конца разобрал все обстоятельства настоящего дела, выясняя, как Гвоздев везде являлся главным действующим лицом, умел вовремя остаться в тени, за кулисами, и вовремя выйти на сцену; особенное внимание оратор обратил на тот несомненный факт, что самую трудную, самую

опасную или рискованную часть дела Гвоздев великодушно представлял другим, загребая жар чужими руками, так что и оплеуха, которую дал Печенкин исправнику Хряпину, и его неудачная попытка скрыться от полиции, и выдача бланковых листов Гвоздеву, и смена всей позиции, и показания некоторых свидетелей — все это целая система, недосягаемая для непосвященных в своей сущности, запутанная, как след лисицы, которая уходит от охотников, но одно верно — что это не отдельные отрывочные факты, но целая строго последовательная система, проведенная с замечательной смелостью, настойчивостью, искусством и находчивостью и проходящая красной ниткой через отдельные звенья этой роковой цепи. Эта система выстроена на очень прочном фундаменте, потому что в состав его вошли и уменье пользоваться человеческими слабостями, и глубокое понимание окружающих людей, и , главное, замечательная выдержка характера, рисующая Гвоздева то необыкновенно смелым человеком, то расчетливым до мелочностей, то обладающим замечательной способностью по целым годам выжидать и подготавливаться, чтобы одним ударом достичь истинной цели. Пржетачинский долго и горячо говорил на эту тему, проводя деятельность Гвоздева через весь процесс, причем особенно обращал внимание на то обстоятельство, что тридцатитысячный вексель был только одним из проявлений этой деятельности.

— Вот все, что я хотел вам сказать, г.г. присяжные заседатели, — говорил Пржетачинский, отирая лицо платком, — но в заключение, позволю себе еще несколько слов. Для меня лично нет ни малейшего сомнения в виновности Гвоздева, подлог очевиден, очевиден не по наличности законных документов, а очевиден для той совести, которая должна решать это дело, как одно из тех неуловимых фактов, без сомнения существующих и без сомнения подтачивающих жизнь общества, но против которых буква закона бессильна... Никакой закон не может предусмотреть и оформить известной статьей безграничные проявления общественной жизни, не закон, а общественная совесть должна карать строго и нелицеприятно все то, что без сомнения существует, но что доказать в данный момент, доказать формальными доказательствами нет никакой возможности. Обратите внимание, г.г. присяжные заседатели, на тот факт, что среди нас раскинулся лагерем совершенно особенный класс людей, который во имя наживы идет на все и с дьявольской легкостью хоронит всякие концы, сила закона небезгранична, он здесь сознает себя бессильным и предоставляет самому обществу уничтожить в корне это государство в государстве, этот дым без огня, эту скрытую болезнь, которая рано или поздно

неизбежно подточит самые здоровые силы и приведет общественный организм к печальному концу. Я, г.г. присяжные заседатели, кончил и еще раз повторяю, что признаю Гвоздева решительно виновным в подлоге векселя.

Пржетачинский опустился на свое место, и в зале несколько мгновений стояла мертвая тишина; эта речь произвела на всех сильное впечатление, хотя большая ее половина осталась для публики и для присяжных заседателей совершенно непонятной. Гвоздев по-прежнему сидел неподвижно, ни один мускул не шевельнулся на его лице в продолжение всей этой речи, зато бедный Калин Калиныч чувствовал себя совсем скверно, и на его круглом добродушном лице точно была написана тревожившая его мысль: «Как же это так — и сам Аристарх Прохорыч не сознались, и свидетели ничего не показали, а прокурор обвинил...»Старик с глубоким сожалением смотрел на Гвоздева, очевидно, считая его погибшим.

После обыкновенной речи товарища прокурора по порядку следовала речь поверенного Печенкина, Брюховинского, которому оставалось очень немного сказать в пользу своего доверителя, но и это немного вышло у Брюховинского и вяло, и бесцветно.

И притом настолько сбивчиво, что под конец оратор сам запутался в своих собственных мыслях, без всякой последовательности, перебегая от одного предмета к другому, бестолково хватаясь за одно доказательство и сейчас же переходя к другим. Все это проделывалось с поспешностью человека, у которого горит дом и который, потеряв голову, хватает совсем ненужные вещи, чтобы через минуту бросить их. Публика тихо слушала оратора, а присяжные начинали совсем дремать. Брюховинский принадлежал к разряду тех людей, которые целую жизнь пользуются громкой репутацией очень умных людей только потому, что у этих счастливцев умная физиономия... Конечно, всякому приятно иметь умную физиономию, но и обладание таким выдающимся преимуществом не спасло Брюховинского, и он торжественно провалился даже в мнении женского общества, как известно, очень чувствительного к некоторым особенностям в наружности непрекрасного пола.

— Мне его жаль, этого pauvre diable* Брюховинского, — шептала о. Нектарию какая-то коварная блондинка.

Теперь следовала речь Праведного, и вся публика с удвоенным вниманием ожидала, что скажет этот enfant terrible**. Как очень опытный и бывалый человек, Праведный заставил себя некоторое

---

* бедного черта (фр.)

** ужасный ребенок (фр.)

время ждать, перебирая какие-то бумаги; промедлив таким образом несколько минут, он наконец поднялся, облокотился на стол могучими кулаками и, сделав еще небольшую паузу, начал наконец свою защитительную речь звучным баритоном, каким говорят только такие здоровяки, каким был Праведный, в теперешней своей позе действительно смахивавший на только что поднятого медведя.

— Господа судьи и господа присяжные заседатели, — начал Праведный, наклоняясь вперед всем корпусом, точно он готовился броситься в воду, — вы люди русские, я тоже русский человек, самый простой русский человек, поэтому я буду говорить с вами самым простым русским языком, чтобы не затемнять дела красивыми фразами, юридическими хитростями-мудростями и лирическими отступлениями... не будем из мухи делать слона и объявлять отечество в опасности только потому, что у нас порядку на хватает. Да, господа присяжные заседатели, дело очень просто само по себе, и смотреть-то на него тоже надо просто, а если мы примемся отыскивать в простых русских щах фортепианные струны, то никогда ничего не кончим.

Этот самоуверенный тон, этот звучный густой голос на всех произвели освежающее действие, и ропот невольного одобрения волной прокатился по публике, вызвав несколько улыбок; Калин Калиныч при одном виде могучей фигуры Праведного повеселел и смотрел на него с открытым ртом и тем удивленно-внимательным выражением в лице, с каким умеют смотреть только одни дети, когда им показывают фокусы.

— Вы только сейчас выслушали обвинение моего доверителя, — продолжал Праведный, встряхивая своей громадной головой: — и могли убедиться своими глазами, что это просто-напросто называется в трех соснах заблудиться... С одной стороны, мы видели в этих речах Гвоздева человеком необыкновенным во всех отношениях, которого едва держит сама мать сыра земля, который обманет самого себя и который со всей своей гениальностью все таки попал как кур во щи прямо на скамью подсудимых; далее, мы видим купца первой гильдии Печенкина, который, с одной стороны, показывается Кит Китычем, а с другой — грудным младенцем, каким-то невинным барашком, который от роду и векселей-то не видал... В результате, конечно, получилось то, что как в сказках, волк съел и козу, и старуху. Да разве же это походит сколько-нибудь на правду? Разве вы видали где-нибудь таких людей? Нет, господа присяжные, в этих словах нет и не может быть правды... Я не буду читать вам лекций по уголовному праву

и объяснять, что такое преступление и что всякое преступление нужно строго наказывать. Это знает десятилетний ребенок, как знает всякий взрослый человек, что подделывать чужие векселя не годится и что за это по головке не погладят. Надеюсь, что всякий из вас знает так же хорошо и то, что вексельной бумажкой не шутят, а что бывает иногда и так: тонул — топор сулил, вытащил — топорища жаль; надавал сгоряча векселей, а пришлось платить по ним — и отечество в опасности, и жалкие слова человек заговорил, и то, и другое, и пятое, и десятое. Дело не в этом, господа присяжные заседатели, зачем нам играть в прятки и морочить друг друга: дело ясно как на ладони. Что такое Гвоздев? Человек, который вышел из вашей среды, знакомый каждому из вас с детства, пробивший себе дорогу собственным лбом и энергией, сколотивший очень круглый капитал и как человек умный, богатый, энергичный, сразу занявший видное место в обществе. Это ведь не то, что случайно нашел в земле десять пудов золота — и пошла писать губерния: не понравился исправник Хряпин — в ухо исправнику, присудили на высидку в остроге — бежать; поймали и посадили — к старому приятелю: «Только выручи, ничего не пожалею»; выручили из острога — векселя не выдавать и баста! Вот это и называется, господа присяжные заседатели, «ндраву моему не препятствую», когда правая рука не знает, что делает левая. Я и не думаю выставлять Гвоздева младенцем, который сначала навыдает бланков, а потом будет отпираться от векселей, — кто этому поверит? Нет, мой доверитель принадлежит к таким людям, про которых говорят, что им не клади пальца в рот... И понятное дело: люди, которые честным упорным трудом наживали каждую копейку, у которых каждый грош прибит двухвершковым гвоздем, понятное дело, не будут шутить своими бланковыми надписями, и как люди дела, люди практической жизни, не будут за здорово живешь работать для первого встречного-поперечного. Это не то, что Печенкин: нажил себе с грехом пополам капитал, а там и знать никого не хочу, и черт мне не брат. Русская пословица говорит, что с богатым мужиком, что с чертом — не сладишь.

Вот Печенкин и есть такой богатый мужик, вся сила которого не в уме, не в знании людей, не в энергии, а единственно в его мошне, и только в одной мошне.

Одно вступление Праведного привело всю публику в какой-то восторг; эта живая, необыкновенно энергичная речь, посыпанная крупной солью, захватывающе подействовала на всех, как молодое вино. Может быть, многие были не согласны с выводами и заключениями этой речи, может быть, многие из публики были глубоко

убеждены в виновности Гвоздева и от души желали ему погибели, но можно сказать положительно, что вся публика с жадным вниманием прислушивалась к речи Праведного, точно пьянея под его неотразимым обаянием. Даже непроницаемый ничем Печенкин и тот тяжело завозился на своем месте, запыхтел, как десятиведерный тульский самовар и, с трудом повернув шею в сторону Праведного, с удивлением посмотрел на этого адвоката, кирпич за кирпичом разрушавшего тот фундамент, который был создан для Печенкина трудами Пржетачинского и Брюховинского.

— Я вполне понимаю угнетенное состояние нравственного «Я» г. товарища прокурора, — продолжал Праведный, выкатывая свои серые глаза. — В самом деле: назначили экспертизу, эксперты читали вексель, смотрели со всех сторон, считали число строчек, все буквы высчитали, всякую точку десять раз проверяли и за всем тем в результате оказалось, что с одной стороны, вексель как будто настоящий, а с другой, как будто подложный, другими словами: ничего не понимаю. Далее, рассматривали вещественные доказательства, все слушали — полсотни свидетелей — опять ничего нет... Какой же вывод отсюда? Вывод самый простой: доказательств, что вексель подложный, никаких, значит, Гвоздев вдвойне виноват, ловко концы схоронил... Да, ведь это шемякин суд, а не суд скорый, правый и милостивый. Но и это еще ничего. Пред вами ряд свидетелей, которых все допрашивают, сбивают, путают, и получается каша, которую никому не расхлебать; но вот появляется свидетельница Грехова, показания которой должны раскрыть все. Вы не забудьте, господа присяжные, что это главная свидетельница со стороны Печенкина, и, как вы видели, она без сомнения находилась в самых близких отношениях к Гвоздеву, который ее наконец и бросил... Господа присяжные заседатели, всякая женщина, даже совсем потерянная, в состоянии перенести от любимого человека все, всякое оскорбление, даже побои, но чего не перенесет и не простит ни одна женщина — это охлаждения к ней! А Гвоздев бросил Грехову...

— Г. защитник, вы не имеете права марать честь и доброе имя свидетельницы, — строго заметил председатель.

— Я хотел, господа присяжные заседатели, выяснить ту мысль, — после легкой паузы заговорил Праведный более спокойным тоном, — я хотел выяснить только то, что свидетельница Грехова имела менее всего причин говорить в пользу Гвоздева, а между тем — мы должны по справедливости отдать честь твердости характера этой свидетельницы! — между тем она показала только то, что ничего не знает, т.е. то, что она действительно могла знать и больше, чего она не могла знать.

Неожиданно раздавшиеся рыдания заставили публику оглянуться в сторону Калина Калиныча, который закрыл глаза руками и, качая головой, плакал как ребенок, у которого разбили самую дорогую игрушку. Эта неожиданная сцена сильно взволновала всех, кое у кого из дам навернулись слезы на глазах, но председатель предложил Калину Калинычу оставить залу заседания, и бедный старик, опустив низко на грудь свою круглую голову и сильно пошатываясь, направился к выходу. В дверях его встретила Василиса Мироновна, и старик последовал за ней с тупой покорностью человека, совсем заблудившегося в лесу, который потерял последнюю надежду выбраться из этой трущобы.

Этот неожиданный эпизод много принес вреда Праведному, почти совсем уничтожив впечатление от его речи, и ему стоило большого труда настроить публику на прежний лад. Он очень подробно и очень остроумно, шаг за шагом развил все положения прокурора и выставил свои собственные, которые и провел через весь процесс. За отсутствием ясных улик Праведному нетрудно было доказать эти положения, содержание которых главным образом было построено на том, что Гвоздеву, в 1-х, не стоило даром хлопотать за Печенкина, во 2-х, он настолько умный человек, что не стал бы марать рук тридцатью тысячами, а уж если делать подлог, то написал бы больше, потому что семь бед — один ответ, и наконец, в 3-х, что за необходимость была делать подлог именно в тот момент, когда его дела шли отлично и он совсем не нуждался в деньгах, ведь это значило все-таки надевать петлю на шею, потому что Печенкин был не такой человек, который заплатил бы без всякого ропота по подложному векселю.

Речь Праведного произвела на всех сильное впечатление, после него по счету приходилось говорить Заверткину, и ему, собственного говоря, ничего не оставалось говорить, но он все-таки встал, вздернул плечами и понес…. Было тяжело смотреть на этого почтенного мирового судью, который из кожи лез, чтобы попасть в тон Праведному и сказать непременно что-нибудь остроумное; Пржетачинский, мирно дремавший за своим пюпитром даже во время речи Праведного, теперь совсем спрятался за пюпитр, из-за которого выставлялся только небольшой клок волос, торчавший на голове г. товарища прокурора в форме петушиного гребня. Заверткин имел смелость испытывать терпение по крайней мере в течение полутора часов, но как всему на свете бывает конец, даже самой длинной речи, то наконец-то и Заверткин кончил свое словоизвержение, Праведный в продолжение этой нескладной речи только крутил своей большой головой, как собака, которой пуска-

ют в нос струю табачного дыма. Впрочем, долготерпение почтенной публики было отчасти вознаграждено маленьким эпизодом, случившимся очень кстати, потому что он заставил дремавшую публику встряхнуться и, говоря образно, подогрел ее внимание.

Дело в том, что после речи Заверткина должна была следовать заключительная речь г. товарища прокурора, но Пржетачинский и не думал подниматься из-за своего пюпитра, из-за которого поднимался только петуший хохолок на его голове.

— Г. товарищ прокурора, не угодно ли вам будет дать свое заключение по настоящему делу? — громко крикнул озлившийся председатель.

— А... что...? — с этими бессвязными восклицаниями показалась наконец из-за пюпитра всклокоченная голова г. товарища прокурора — он несколько мгновений смотрел кругом недоумевающим туманным взором, а потом поговорил охрипшим голосом: — Я прошу назначить пять минут перерыв...

Требуемый перерыв был назначен, и публика громко хохотала над злоключением Пржетачинского. Особенно громко смеялись дамы, которые, как известно, не знают пощады относительно некоторых вещей.

— Да ведь это ужасно: товарищ прокурора и вдруг уснул! — приходили в священный ужас соседки о. Нектария.

— Тут уж, ангел мой, слона можно усыпить, — лукаво подмигивая, говорил Гвоздев, — мы вчера по бутылочке коньяку опростали с Пржетачинским, а сегодня должны слушать Федора Иваныча... Он отлично пьет, а говорить, ангел мой, совсем не умеет.

— Теперь все дело, Mesdames, в присяжных заседателях, — объяснял о. Нектарий дамам, — если присяжные скажут «да, виновен», Аристарх Прохорыч пропал, а если присяжные скажут: «нет, не виновен», Гвоздев спасен.

— Так, значит, все зависит от присяжных заседателей?! — наивно удивлялась соседка о. Нектария, одна из тех удивительных дам, которые на знают, как вода кипит... — А я думала...

Что думала эта дама, так и осталось непроизнесенным, потому что звонок пристава убедительно приглашал публику занять свои места. Заключительная речь г. товарища прокурора служила только повторением его обвинительной речи, и публика слушала ее вполуха, с нетерпением ожидая последнего слова подсудимого. Впрочем, Пржетачинский и сам не желал утруждать внимание публики излишним многословием, сделав несколько возражений на речь Праведного, оратор с миром опустился опять за свой пюпитр.

— Подсудимый, вам предоставляет закон последнее слово, — проговорил председатель самым суровым голосом.

Гвоздев медленно поднялся со своего места, медленным взглядом окинул публику, присяжных, судей и, схватившись одной рукой за деревянную решетку, начал глухим дрогнувшим голосом:

— Господа судьи и присяжные заседатели... после речей моих обвинителей и моих защитников мне остается сказать очень немного: вся моя вина заключается только в том, что в тяжелую минуту я помог своему ближнему и теперь за это сижу на скамье подсудимых. Мне на своих плечах пришлось перенести весь позор настоящего процесса, я пережил на этой скамье в эти немногие часы слишком много, чтобы говорить о своих страданиях, но худшее еще ждет меня впереди, и я виноват уже потому, что против меня нет законных доказательства, нет прямых улик... И если вы, в своем сердце, в глубине собственной совести, не найдете мне оправдания... Господа присяжные заседатели, я столько пережил в эти немногие часы, что уже не в состоянии просить лично за себя, тем более, что за мной нет никакой вины, но, господа присяжные заседатели, не лишайте моим осуждением сотни несчастных людей их отца!... Да, я был для них всегда отцом, но об этом едва ли кто знает, и если я теперь говорю об этом сам, то это только потому, что моя жизнь, моя совесть были слишком тесно связаны с жизнью этих людей... Господа заседатели, не отнимайте у этих несчастных отца. Ведь жизнь долга, я еще в силах, дайте же мне возможность после позора, после всего, что я пережил в этих стенах, дайте мне возможность найти мой душевный покой между людьми еще более обездоленными и обиженными судьбой!!!

Гвоздев плакал, закрыв лицо руками. В публике послышались тяжелые вздохи и сморканье, несколько дам побледнели, другие поднесли к глазам надушенные платки; о. Нектарий, приклонил голову к деревянной решетке, рукавом утирая слезу, скатившуюся по щеке. Было что-то невыносимо тяжелое и жалкое в этой немой сцене, когда в этой полутемной зале, на глазах у сотни людей, горько плакал этот маленький человечек, на всех лицах, бледных от утомления, выразилось явное желание скорей оправдать этого несчастного маленького человечка, который так страдал.

— Я не стыжусь своих слез, — немного успокоившись, продолжал Гвоздев, — потому что они не сознание собственно вины, а следствие напрасного позора и тяжелого сознания того, что еще много не исполнено мной, что я должен был исполнить для других, по человеческой слабости и откладывая день за днем... Вот я прошу у вас себе оправдания, не зная за собой никакой вины

и сидя на скамье грабителей и убийц, прошу не для себя, потому что достаточно убедился в суете сует, а прошу освобождения для своей души, чтобы жить для других: бедных, несчастных детей!.. Мне ли роптать на мой позор, когда наш Господь, распятый на кресте между двумя разбойниками, молился за врагов своих.... еще раз повторяю: не за себя прошу... не отнимайте отца у несчастных!.. Я сказал все, господа присяжные заседатели, что лежит на моей душе и теперь со спокойной совестью буду ждать вашего приговора.

В зале царило мертвое молчание, все лица вытянулись, о. Нектарий благочестиво прошептал:

— Умякнуша слова его паче елеа, но та суть стрелы.

— После короткого совещания присяжные вынесли оправдательный приговор, и Гвоздев поклонился за своей решеткой всем судьям в ноги.

Варианты к роману «Горное гнездо»

Каноническим текстом романа «Горное гнездо» признано издание М.В.Аверьянова, Петербург, 1912. Сличение его с первой журнальной публикацией «Горного гнезда» в «Отечественных записках» 1884 гг., №№ 1—4 и с рукописью романа, хранящейся в ГАСО, обнаруживает небольшое число расхождений.

И в рукописи, и в журнальной редакции к названию «Горное гнездо» (с подзаголовком «Из уральской летописи») сделано авторское примечание: «Под именем «Горного гнезда» на Урале громкой известностью пользовался во времена оны институт казенных горных инженеров; но я придаю этому термину более широкое значение, именно, подвожу под него могучую кучку, которая верховодила и верховодит всеми делами на Урале». В журнале слово «могучая» заменено другим — «всесильная».

Первая страница рукописи свидетельствует об авторских колебаниях в выборе названия романа: «Сам барин», «Очерки „Горного гнезда“», «Светлое житье», «Страничка из Уральской летописи», «Очерки из жизни горного гнезда».

Отметим расхождения рукописи с окончательным текстом: этот текст приводится первым со ссылкой на страницы данного издания.

С. 12 вместо: «Его оплывшее лицо, блестевшее жирным загаром, теперь сморщилось в унылую улыбку» — «... в унылую гримасу»;

с. 22 вместо: «К вам ходила...» — «К вам ходила, ma petite». В журнальном варианте и окончательном тексте это «ma petite» везде убрано;

с. 24 после слов: «Раиса Павловна любила щеголять в пестрых костюмах, особенно летом» — «когда устраивала себе различные фантазии»;

с. 70 после слов: «Ведь это недалеко: всего в двух шагах...» —

«— Современная медицина доказывает, — вступился Сарматов, поправляя остатки волос на голове, — что движение необходимо, особенно в молодом возрасте... Доктор Португалов совсем отрицает пользу лошадей, поскольку они служат для нашего передвижения. Не так ли, Яков Яковлич?

— Да, хотя и не совсем, — отозвался доктор Кормилицын, не понимавший хода всего разговора, — вы слишком обще формулировали мысль Португалова, который говорил только, что по возможности нужно больше ходить пешком, а для этого как можно реже ездить на извозчиках или на своих лошадях, у кого есть.

— Именно, именно... — подхватил Сарматов, ворочая глазами. — Это как-раз относится к настоящему случаю, m-r Половинкин: пользоваться лошадью можно только в крайних случаях, а вы, кажется, пользуетесь цветущим здоровьем...»;

с. 72 после слов: «пристал бы, конечно, не к побежденной стороне» —

«— Очень вам благодарна, Демид Львович. Впрочем, я всегда надеялась на вас, как на вешний лед...

Мужчины наперерыв старались засвидетельствовать свои верноподданнические чувства, в чем принял участие даже жиденький тенорик Яши Кормилицына.

— А ведь разобрать, так я на вас, Яшенька, больше всех надеюсь, — фамильярно ответила доктору Раиса Павловна. — Вы — рубаха-парень, и я полюбила бы вас, если бы мне двадцать лет с плеч долой.

— Не люблю я этих русских немцев, — серьезно продолжал доктор, делая рукой усталый жест. — Самый вздорный народишко... Да и в этнографическом отношении эти русские немцы являются чем-то вроде зубочисток с музыкой.

— Люблю... Хорошо сказано, — провозгласил Прозоров коснеющим языком. Яша, приди в мои объятья, ибо ты единственный израильтянин, в нем же несть лести... А только у меня смотри... Ну, да это все равно... чепуха»;

с. 84 после слов: «было самое торжественное» — «Ведь барин после Бога и царя был второе лицо»;

с. 96 после слов: «Гнусавым, как у кастрата, голосом» — «Одетый в черную пару, Перекрестов походил на заношенную лайковую перчатку, у которой в разорванные швы выставлялись его руки и голова»;

с. 111 описание прокатки рельсов и мастерской работы Вавилы и Гаврилы, судя по рукописи, первоначально относилось к посещению С. Приваловым Шатровских заводов. В рукописном тексте первоначально стояли фамилии «Привалов и Бахарев», замененные потом фамилиями Лаптев и Горемыкин. Мастера-катальщики сначала не были названы по имени, лишь позднее сверху появились имена Вавила и Гаврила. По-видимому, этот фрагмент перешел в рукопись «Горное гнездо» из рукописи «Сергей Привалов»;

с. 114 вместо: «меценатствующие „вельможи“» — «меценатствующие «велможи»;

с. 115 вместо: «в качестве главноуполномоченного» — «в качестве уполномоченного»;

с. 118 «Я поклонник Кэри» — в рукописи везде вместо Кэри была фамилия Кеттле;

с. 122 после слов: «ждали Тетюева, который обещал завернуть вечерком» — «Пили шартрез и шестирублевый ром. Разговор вязался главным образом около Лаптева и его свиты»;

с. 133 после слов: «Она с увлечением рассказывает о блестящей европейской клике» — «которая в совершенстве постигла все тайны savoir vivre. Английские денди и парижские pschutt'ы являлись квинтэссенцией этого „золотого мирка“»;

с. 148 вместо: «смотрела на своего улыбающегося уверенной улыбкой кавалера глазами, полными неги» — «... глазами, полными немой любви»;

с. 197 после слов: «были только необходимым балластом» —

«Подвыпившие мужчины заняты были разговорами специально об охоте, причем каждый спешил рассказать самые удивительные случаи. Особенный восторг всех слушателей вызвал рассказ Сарматова.

— Года три тому назад, — рассказывал Сарматов, пуская клубы дыма от сигары, взятой им у Прейна, — года три назад приезжают ко мне в Мельковку два горных инженера, командированные горным департаментом на Урал для геологических исследований. Черт их знает, что они там искали — одним словом, приехали, и прямо ко мне. Ребята славные, а я человек гостеприимный — водой

нас не разлить. Одного звали Бабушка, а другого — Ворожит. У этих горных всегда такие фамилии... Хорошо. Прожили у меня инженеры недели две, и очень весело прожили, нужно отдать им справедливость, хотя в геологии, как все инженеры, ни бельмеса. Все пили больше. А когда пришел конец ихней командировке, тут они и спохватились: как быть, когда даже в горах не бывали. Жаль мне их стало, нужно выручать; я и предложил устроить небольшую экскурсию в горы, наполовину научную, наполовину охотничью. Вооружились мы необходимыми инструментами, то есть бутылками, и отправились. Отъехали верст двадцать в горы, и попадись нам деревушка по названию Вороний Глаз. И деревушка-то всего будет дворов десять... Однако мы в этом самом Вороньем Глазу и посели, да еще как посели! Не помню хорошенько, но дня три мы там хороводились, то есть, собственно говоря, с утра до вечера в состоянии полной невменяемости находились, как это и следует людям науки. Только этак на третий день легли мы спать. Избушка маленькая. Спим, как все спят. Вдруг ночью, — а ночь была глаз выколи, — такой крик в избушке, что я даже в окошко бросился спросонья, думаю — режут нас. Выскочил я в окно вместе с рамой, а в избушке кто-то благим матом закатывает: «Умер! Ой, батюшки, умер!». Что за чертовщина, думаю. Влезаю обратно, достаю огня, и представьте себе такую картину: инженер Бабушка лежит под лавкой и неистово голосит. Ну, я вытащил его, встряхнул... Что такое случилось? А дело оказалось самое простое. У всех людей есть свои маленькие странности, а Бабушка боялся больше всего на свете, чтобы его не похоронили живым. А тут просыпается он ночью — кромешная тьма в избе. Повел рукой кверху — доска, повел направо — доска, налево — доска... Лавки в крестьянских избах делаются с широким бортом. Ну, ему с пьяных-то глаз и представься, что он лежит в гробу и в могилу спущен... Рассказывает мне это Бабушка, я, натурально, хохочу, да оглянулся, а Ворожит подполз к лохани и поганым ковшом помои пьет... Совсем осатанел от трехдневного пьянства!

Пьяная публика находила этот рассказ очень забавным и неистово хохотала; даже Майзель и то снизошел до улыбки.

Вершинин, огорченный маринованной губой, не принимал участия в этой веселой охотничьей беседе и удалился в дамское общество. Чтобы сорвать на комнибудь свою досаду, он натравил пьяного Прозорова на Нину Леонтьевну. В результате получилась смешная сцена. Нина Леонтьевна защищалась, но очень слабо, а Прозоров все воодушевлялся и с ловкостью настоящего специалиста наносил удар за другим.

— Я вообще замечаю, Виталий Кузьмич, — заговорила Нина Леонтьевна, сдерживая душившую ее злобу, — что вы с особенной настойчивостью преследуете меня своими сарказмами... Я, конечно, ценю ваше внимание, но на мою долю выпало его слишком много. Короче сказать, почему вы нападаете именно на меня?

Прозоров с пьяной улыбкой посмотрел на присутствующих дам и с расстановкой проговорил:

— Откровенность за откровенность, Нина Леонтьевна: я дарю вас своим вниманием по той простой причине, что *не люблю зубочисток с музыкой*.

В первое мгновение Нина Леонтьевна подумала, что она ослышалась, но, взглянув на смущенные, испуганные лица других дам, она поняла печальную истину слишком ясно... Итак, она, Нина Леонтьевна, зубочистка с музыкой, и это говорит

ей прямо в глаза, при всем обществе, какой-то пропойца, потому что считает себя другом генерала Блинова! Хорошо, очень хорошо... Разгневанная болванка метнула молнию в сторону генерала, который с улыбкой на своем деревянном лице слушал охотничью болтовню, и сейчас же решила, что дерзость Прозорова была делом не кого-нибудь другого, а Раисы Павловны. Да, она отдана на посмеянье этим дурам, благодаря *уменью* генерала поставить себя в обществе.

Затем, по маршруту, проектировалось с Рассыпного Камня проехать на заводы Логовой и Куржак; в последнем предполагался осмотр знаменитого железного рудника»;

с. 267 после слов: «В надлежащем месте обеда сказано было несколько спичей, сначала Вершининым и Тетюевым» — «этими столбами (sic!) специально-желудочного красноречия».

Варианты к роману «Дикое счастье»

Роман «Дикое счастье» под первоначальным названием «Жилка» впервые был опубликован в журнале «Вестник Европы» 1884, № 1—4.

Журнальный текст и последующие публикации отдельной книгой существенно отличаются от рукописи (автографа), хранящейся в Государственном архиве Свердловской области; в последних частях романа, начиная с главы XXII, произведены значительные сокращения. В рукописи полнее раскрывается психология героев — Гордея Евстратыча, Нюши — после пережитых ими кризисов, подробнее описана борьба за освобождение Нюши от тиранства мужа Косякова. В этих сокращениях ослаблена нравственно-религиозная тенденция романа, в особенности духовное возрождение Гордея Евстратыча. Между тем эта тенденция обнаруживается с первых глав романа, трактующих «дикое счастье», выпавшее на долю Брагиных, как злое дьявольское искушение (подробнее об этом в наших комментариях к роману). По-видимому, ослабление этой направленности (определяемой Е.А.Боголюбовым как «сентиментально-реакционное жизнепонимание») было вызвано требованиями редакции прозападнического журнала «Вестник Европы». Ниже приводятся варианты текста, позволяющие лучше понять первоначальный авторский замысел.

С. 472 после слов: «Что угодно, а этого не могу. И не просите лучше...» —

«Гордей Евстратыч посмотрел на Жареного с какой-то странной улыбкой, точно чему обрадовался, а потом с низким поклоном проговорил:

— Ну, как так, Мосей Мосеич, так спасибо же тебе... Спас ты меня!..

На глазах у Гордея Евстратыча светились слезы, голос дрогнул, а лицо улыбалось, улыбалось счастливой улыбкой.

«Старик, кажется, с ума сошел...» — подумал про себя Жареный.

— Да... Вы — кровопивцы, ведь я пошел было... — говорил Гордей Евстратыч, не вытирая катившиеся по лицу слезы. — Людей хотел губить для своего богатства.... Ох, греха сколько, Мосей Мосеич! Греха...

Точно для того, чтобы окончательно убедить Мосея Мосеича в своем сумасшествии, Брагин перекрестился на блестевший из-за дома крест низенькой деревянной церкви и повалился прямо на снег, делая земной поклон. Его седая голова совсем припала к земле, и в снег попали счастливые слезы раскаяния, молитвы и душевного умиления. Это была сумасшедшая молитва, и Мосей Мосеич, пожав плечами, отправился к своему дому. Но его так и тянуло оглянуться — случай вышел совсем необыкновенный. Когда Жареный оглянулся, он увидал счастливое улыбавшееся лицо Гордея Евстратыча, который молился на коленях, стоя в снегу»;

с. 472 следующая, XXIII глава, полностью отличается от журнальной:

«Возвращаясь из Бурнашей, Брагин даже не остановился в городе, а только захватил с собой Михалку. Он махнул рукой на всякие дела с Головинским и Жареным: пусть будет, что будет, они не разбогатеют чужими деньгами, он не помрет с голоду.

«Нет, она, чужая-то денежка, скажется... Ох, как скажется! — думал старик, сидя в кошевой. — Век неправдой не проживешь!... Не-ет... Обрадовались, дескать, обдерем мужика; а немного и вам радости будет от неправедной наживы».

Гордей Евстратыч точно проснулся после тяжелого сна и сам дивился тому человеку, который под его именем наделал столько пакостных делов. Неужели это был он, Гордей Евстратыч?.. Господи, да где у него был ум, — нет, где совесть-то была?.. Грех без конца, тяжкий грех... И с самого начала, как только попала ему в руки эта проклятая жилка, точно кто ему глаза завязал: так из ямы в яму и брел да еще и других за собой тащил в омут. Нечего сказать, хорошо отмолил Маркушкин грех!.. Всё теперь припомнил Гордей Евстратыч, припомнил с той пробуждавшейся ясностью, с какой приходит в себя больной после тяжелого и мучительного забытья. Вот он, Брагин, перессорился со всей родней и со всеми старыми приятелями, а потом завел дружбу с Шабалиным, Липачком, Плинтусовым и «настоящей компанией»... Водку начал пить, платье переодел, бороду постриг! Потом брата Зотушку выгнал из батюшкова дома, а там и пошло, и пошло: пьянствовал, безобразничал, немку себе обзавел, сыновей распустил. Но всего больше на совести Гордея Евстратыча лежала смерть Фени, а потом... Неужели это он хотел сделаться снохачом и так тиранил бедную Аришу? Да, это он все устраивал, своими руками, точно ослепленный человек, который бросается головой на огонь.

Раздумывая о своей неправде, Гордей Евстратыч чувствовал, как все темнеет и меркнет вокруг него, а ему делается так тошно, хоть руки на себя наложить — так в ту же пору. Заблудившийся в дремучем лесу, вероятно, испытывает такое же мучительное тяжелое чувство, а с каждым шагом вперед все темнее и темнее, никакой надежды впереди нет, и смертельный ужас охватывает душу...

«Нету человека грешнее меня! — думает Гордей Евстратыч, закрывая глаза, как животное, над головой которого уже занесен нож. — И спасенья мне не будет... Что я скажу в свое оправдание? Как буду каяться? Старик, и пустился на такие дела... Православные, простите вы меня, окаянного!».

Михалка всю дорогу спал как убитый, а Гордей Евстратыч не мог сомкнуть глаз, перебирая в уме тысячу раз все свои прегрешения и каждый раз припоминая какую-нибудь новую подробность, которая еще и еще усугубляла его вину. Нет, не сам он припоминал, а кто-то другой, который ехал теперь вместе с ним и был неумолим, как праведный судья. Этот другой была собственная совесть, от которой и уйти никуда нельзя, как можно уйти от суда человеческого. Раз когда-то, еще в крепостное время, был Гордей Евстратыч в городу и случись как раз, что в это время наказывали грешника. Гордей Евстратыч побежал вместе с другими на площадь, где стоял эшафот. Он протолкался поближе... Вот в красной рубахе плечистый рыжий палач Афонька. Вот подводят солдатики какого-то седого старика в халатике, читают бумагу... в трех душах повинился, полтораста плетей. А грешник стоит в своем халатике, смотрит в народ и все что-то шевелит белыми губами. Вот

и бумагу кончили читать. Афонька взял старика за плечо и тащит к деревянной кобыле... Гордей Евстратыч как теперь видит лицо этого старика, как оно помертвело, а глаза сделались большие такие, и потом как старик вырвался из рук Афоньки и повалился в ноги народу: «Православные... простите!..» Тогда от страху и с непривычки у Гордея Евстратыча помутилось в глазах, что-то свистнуло в самом ухе, а на кобыле виднеется одна голова старика... «А-а-аааа...» — неистово кричала седая голова, а страшный свист все сильнее и сильнее гудел в воздухе. Вот именно таким грешником чувствовал себя теперь Гордей Евстратыч и так же мучительно кричала в нем проснувшаяся совесть. «Православные, простите...». Но нет, его никто не может простить, потому что он полон сейчас всякой скверны: нужно выкупить грех, нужно пострадать, нужно пройти через настоящую муку, а уж тогда каяться в своих грехах. Может, тот грешник-то в сто раз лучше его был, хоть и повинился в трех душах... В Гордее Евстратыче с мучительной силой проснулась жажда страдания и муки, чтобы искупить свою неправду, тем более, что собственная греховность приводила в отчаяние. Ну, была жилка, дурил, а потом отняли жилку — кажется, и образумиться бы пора. А он что придумал: кабаки открывать!..

— Хорошо еще Владимир-то Петрович придумал — обобрал *все, — раздумывал старик. — А то бы еще греха-то, греха-то сколько набрал на душу!..*

Даже взять эту его поездку в город: зачем он ругался с Головинским, зачем таскался по адвокатам, зачем ездил к Жареному? А сколько сраму да позору набрался... Теперь глаза показать будет стыдно добрым людям. Но пусть его казнят, пусть смеются, пусть поносят, — Гордей Евстратыч был рад хоть в этой форме принять на свою седую голову надлежащую кару за все содеянное. Вот смотрите теперь все на его подстриженную бороду, на модное платье...

А вот рядом с ним сидит Михалка, которого он сам губил, чтобы завладеть Аришей, Архип остался в городе «пользоваться», дома своя дочь Нюша сохнет от батюшкина золота.

«Хоть умереть бы, што ли!..» — с тоской думал Гордей Евстратыч и сейчас сам же обвинял себя за малодушие, нехристианское желание.

А кругом уже слышалась быстро наступавшая весна. Давно ли он ехал по этой дороге в город, а между тем всё кругом быстро изменялось, точно в дому у хорошей хозяйки перед великим праздником.

Дорога была сильно избита, череп хрустел и ломался под ногами у лошадей, кое-где полоз прихватывал землю и со свистом черкал по камню; снег покрылся в разных местах мокнувшими наледями, а на пригорочках чернели первые проталины. Осины и березы уже дали сок — почка набухала. Что-то печальное чувствовалось в этой картине застывшего ожидания, если бы не солнышко, которое так любовно и горячо греет землю. Все от божьего солнышка — оно и снег сгонит, и травку зеленую подымет, и аленькие да лазоревые цветики рассыплет бисером по лугам, и белую березку оденет, как невесту, и залетных пташек нагонит с теплых морей. Еще неделька, много две — и все загудит кругом: речки горные заиграют, побегут ручьи, пташки защебечут, всякий зверь вылезет из зимней норы... Господи, слава тебе!

Всем будет работа, будет дремать: матушка земля всё даст. А мужичкам сколько работы весна принесет, только успевай поправляться, — надо и пашенку под-

нять, и по домашности, и всякое обзаведенье перетрясти к страде. Господь труды любит, у него ничего не пропадет: и пташка гнездо вьет, и травинка топорщится из земли, и зверь ростится по лесной гуще — все работают в свою долю. Вон скворушка сел на голую липку и свистит-разливается... вон распахнул крылышки и полетел свои дела промышлять. Славно, тепло, дремотно... В воздухе пахнет закипающей вешней работой, которую поднимает солнышко, выщупывая своими теплыми ласковыми лучами каждый уголок, каждую былинку, каждый камешек.

Чем ближе дорога подвигалась к Белоглинскому заводу, тем выше поднимались по сторонам крутые лесистые горы. Воздух был необыкновенно прозрачен, и далеко-далеко виднелись бесконечные леса, глубокие лога, каменные россыпи и утесистые горные вершины. Кое-где розовато-серыми пятнами вставали березняки, осинники и разная речная поросль — верба, тальник, смородина. А там, дальше, в горах дымилась прозрачная голубая мгла, сгущаясь по низинам и горным падям в серый туман.

Любуясь с детства знакомой картиной, Гордей Евстратыч незаметно для самого себя оживал душой, точно ему прямо в сердце вливалась освежающая струя, и там быстро вырастало новое, такое хорошее чувство. Глубоко-глубоко просыпалась с мучительной тревогой сладкая надежда на возможность спасения, на новую жизнь, на примирение с собственной совестью, точно в душе Гордея Евстратыча тоже стояла суровая и холодная зима с снежными метелями и саженным снегом, а теперь все это миновало и точно что таяло и обновлялось. Ведь он покончил с этой зимой, которая чуть не заморозила его самого, нужно работать, стараться, не знать устали и покоя... Велик был грех, велико должно быть и искупление. Много на свете есть сирых, убогих, несчастных и христовых страдников — вот кому нужно помогать и для кого жить: их молитва доходнее до Бога, может, ради них Господь и помилует. Теперь Гордею Евстратычу было ясно, для чего следовало жить на свете и что ему именно следует делать. Он видел свой Белоглинский завод, старый батюшков дом, свою разоренную семью... Опять будет все поставлено на старый лад, по батюшкову завету — велика милость Господа сил к нам, грешным! Все новшества побоку, всех новых благоприятелей тоже, надо на старую точку вставать.

— Эй, Михалка, проснись... Вон и наш Белоглинский!.. — будил Гордей Евстратыч сына, набожно снимая шапку с головы.

Михалка был сумрачен и ничего не ответил, а только тяжело вздохнул: он все не мог проснуться после тяжелого городского похмелья. Вот и новая церковь, и знакомые улицы, и недостроенный дом Брагина. Гордей Евстратыч долго крестился на церковь, и в его глазах стояли крупные слезы, выдавленные радостным примиряющим чувством.

— Ну что, устроился с Владимиром Петровичем? — спрашивала Татьяна Власьевна, встречая сына.

— Устроился, мамынька, со всеми устроился... — радостно отвечал Гордей Евстратыч.

— Слава тебе, Господи... — перекрестилась Татьяна Власьевна, вздохнув с облегчением. — А уж мы здесь пригоревались совсем об вас. Как же устроились-то, милушка?

— А уж так устроились, мамынька, что уж лучше не надо, т.е. начисто все ... и пожелать замели все следы.

...Гордей Евстратыч умылся, переоделся и занял свое место за столом. Ему теперь все нравилось у себя в доме, больше всего эта старинная чистота, какую нерушимо всегда блюла Татьяна Власьевна, и даже самый воздух, отдававший, благодаря неугасимым восковым свечам и ладану, чем-то таким церковным, не то, что в других домах, где все по-модному нагорожено и пахнет черт знает чем. При воспоминаниях о модных домах Гордей Евстратыч тяжело вздохнул и затуманился. В своей ситцевой рубашке, подпоясанной гарусным пояском, он выглядел прежним Гордеем Евстратычем, хотя его голова совсем поседела за последние дни.

— Тятинька, а на Смородинку анжинеры наехали, — вспомнила Нюша новость, о которой говорил в последние дни весь Белоглинский завод. — И Порфир Порфирыч с ними... Сказывают, золото опять будут мыть.

Татьяна Власьевна испугалась, что это известие огорчит милушку, и укоризненно покачала головой Нюше, но глупое слово уже вылетело — не воротишь.

— Так, может, здря болтают, — прибавила она для чего-то.

— Значит, прииск открывают? — спросил Гордей Евстратыч совершенно спокойно, не моргнув бровью. — Что же, место богатое, казне прибыток будет. В казну много денег надо... Да и Господь с ней, мамынька, с этой Смородинкой, — прибавил он после короткого раздумья.

Последнюю фразу Татьяна Власьевна поняла по-своему и, пытливо поглядев на сына, проговорила:

— Водкой, конечно, способнее заниматься, милушка. Владимир Петрович еще тогда говорил, что водка лучше всякого золота, а уж ему ближе знать.

От этих слов Гордей Евстратыч побледнел как ужаленный и даже уронил из рук чайное блюдечко, обварив колени кипятком.

Этакое несообразное слово сказала мамынька, ну да ведь она еще ничего не знает, с чем он приехал, — по своему малодушию сболтнула.

Сейчас после чая Гордей Евстратыч ушел в свою горницу, принялся просматривать разные бумаги, чтобы привести в известность свои наличные капиталы. В это время к нему вошла Татьяна Власьевна, которую разобрало любопытство узнать, как кончилось дело о кабаках.

— Напугал ты меня тогда, милушка, как поехал в город, — объясняла старушка, усаживаясь к столику, — страсть напугал... Может, одних слез сколько мы тут пролили с Нюшей!.. Легкое место вымолвить: «разорились».

— И даже очень напрасно, мамынька, вы беспокоились, — ответил Гордей Евстратыч, — весьма напрасно. Конечно, я попервоначалу в горячности лишнее вам сказал, да уж потом обдумался да обдумался, оно и вышло совсем другое. Да вот я тебе, мамынька, расскажу все как на духу.

Погладив бороду и пояс, Гордей Евтратыч передал все подробности своей поездки сначала в город, а потом в Бурнаши к Жареному. Он ничего не скрыл, желая заставить мамыньку восчувствовать все то, что он пережил за этот короткий срок. Татьяна Власьевна слушала внимательно, не проронив ни одного словечка, но по ее бесстрастному морщинистому лицу трудно было угадать впечатление, какое произвел на нее рассказ.

— Вот, мамынька, — тут я и опомнился, т. е. в подвале-то у Жареного... Ей-богу! — рассказывал Гордей Евстратыч с разгоревшимся лицом. — Ведь сотни этих бочек лежат, мамынька, а в каждой бочке сорок ведер водки... Страсть, погибели!.. Меня тут только осветило! Думаю: «Господи! На какие дела я пустился? Ведь это в том роде, как душегубством заняться, еще, пожалуй, хуже, потому на разбойника и суды есть, а за водку никогда не судят». Так и думаю про себя. Мосею-то Мосеичу легко христианскую кровь пить, потому на нем, может, и креста нет... Может, он оборотень какой, прости ты меня, Господи!.. А я-то зачем в этакое дело пустился... Ведь это грех, мамынька, да еще какой грех!.. Это я сгоряча после жилки на водку кинулся, потому всякую совесть потерял, а разве это порядок? Пока мы, благодаря Господу, не хуже других-прочих, проживем и без нее, мамынька. А греха-то будет меньше и ответ меньше.

Татьяна Власьевна слушала, опустив глаза.

— Меня уж Жареный-то в себя привел, — продолжал Гордей Евстратыч, — как он рассмеялся — меня по сердцу точно обожгло... Чего он смеялся-то, мамынька? Ведь каждая его копеечка слезами да кровью нажита, не его слезами, а чужими... Ну, как я вышел из подвала, прямо и говорю ему насчет кабаков. Уж мне-то все равно до них, а так спросил, для любопытства. Он меня сейчас обзатылил по всей форме, думает — шабаш, зарезал. Да еще какую музыку ведь завел: кофием угощал, по всему заводу водил... Ох, народец такой, мамынька. Столько я поглядел, столько нагляделся, что тошнехонько мне стало, точно я всякого понятия решился. Так Мосей-то Мосеич обзатылил меня, а я сотворил крестное знамение да давай-ка молиться на церковь, а у самого точно гора с плеч свалилась. Легко так стало на душе, светло. Думаю, Батюшка Царю Небесный, много я согрешил, так хоть не до конца своих дней во грехах останусь, а буду теперь каяться. Ох, мамынька, мамынька, много на моей душе греха... Ну, об этом уж как-нибудь в другой раз...

... — А по-моему, так ты, милушка, все это напрасно говоришь, — заметила Татьяна Власьвна, прерывая молчание.

— То есть как это напрасно, мамынька?

— А уж так... Ты хочешь в бедности спасать душу, богатый-то человек скорее спасется, потому бедный-то и помог бы другому, а глядишь, и у самого ничего нет, а богатый десятерым поможет. Вот за него, за богатого-то, все несчастные да бедные и молятся.

— Мамынька, Христос с тобой, какие ты слова говоришь? Ведь это один разговор про богатых, что они то и сё, а разбери-ка, так и нет ничего. Вот мы были богаты, многим помогли?.. Нет, мамынька, эти деньги как водка пьянице: чем больше пьет, тем больше хочется, пока не лопнешь.

Стороны разошлись, недовольные друг другом...»;

с. 488 после слов: «думала девушка, слушая Зотушкин стих» —

«Уральская темная осень уже давно наступила. Дни были короткие, пасмурные; мелкий, как просеянный сквозь тонкое сито, дождь шел без перерыва по целым неделям. На улицах стояла непролазная грязь, в которой колеса тонули по ступицу. Весь Белоглинский завод потонул в мутной водянистой мгле, из которой выставлялись только черневшие остовы домов, казавшихся теперь и ниже, и непригляднее. Окрестные горы были совсем задернуты подвижной водяной заве-

сой, и только изредка, когда дождь перемежался, они на мгновение выступали яркой зеленью омытого дождем хвойного леса.

Люди редко показывались на улицах, куда гнала их только самая тяжелая необходимость, когда нужно было идти на фабрику, на базар или за другим каким спешным и неотложным делом. Собственно фабричные торопливо бежали по улицам только в урочный обеденный час, а утром, когда шли в четыре часа на работу, и вечером, возвращаясь в семь, человеческих фигур невозможно было разглядеть в тяжелой осенней мгле, и только слышно было, как шлепали десятки ног по лужам и как липкая грязь сосала и чмокала под фабричными пряденицами и катаными котами. Днем по улице изредка проедет какой-либо подрядчик в непромокаемом кожане, или шажком проплетутся лесообъездчики на своих мохноногих крепких лошадках к заводской конторе; чаще других в самую отчаянную непогодь и осеннюю слякоть можно было встретить о. Крискента, который ползал из конца в конец по Белоглинскому заводу, навещая больных, родившихся и умерших. Как исключение в этой застоявшейся и придавленной жизни являлись отчаянные тройки, на которых разъезжали по всему Белоглинскому заводу разные горные инженеры, поверенные и смотрители, болтавшиеся на Смородинке. Забрызганный грязью экипаж, взмыленные лошади, казенные фуражки и казенное лицо в глубине экипажа — все это мелькнет, как пролетевший шмель, а затем улица опять затихает, как мертвая.

Но у всякого времени года есть своя хорошая, поэтическая сторона. В такую темную и сырую осень все живое жмется и ютится под кровлями, а в домах у хороших хозяек даже огонь в печках горит ярче и светлее. Если летом члены семьи разбредутся по сторонам — кто на сенокосе, кто в лесу, кто на богомолье, то осенью все собираются в одном углу, точно не надеясь одними своими силами защищаться от разгулявшихся стихийных сил. Теперь около теплой печки, когда «сумерничают», сказываются сказки и разные побывальщинки и поются те заунывные песни, в которых слышится и вой ветра, и серое пасмурное небо, и бесконечная житейская непогодь. Осень — по преимуществу семейное время, когда всех тянет к одному теплу, под одну кровлю; поэтому осень же является и сезоном чисто семейных и хозяйственных праздников и полупраздников — все эти капустники, супрядки, посиделки и вечорки собирают вместе и молодежь, и стариков, и подростков. Кто работает, кто поет, кто балагурит, кто отдыхает, а в результате семейное и хозяйское дело растет да растет: там капусту управили, там с пряжей сделали дело, а там, глядишь, и свадебка набежала — все лишним огоньком да избушкой и больше будет. Семейная дума одолевает всех, и все радуются новой парочке, а о. Крискент в осень-то сколько свадеб скрутит! Даже в разоренный брагинский дом залетают с улицы семейные вести — там девку засватали, там парня окрутили, там сватов думают засылать. — «И слава тебе, Господи, — говорил каждый раз Зотушка. — Людям умножение... И птица, и зверь парится, потому все по закону, как от Бога поставлено».

Между прочим, дошел слух, что Пазухины ищут невесту для Алеши. От этого известия у бедной Нюши сердце оборвалось и ноги подкосились. Горько-горько проплакала она всю ночь — и обидно, и тяжело, и пожалеть некому. Собственное сиротство теперь ей сделалось особенно тяжело: куда она денется? Что с ней будет? А изменщик Алешка забыл ее, забыл, что раньше говорил... Захотел, видно, богатой невесты да хорошей родни. Правду Феня-покойница говаривала про него,

что дрянь он и ничего не стоит. Так все и вышло... Разве она виновата, что тятенька обанкрутился? А она-то, она убивалась о нем, она-то сколько думала о нем, по окошкам глаза все проглядела да еще голову готова была отдать на отсечение, что и он тоже по-прежнему да по-старому любит ее. Все терпела Нюша, все переносила, а это испытание было выше ее сил... Не завидовала она и не льстилась никогда на чужое богатство, не бросила Алешу, когда тятенька разбогател, — сама ему, Алешке, в глаза тогда это сказала, а теперь вон на, полюбуйся на него. Если тогда тятенька погордился перед Пазухиными, когда они сватов засылали, разве она виновата? — «А теперь сама не пойду за Алешку!— думала Нюша, обливаясь слезами.— Им нужно богатую невесту, а я бедная...»

Потемнело все кругом для Нюши, точно она умерла для самой себя. Первое острое горе перешло в тупую боль, которая давила, как могильный камень. Самое лучшее, что она берегла и вынашивала в сердце, как сокровище, было безжалостно выкинуто на улицу и затоптано чужими ногами в грязь. Сознание пустоты было еще страшнее первого горя. Сначала она могла хоть сердиться на изменщика Алешку, а теперь ей сделалось как-то вдруг все равно до всего. «Уйду в скиты к Шабалиным... — повторяла Нюша про себя в сотый раз, точно хотела кому досадить этим. — Постригусь и буду честной матерью Антонидой или Анфисой». Кстати, она припомнила, что в их роду была такая скитская черничка, какая-то иногородняя тетка по матери, — она тоже любила одного парня, а тот обманул ее и женился на другой, как Алешка.

Впрочем, иногда у Нюшки появлялось непреодолимое желание еще раз увидать Алешку, один только раз, и все сказать ему в глаза... Пусть казнится. Нет, лучше подождать, когда он женится, а потом и прийти к нему в дом честной инокиней Антонидой, в черной рясе и в апостольнике: пусть полюбуется.

Встреча с Алешей произошла раньше, чем предполагала Нюша. Бабушка послала ее на базар за нитками; Нюша нарочно обошла другой улицей, чтобы не встретиться с Алешкой, а он как на грех навстречу и идет к ней, да еще по той же стороне улицы. В первое мгновение девушка хотела вернуться или, по крайней мере, перейти на другую сторону улицы, но ноги как-то сами несли ее вперед, а в глазах заходили красные пятна и круги. Вот уж близко, Нюша опустила глаза и сделала вид, что не узнает своего ворога.

— Здравствуйте, Анна Гордеевна...— тихо проговорил Алешка останавливаясь.

— Здравствуйте...

— Что-то вас давненько не видать, не слыхать...

«Ах, бесстыжие глаза, какие еще слова говорит!» — подумала Нюша и точно обезумела от злости.

— Зато о вас много слышим, Алексей Силыч, — заговорила она, глядя прямо в глаза своему изменщику. — Как же, все по заводу болтают, как вы богатых невест ищете... Вам надо в городу поискать, там народ богатый все живет и родня хорошая... и...

— Нюша, что ты, Христос с тобой!.. — взмолился Пазухин, меняясь в лице. — Да кто это тебе наврал?.. Я... да вот сейчас провалиться на этом месте...

— Уж не ври, пожалуйста, не бери лишнего греха на душу... Бог тебе судья, а я на тебя... на тебя не сержусь... Сама знаю, что не пара... Кто же из разоренного дому невест берет...

— Нюша, голубушка... все напраслину болтают... что ты, господь с тобой!

— Не ври! Не ври!.. И Марфа Петровна, и Пелагея Миневна сама говорила... Все знаю... Зачем еще меня-то обманывать?.. Ну, говори, не искали невесты? а? Я скажу, у кого и невест смотрели: у Гавриловых, которые за рекой живут, у Волкова... у Мостовых....

— Да ведь это все Марфа Петровна мутит...

— Опять врешь!.. У всех у вас одно на уме-то... Недаром Феня-покойница... Напоследях-то ты хоть бы пожалел меня, а ты...

Девушка не могла дальше говорить и, захлебываясь слезами, побежала бегом вперед. Алеша стоял на том же месте и все ждал, что Нюша оглянется, но она не оглянулась и скоро скрылась за ближайшим углом. Он пошел было за ней, дошел до угла — дальше улица была пуста, и он побрел обратно, опустив голову. Действительно, домашние искали ему невесту, только он-то этого и на уме не держал... Кто-то настроил Нюшу против него, надо с ней будет поговорить как-нибудь — вон как она рвет, приступу нет.

Чтобы привести в исполнение свою мысль, Пазухин несколько вечеров как тень блуждал около брагинского дома, выжидая, не выйдет ли Нюша. Осенний дождь мочил его до костей, ветер пронизывал насквозь, а Нюша все не выходила. Несколько раз ему казалось, что в окне брагинского дома мелькала знакомая тень, но это было только обманом зрения. Нюша больше не подходила к окнам и не смотрела, что делается на улице. Пазухин по-своему любил эту девушку и, не помешай жилка, теперь жил бы с ней под одной кровлей, а не ходил по подоконью каким-то оборотнем. Это была простая и честная натура, затаившая в себе глубоко первое молодое чувство; только не умел Алеша ничего делать напоказ, как другие, не умел показать товар лицом. Любовь теплилась в его душе, как скрытое пламя. Эту любовь он носил с собой везде и ни одним взглядом не изменял ей. В настоящем случае он не понимал Нюшу, зачем она поверила чужим речам и зачем не хотела слушать его; ее недоверие отчасти оскорбляло его, но больше того он жалел эту несчастную девушку, на долю которой выпало слишком много напастей. Бродя около брагинского дома, Алеша тысячу раз перебирал в уме последний свой разговор с Нюшей от слова до слова и никак не мог ума приложить, чтобы поправить дело. Прийти прямо в дом и объясниться начистоту с бабушкой Татьяной Алеша не решался, потому что бабушка Татьяна только обиделась бы таким непорядком: для сватовства есть свой устав, а у Алеши были еще большаки, которые сами должны были заверить все дело. Но Пелагея Миневна, а за ней и Сила Андроныч и слышать ничего не хотели о Нюше, потому что их первое сватовство за нее окончилось такой обидной неудачей.

Однажды, когда Алеша стоял около угла, спрятавшись от дождя, одно окно отворилось, и в нем показалась голова Нюши: девушка окликнула его, и когда Алеша подошел к ней, сунула ему в руки что-то завернутое в бумагу, а сама быстро захлопнула окно. В бумагу была завернута небольшая детская кукла, наряженная монахиней — в черную мантию, в апостольнике и с четками в руках. У Алеши опустились руки от такого подарка, и он долго и тихо рыдал, забравшись в глубину сеновала».

К с. 496 в рукописи «Жилки» есть целая глава (XXVII), посвященная описанию общерусских и уральских свадебных обрядов и песен. Приводим эту главу:

«Мы уже говорили, что Татьяна Власьевна служила живым хранилищем всяких старинных обрядов, распорядков, свычаев и обычаев. Но ни одна полоса старинной жизни не была обставлена таким множеством церемоний, как «суд божий», то есть свадьба, и никакие другие обряды старозаветной Руси не имели такого громадного исторического и социального значения, как свадебные, в которых вылилась вся страдная доля русской женщины, вынесшей на своих плечах тройной гнет византийско-татарско-московских основ жизни. Все в этой свадебно-обрядовой обстановке создано женщиной и все может служить лучшей иллюстрацией тех неиссякаемых могучих сил, какие носит в себе эта многострадальческая русская женщина. Если бы поставить эту свадьбу на сцену, без ученых и артистических искажений, вот где наша глубоконациональная, выстраданная целой историей, опера, скорее сказать — та русская правда, которая не нашла себе выхода!.. Прибавьте к этому, что ни у одного народа нет такого богатого цикла свадебных песен, как у русского, потому что ни у одного народа, вероятно, женщина не вынесла и не выносит столько в замужестве, как у нас, где брак является воистину великим и страшным судом божиим...

Специально об уральской свадьбе нам нужно оговориться.

Наука уже давно обратила внимание на историческое значение свадебных песен и обрядов и добре потрудилась на этом широком поле. Любители и знатоки старины искали этой старины по тем историческим углам, где завязывалась русская история, — Новгород, Суздаль, Киев, Ростов и т. д. Но дело в том, что почти все действительно историческое в этих несомненно исторических местах давно смыто новыми веяниями или погребено в такой массе перепутанных позднейших отложений и наслоений, что добыть из этого исторического мусора старую правду дело почти невозможное. Рука времени наложила на все свою печать, все исковеркала и, главное, все исказила, согласно новым запросам, требованиям, условиям и вкусам новой жизни, катившейся здесь из конца в конец могучим колесом. Для исследователя почти невозможно разобраться в этом живом ворохе исторических обломков, потому что нет основного критерия, нет руководящей идеи для критической разработки перепутанных, искаженных и, так сказать, слившихся в одну массу разнороднейших исторических данных. Каждый последующий шаг русской истории топтал и заметал предшествовавший, и нужно довести историческую науку в ее исследованиях до точности химического анализа, чтобы получить возможность работать на этой почве со спокойной совестью. Но вместе с тем есть такие уголки на Руси, куда исторические движения народной жизни заливали всего один раз, оставляя после себя целый пласт в высшей степени интересных отложений, какие оставляет после себя прилив воды. Такие уголки затерялись по русским украйнам, почему-либо обойденным дальнейшим поступательным движением русской истории, и к таким счастливым уголкам принадлежит отчасти Урал, собственно его северная часть, где сходятся верховья двух могучих речных систем — Северной Двины и Камы. И вот здесь, на далеком Урале, почти в первобытной своей чистоте сохранилась старинная русская свадьба со всеми ее обрядами и песнями, именно свадьба XVI века, какой занесли ее сюда русские выходцы, тянувшие на Камень из Новгорода, Москвы, Углича, Белозера, Твери и т. д.

Благосклонный и снисходительный читатель не посетует на нас за то, что мы напомним ему некоторые исторические данные этой коренной, исконной тяги на

восток, к далекой Сибирской украйне. Рассказы новгородских ушкуйников и смелых промышленников о богатствах всего Югорского края постоянно выдвигали новые колонны русских пионеров, которые шли на Камень за сказочной добычей. Прямой путь из Руси на Камень лежал по Волге и Каме, но эта широкая дорога была загорожена предприимчивым искателям легкой наживы теми ордами, которые осели как раз в том месте, где Кама вливалась в Волгу: сначала не давали ходу камские булгары, а потом казанская татарская орда. Но эти препятствия, конечно, не могли остановить русских промышленников, а только заставили их предпринять обходное движение, через систему Северной Двины, верховья которой почти сходятся с верховьями Камы. Главными станциями этого исторического движения сначала от Новгорода, а потом от Москвы служили Белозеро, Великий Исток, Сольвычегодск и р. Вычегда; конечным пунктом, где стали промышленники на твердую ногу, явился нынешний Чердынский уезд Пермской губернии, где были построены на усторожливых местечках первые острожки и города. В смутный период последних дней татарщины и собирания Русской земли московскими князьями прилив переселенцев в привольный приуральский край с насиженных исторических мест был особенно велик, и вот в это время колонизировалась вся северная часть нынешней Пермской губернии, где голутвенные и до конца обнищалые людишки наконец отдохнули от родильных мук складывавшегося Московского царства и, конечно, занесли с собой весь свой нехитрый быт, обряды, обычаи и привычки. Затем, когда Грозный Иван IV разгромил Казанское царство и этим завоеванием настежь распахнул русскому люду широкие ворота в богатую восточную украйну, поток колонизации оставил, конечно, далекий обходный путь, а направился прямо по Волге и Каме, в самое сердце заветных вольных земель. Колонизация Урала из негостеприимных северных мест быстро направилась в благодатный юг, в цветущие степи Башкирии. Таким образом, северная часть Урала осталась в стороне от главного тракта приливавших переселенцев, и это продолжается до наших дней, благодаря чему в этом краю сохранились почти в непосредственной чистоте основные черты древнего русского быта, и, между прочим, сохранилась русская старинная свадьба. Чердынский уезд, отчасти Верхотурский, и старинные горные заводы явились рассадником и хранилищем старозаветной Руси; хлынувший на Урал раскол только укрепил эту старину и бережно разнес ее по своим заветным уголкам, к каким, между прочим, принадлежал и Белоглинский завод.

Татьяна Власьевна держалась крепко этой старины во всем, начиная с покроя платья и кончая такими исключительными случаями в жизни, как свадьба. Не одолевай ее скупость, она справила бы настоящую свадьбу Нюше, какая была справлена моднице Алене Евстратьевне и Арише с Дуней. Собственно все свадебные церемонии подразделялись на три отделения: сватанье, просватанье и самая свадьба. Сватанье разбивалось на смотрины женихом невесты, формальную засылку сватов и сговор; просватанье — на рукобитье, посиделки, обручение и девичник, а свадьба — на церемонии до венца, благословенье молодых и собственно бальный свадебный пир*. Но этим свадьба еще не оканчивается, а за ней начинается еще столованье, именно — большой стол, хлебины и отхлебины. Каждый отдел этого

* В крестьянском быту эти старинные градации, через которые неизбежно проходил всякий «суд божий», изменились в соответствии с требованиями времени и получили новые названия акцизно-откупного происхождения, именно: сговор — первый пропой, рукобитье — второй пропой и обручение — последний пропой. Автор.

свадебного цикла имел свой определенный выбор песен, применявшихся к обстоятельствам, т.е. когда жених и невеста были отецкие дети или сироты. Для каждого родственника и свадебного чина было строго определенное поле деятельности и свои песни. Но главным действующим лицом, живым центром всех песен и обрядов являлась невеста, точно этим единственным светлым и резко выдававшимся моментом своей жизни она выкупала все невзгоды, кручины и печали своего дальнейшего существования, одним словом, хоронила себя заживо. На Нюшиной свадьбе были оставлены только главные моменты, без которых не обходится ни одна свадьба.

— Не такие наши достатки, чтобы пиры пировать, — упрямилась Татьяна Власьевна, несмотря на все увещания собравшихся знакомых.

А знакомых и разной дальней родни набралось в брагинский дом совсем густо. Явились такие люди, которых раньше никто и не знал, как это всегда бывает на свадьбах и похоронах. Но гостей не гнать же, и бабушка Татьяна крепко морщилась, считая рты и глотки: легкое ли место всех накормить и напоить, хотя свадьба и делалась на счет жениха и отчасти на счет Нила Поликарпыча. До десятка девушек наполняли старый батюшков дом веселым говором, щелканьем кедровых орехов и рассыпчатым молодым смехом. Нужно было справлять приданое, снаряжать невесту и петь песни. А песни были старинные, как рукобитная:

Как у ласточки, у касаточки
На лету крылья обломилися...
Ты, родимая моя матушка!
Отдала замуж да стала спрашивать,
Каково тебе, мое дитятко,
Каково тебе в чужих людях?
— Ты, родимая моя матушка!
Ты поди-сходи на сине море,
Ты спроси-спроси гуся серого,
Каково ему плыть супротив воды...
— Ты, дитя ль, мое дитятко,
Ты, дитя ль мое малое!
Ты носи платье — да не складывай.
Ты терпи горе — да не сказывай.

На посиделках и на девичнике пелось особенно много песен, из которых всего замечательнее были девичьи «плачи», когда невеста по обычаю должна «выть голосом». В этих плачах все вспоминалось — и всходимое красное солнышко, и запорученная буйная головушка, и вольная воля батюшкина, и великая нега матушкина. Нюше, как круглой сироте, пелись особенные сиротские «плачи»; так, к матери плачи начинались словами:

Ты, гора, гора высокая,
Ты, пещера белокаменная,
Ты, родимая моя матушка!

Свою мать Нюша совсем не помнила, но плакала над этой песней от чистого сердца: она была слишком одинока и слишком несчастна, чтобы не плакать. Но когда девушки-подруженьки запели «плачи» об отце, невеста рыдала как помешанная. Вот эти плачи:

Припаду ли я, да молодешенька,
Ко листу я, ко дереву:
Нет от листу, нет от дерева
Ни ответу, ни привету
О, сходилися да тучи грозные,
Со все да со четыре стороны,
Все тучи прокатилися,
Одна туча да воротилася,
Воротилася да остановилася
Над матушкой да над сырой землей.

Дальше в «плаче» невеста просит грянуть громы и расколоть сыру землю, гробову доску, а там от ветра буйного развертывалась золота парча и распечатывались уста сахарные, разжимались очи ясные, отнимались руки белые от «ретива сердца», «от того ли от желаньица великого». «Уж ты восстань-ка, родимой батюшка, да смой-ка с лица ржавчину, с бела лица да горючи слезы, с ретива сердца тоску-кручинушку...» Этот «плач» кончается тем, что родимый батюшко, всходимое красное солнышко, не промолвит ласкова словечушка и не даст великого благословеньица.

В числе гостей были даже Вукол Логиныч и Плинтусов с Липачком. Их пригласил сам Павел Митрич. Тут же толклись Михалка с Володькой Пятовым. Но главной заводчицей и исправницей была модница Алена Евстратьевна, которая поспевала везде, все видела, всем распоряжалась и ничего не забывала. Подгулявшие гости постоянно заставляли жениха и невесту целоваться и осыпали подарками девушек.

— Вот братец не дожили до такой радости, — говорила Алена Евстратьевна, закатывая глаза, — то-то они порадовались бы... Покойник братец веселые были в компании. Другому молодому супротив них не устоять... И уж как бы они довольны были Павлом Митричем, так довольны, что и сказать нельзя!

— Эх, Порфира Порфирыча нет... — жалел Вукол Логиныч. — Вот бы утешил, Пал Митрич. Ей-богу... Ужо я тебя познакомлю с ним: такая голова, такая голова — министр.

— Ну, уж ты, Вукол, не поминай лучше своего Порфирыча, — вступалась бабушка Татьяна, — вот он где нам сидит...

— Сами виноваты, спасенная душа: не умели угодить, а Порфир клад, настоящий клад...

Молодых венчал, конечно, о. Крискент в только что отстроенной новой церкви, на которую Татьяна Власьевна когда-то по ночам таскала кирпичи. Народу было битком набито, а бабы точно сбесились и лезли в церковь как оглашенные. Брагинская семья еще раз сделалась предметом общего внимания, и в течение целой недели о ней толковал вкривь и вкось весь Белоглинский завод. Девушки завидовали дикому счастью Нюши, которая подцепила такого хвата жениха. В

церкви шепотом повторялись те замечания, какие сыплются дождем на голову жениха и невесты. Павел Митрич держался молодцом и все выпячивал грудь; Нюша стояла бледная как полотно, и венчальная свеча дрожала у ней в руках. После венчания в брагинском доме начался большой свадебный пир, на котором все гости перепились до безобразия и выкидывали самые дикие штуки. После раннего ужина молодых торжественно отвели в спальню, а гости остались кутить, причем началось настоящее безобразие, точно все перебесились. Особенно неистовствовали пьяные женщины, а больше других безобразила модница Алена Евстратьевна, бегавшая по комнатам с распущенными волосами. О. Крискент удалился от начавшейся вакханалии в благочестивом ужасе.

— На пол ставь чарку, на пол! — кричал пьяный Шабалин.

На средине пола поставили налитую вином серебряную чарку, и вокруг нее начался настоящий шабаш: женщины с распущенными волосами кружились, плясали, прыгали через чарку, мужчины ловили их и заставляли по очереди пить чарочку, припевая самые нецензурные песни. Алена Евстратьевна затянула визгливым голосом бесшабашную свадебную песню:

Как на стук-то, на безмен ли —
У нас тысяцкий не обмен ли?
Тысяцкой-то воевода как поехал воевать —
Среди печи на лопате,
С большим братом — со ухватом,
Со сестрою — кочергою:
Кабы серы кошки не подоспели,
То бы тысяцкого мыши съели...

В самый разгар этого дикого веселья толпа пьяных женщин ворвалась в спальню к молодым и с пьяным ревом вытащила оттуда рубашку новобрачной... Общий восторг вышел из всяких границ при очевидном доказательстве невинности невесты, и гости принялись колотить посуду, какая только попадалась под руку, а пьяные женщины затянули безобразную песню:

Ты, камочка, камочка моя,
Ты, камочка, да мелкотравчатая!
Не давалась ты развертываться
Ни атласом, ни бархатом,
Ни аксамату драгоценному.
Аксамат-то да волю взял —
Хрущатую камочку развернул,
Все узоры повысмотрел,
Все круги да позолоченые...

В доброе старое время, которое помнила еще Татьяна Власьевна, когда на рукобитье приносили жениху невесту, зашитую в куль из-под муки, тогда освидетельствование невинности невесты производилось прямо в спальне молодых, где плясали и бесновались до утра, а утром свахи, подняв рубашку новобрачной на высокий шест, тащили его по всем улицам в сопровождении всей пьяной толпы

свадебных гостей. На другой день молодые делали визиты, а потом был устроен большой стол. Пьянство и безобразие продолжалось то же, причем женщины превосходили мужчин своим диким неистовством.

Наконец и это безобразное пьянство кончилось, гости разбрелись и разъехались по домам, и молодые остались одни. Алена Евстратьевна тоже быстро скрутилась и укатила к себе в Верхотурье».

К с. 494 после описания «медового месяца» в рукописи следует несколько страниц, раскрывающих козни и махинации Косякова и Алены Евстратьевны:

«Бабушке Татьяне крепко не понравилось то, что Павел Митрич и сам стал выкушивать с гостями, даже очень заметно выкушивал. Раза два он возвращался из гостей совсем пьяный, хотя Нюша и скрыла это от бабушки, а когда она стала выговаривать мужу, он схватил ее за волосы и так оттаскал, что у бедной молодой искры из глаз посыпались... Знакомые у него были самые неподходящие: Шабалин, Володька Пятов, какие-то прииисковые забулдыги, все до единого шабашники и винопийцы, а разговор у них такой, что порядочной женщине и слушать совестно: кабак кабаком. Раз ночью Павел Митрич приехал из гостей совсем пьяный, и как Нюша его ни уговаривала ложиться спать, он не только не хотел ее слушать, а опять ее поколотил и очень больно, так что под глазом у ней всплыл настоящий фонарь. Татьяна Власьевна услышала, что Нюша о чем-то плачет, и вышла из своей горенки, чтобы посовестить зятя.

— Нехорошую ты моду завел, Павел Митрич, — степенно заговорила старуха, когда увидела пошатывающегося Павла Митрича. — До свадьбы говорил, что капли в рот не берешь, а теперь из гостей не выходишь. Разве это порядок? Гляди-ко, еще медового месяца не прошло, а жену до слез доводишь...

Косяков посмотрел на старуху воспаленными пьяными глазами и засмеялся, нехорошо таково засмеялся.

— Чему смеешься-то? — совсем озлилась Татьяна Власьевна. — Дело тебе говорят... Ишь, как глазки-то налил!.. Поди, с Вуколом все возжаешься, не нашел хуже-то. А того не думаешь, что вот, мол, старуха бедная, дай-ка лучше ей помогу, чем на ее счет проживаться. Пожили, повеселились, а теперь и домой пора отправляться, надо и честь знать. А у меня какие такие достатки, чтобы вас кормить задарма?.. Уж извини на скором слове: долго молчала, а тут не вытерпела. Не люблю в дому непорядка... Да ты чего зубы-то моешь?

Косяков слушал все время нравоучения с пьяной самодовольной улыбкой и, по-видимому, совсем не расположен был к покаянным чувствам.

— А как ты думаешь, бабушка, с чего я стал пить? Как это по-твоему-то выйдет? — спросил он в свою очередь.

— Уж это тебе больше знать, Павел Митрич... А я так полагаю, что обманул ты нас, и вся тут.

— Вот и неправда, старуха... А ты вот лучше послушай, что я тебе скажу. Был у меня дом в Верхотурье, было обзаведенье, капитал, а теперь ничего не стало...

— Што ты, Павел Митрич, Христос с тобой! В уме ли ты? — всполошилась Татьяна Власьевна, уж совсем не ожидавшая такого неожиданного оборота разговора.

— Я-то в уме, даже очень в уме... А не говорил этого тебе раньше потому, что тебя, старуха, жалел, да и жену тоже. С этого самого горя и водку стал пить.

— Да ты взаправду или шутишь?

— В самую истинную правду: вот все, что на мне, то только и осталось, а остальное — фюить!... Прахом все пошло...

— Как же это так... вдруг...

— А так... Брат у меня был... ну, он без вести пропадал лет десять, а пока мы здесь свадьбу справляли, он и объявись, да все мое имущество и захватил: и дом, и хозяйство, и капитал...

— Непутевое ты говоришь, Павел Митрич, как же это чужой дом да капитал захватить, ведь и начальство есть. Ну, взял, можно и назад свое воротить. Сам по судам ходишь, найдешь управу, знаешь все эти порядки.

— В том то и дело, что я знаю эти порядки, поэтому и хлопотать не буду, — все пропало. Дом-то достался от отца и хозяйство тоже, а брат говорит, что отец ему все по духовной оставил, и духовную объявил.

— Ну, а деньги? Деньги-то твои были, так их как он взял-то?

— Эх, старуха, старуха... И этого ты не понимаешь: деньги у меня были в конторке, а он как завладел домом, и деньги все захватил. Теперь поди, ищи с него. Ведь свидетелей не было... Я все и потерял из-за этой проклятой свадьбы!.. Из-за вас же и лишился всего богатства, а одних денег было больше 20 тысяч... А дом? А обзаведенье? В десять тысяч не укладешь, ежели считать.

Татьяна Власьевна, пораженная этим известием, бессильно опустилась на стул и как-то жалко заморгала своими старыми глазами, точно она не могла проснуться от какого-то тяжелого сна. Но потом, опомнившись, быстро вскочила со стула и, всплеснув руками, хриплым голосом закричала:

— Врешь, врешь, все врешь! Это тебя Аленка подвела! Это ее рук дело... это она, змея, всех обошла!.. Будь же она, змея, от меня проклята во веки веков...

Взбешенная старуха стала перед образами и повторила еще раз свое проклятие на модницу.

— А ты, старуха, это совсем напрасно... — смеялся Косяков, потирая руки от удовольствия. — Только печенку себе портишь. Алена Евстратьевна тут не виновата, а просто случай вышел такой... Ведь разорились же вы?..

— То другое дело, а ты врешь... все врешь. Это Алена-змея тебя подвела.

— Да ты не больно руками-то размахивай, старуха! — прикрикнул Косяков, перестав улыбаться. — Чего раскаркалась, как ворона перед ненастьем? Проживем как-нибудь, с голоду не помрем...

— Это на моей-то шее хочешь проживаться, аспид!.. А? Думаешь, я тебя буду кормить? Нет, милушка, завтра же отправляйся куда глаза глядят...

— Ну, это, старуха, дудки!! — решительно заявил Косяков. — Моя жена наследница этому дому, а ты у меня, значит, живешь вроде как на квартире: хочу держу тебя, хочу выгоню... Поняла теперь?

Нюша слышала этот разговор от слова до слова, но боялась показаться в горнице со своим синяком, чтобы окончательно не убивать бабушки. Молодая женщина не плакала, не убивалась, а сидела у себя неподвижно, как лунатик, и только вздрагивала всем телом, когда из горницы начинали доноситься усилившиеся крики. Слово за слово Татьяна Власьевна крепко рассорилась с зятем и в пылу увлечения даже плюнула в него.

— Постой ты у меня, старая крымза, я тебя еще выворочу!.. — ругался Косяков, подступая к старухе. — Я из-за вас все потерял...

Это открытие уложило Татьяну Власьевну в постель на несколько дней, а когда немного поправилась, к ней явилась Марфа Петровна; ее хоть и не пригласили на Нюшину свадьбу, но она не помнила зла. По круглому лицу этой сплетницы Татьяна Власьевна успела заметить, что она недаром прилетела, — видно, набралась каких-нибудь новостей. Сначала, конечно, потужили и поплакали о Гордее Евстратьиче, а потом перешли к молодым.

— Ну, что они у вас? — выпытывала Марфа Петровна.

— Да ничего пока, живут... Сбираются все в Верхотурье, да у Павла Митрича дела, — обманывала Татьяна Власьевна, не желая выдавать своей семейной тайны.

— А я, грешный человек, люблю посмотреть на молодых, — признавалась Марфа Петровна, — точно голубки, так и воркуют... А ваши-то, ваши — хоть картинку с них пиши! Не наглядятся друг на друга... Вчуже позавидуешь, хоть и грешно.

Эти хитрые речи отдавались в душе Татьяны Власьевны глухой болью. Неужели Марфа Петровна успела уже все проведать? Свое домашнее горе еще может износиться как-нибудь, а уж когда оно выйдет да пойдет гулять по улицам — тогда все кончено. Смутное сознание говорило старухе, что это она погубила Нюшу, которая совсем не хотела выходить за Косякова. И как это она поддалась змее подколодной Аленке... Видно, на грех мастера нет.

— Горденька у вас Алена-то Евстратьевна, даже очень горденька, — продолжала Марфа Петровна. — По суседскому делу живем, а нас и на свадьбу не позвали. Ну, тогда заворотила наших сватов — мало ли, с кем греха не бывает, а Сила Андроныч с Пелагеей Миневной даже давно все позабыли. И теперь нисколько не сердятся, потому как все это устроила Алена Евстратьевна. Меня нарочно послали проведать вас, потому слышим, что вы скудаетесь здоровьем-то...

«Ох, чего-нибудь насчет модницы пришла благовестить!» — думала со страхом Татьяна Власьевна, прислушиваясь к болтовне словоохотливой Марфы Петровны.

Действительно, перемыв косточки всем знакомым, Марфа Петровна с соболезнованием проговорила:

— А уже про вас, Татьяна Власьевна, разговоров-то, разговоров сколько ходит по Белоглинскому — и не переслушаешь...

— Да чего об нас говорить-то: живем тихо, никому не мешаем...

— Ох, и не говорите! Такое болтают, такое болтают... У Колобовых, у Савиных, у Шабалиных — как в колокола звонят...

— Да чего болтают-то, говори толком, Таранта Егоровна?

— Разное болтают, разное, голубушка Татьяна Власьевна... Все в один голос про Алену-то Евстратьевну вашу кричат, будто как она подвела вам женишка не совсем ладно. У Павла Митрича, слышь, в Верхотурьи-то ни кола ни двора, а проживался он где день, где ночь... И ремесло у него было несообразное: оскорблением питался, ей-богу... Придет куда в компанию побогаче, задерет какого-нибудь купца, тот Павла Митрича в ухо, а Павел Митрич к мировому, и за оскорбление свое получит. Ей-богу, не вру, вот сейчас провалиться! А тут как пошли про вас слухи, что будто вы деньги таите Гордея Евстратыча, Алена-то Евстратьевна и затосковала об этих деньгах: взять охота, а толку нет. Вот она и придумала штуку: позвала Павла Митрича и сказала ему, что если хочет он жениться на богатой невесте, то она ему ее предоставит, только чтобы половину денег он ей отдал. Пав-

лу-то Митричу на голодные зубы это даже очень понравилось: и невеста-красавица, и денег половина. Только вот одежи у Павла Митрича не хватило, так Алена-то Евстратьевна на свои денежки его разодела: и сертук ему справила, и всякое прочее, даже такие вещи, про которые совестно посторонней девушке выговорить... А часы да кольца с супериками — это опять напрокат где-то добыли. Павлу Митричу все это и на руку, а чтобы он не омманул, Алена Евстратьевна вперед взяла с него вексель...

От этих речей у Татьяны Власьевны выступил холодный пот на лбу, — так все это было правдоподобно. Старуха чувствовала, как вся холодела от костей до волос.

— Да, может, ты врешь, Марфа Петровна? — проговорила она наконец. — Откуда это тебе знать-то... Сама придумала и говоришь.

— Да я то ли знаю, Татьяна Власьевна... Слухом земля полнится. Вы вот думаете, что все шито и крыто, а Павел Митрич как напьется, так сам все и рассказывает. У Шабалиных недавно всех чуть со смеху не уморил: так все и покатываются, подхватив животики... Ей-богу! Это он рассказывал, как вам объявлял свою несостоятельность, что будто дом у него брат захватил, а деньги двадцать тысяч были в конторке... Вуколу-то Логинычу так эта штука понравилась, что он сейчас же вынул из кармана трехрублевую бумажку и отдал ее Павлу Митричу. «Утешил, — говорит. — Только, говорит, ты мне расскажи, как ты из спасенной души деньги будешь добывать...» Порфир Порфирыч тогда сидел в гостях у Шабалина, Липачек, Плинтусов — все так и покатываются, а Павел-то Митрич и говорит: «Сама, говорит, отдаст, все денежки отдаст сполна... Я слово такое знаю!». А уж какое он слово знает — не сказал.

Марфа Петровна давно точила зуб на Алену Евстратьевну за неудачное сватовство и теперь с особенным удовольствием выводила модницу на свежую воду. Нужно заметить, что на этот раз она решительно ничего не прибавила от себя, а рассказывала только то, что происходило в действительности. Алена Евстратьевна и Павел Митрич были только тем, чем они были на самом деле. Стоустая молва, как сочившаяся вода, вынесла на свет божий неведомыми никому путями все то, что знали только они двое».

К с. 494 после слов: «и выслушивала мольбы внучки совершенно равнодушно» —

«Слухи о подвигах Косякова стали ходить с такой настойчивостью, что о.Крискент принужден был вмешаться в это дело и принял свои энергичные меры. Он пригласил к себе Павла Митрича, запер осторожно все двери и с подавленным вздохом заговорил:

— Давно я хочу с вами побеседовать, Павел Митрич, как бы отец с сыном... Это наша обязанность...

— С удовольствием, о. Крискент, — с развязностью отвечал Косяков, поправляя крахмальные воротнички. — В чем дело?

Спокойствие Косякова несколько озадачило о. Крискента, и он смущенно пробежал рукой по своим пуговицам и даже перепутал петли, так что одна пола вздернулась совсем кверху, точно он собрался переходить через лужу грязи.

— Павел Митрич, вы взяли на себя священную обязанность составить счастье одинокой сироты... — начал о. Крискент, продолжая испытывать то же смущение. — Я говорю об Анне Гордеевне. А между тем ваши поступки показывают против-

ное... Я устрашаюсь назвать настоящим именем ваше поведение, Павел Митрич, и надеюсь, что мы понимаем друг друга.

— Хоть убейте, о. Крискент, решительно ничего не понимаю...

Закурив папиросу и поправив волосы, Павел Митрич принял позу слушающего человека, любуясь смущением ерзавшего на стуле пастыря. Собравшись с духом, о. Крискент наконец обличил своего духовного сына во всем, даже в самом «неудобосказуемом». Духовный сын выслушал обличение с прежним спокойствием и даже не моргнул бровью, точно речь шла о каком-нибудь третьем лице.

— Я соединил вас священнейшими узами, и я должен отвечать пред Богом за все, — заключил свою речь о. Крискент, задыхаясь от волнения. — Ваше спокойствие меня поражает...

— Все?

— Да, все... Нет, еще: ваши поступки имеют целью выудить от почтеннейшей старушки те деньги, о которых толкует глупая молва, — но об этом после...

— Мне, о. Крискент, от души жаль вас, — спокойно ответил Павел Митрич, стряхивая пепел с папиросы. — Именно жаль, потому что вы вдвойне несправедливы... Во-первых, кто видел, что я дурно обращаюсь с женой? Никто... Злые языки из зависти клевещут на меня и вводят вас в соблазн. Это раз. А затем допустим, что я действительно делаю все то, о чем вы говорите сейчас, — что из всего этого проистекает? Как наш отец духовный вы не должны были расстраивать нашей семейной жизни, а если и были бы маленькие семейные недоразумения, какие бывают в каждой семье, ваша прямая обязанность не раздувать этих недоразумений, а умиротворять.

— Я и желаю умиротворить...

— Нет, вы восстанавливаете против меня жену, за что и ответите перед Богом и перед законом гражданским. Что такое муж и жена по нашему русскому закону? Жена должна во всем повиноваться своему мужу — вот главное правило, значит — повиноваться даже тогда, когда муж несправедлив к ней. Поэтому закон и не признает обид и оскорблений между супругами. Вы обвиняете меня в истязаниях жены с целью вымогательства — хорошо, спросите мою жену сами и тогда убедитесь в собственной клевете, за которую я буду вас преследовать уголовным порядком. Вы посягнули на неприкосновенность семейного очага и ответите как гражданин и как пастырь... Одним словом, я с вами рассчитаюсь так, что вам небо с овчинку покажется. Да...

— Что же, я готов пострадать за правду... — смиренно соглашался о. Крискент, лихорадочно застегивая и расстегивая пуговицы подрясника.

— Но прежде я вам доставлю случай поговорить с моей женой, чтобы вы своими глазами убедились в собственной несправедливости. Вы бы сообразили хоть то: если бы у вас была жива ваша жена, разве вы стали бы ее мучить? Конечно, нет, потому что и по Священному Писанию муж и жена плоть едина, а кто же станет истязать свою плоть... Закон все предвидел, а вы посягаете на самый закон. Муж глава дома — вот что гласит закон. Наконец, вы повторяете за другими клевету, что я истязую жену, но ведь она живой человек и давно бы убежала от меня... Когда Гордей Евстратыч хотел изнасиловать сноху, разве она не убежала от него?

— Павел Митрич, не будем тревожить покоя мертвых...

— Виноват, о. Крискент, но меня возмущает клевета и несправедливость, и я сам делаюсь несправедливым.

«Может быть, он и действительно не виноват...» — усомнился о. Крискент, целую жизнь двоившийся в мыслях.

Житейская суета постоянно повергала о. Крискента в эту двойственность, он гнулся и семо и овамо, блуждая со своей примирительной политикой. Духовные овцы, обуреваемые волчьими страстями и инстинктами, огорчали постоянно своего пастыря, даже до разделения. Этот, например, Пашка-ратник никак не хотел выходить из птичьей головки о. Крискента и мучил его, как страшный призрак. А что если он, о. Крискент, действительно напрасно его оскорбил? Может быть, Косяков честнее других и терпит от зложелательства своих врагов? Перебирая обстоятельства дела, бедный о. Крискент даже обливался холодным потом при мысли, что вдруг Косяков потянет его и в преторию Пилата, и к первосвященнику Анне... Консистории о. Крискент боялся, как самый благочестивый запуганный человек боится кромешного ада, который, по толкованию Филаретовского катехизиса, есть «место, лишенное света», а что может быть хуже такого места. В одну из таких трудных и грустных минут, когда о. Крискент переживал родильные муки своего разделения, к нему в кабинет вошла кухарка и нерешительно почесала свою широкую спину.

— Что тебе нужно? — спросил о. Крискент, опуская руку в глубокий карман подрясника, где лежал у него маленький бисерный кошелек с сребрениками.

— К вам пришли от Брагиных... — глухо ответила кухарка, переступая с ноги на ногу, как только что подкованная лошадь...

— Да кто пришел? Никогда не умеешь сказать толком, — возроптал о. Крискент, быстро поднимаясь со своего места и направляясь своими воробьиными шагами в переднюю.

В передней о. Крискент заметил какую-то женщину, которая стояла, прислонившись к стенке. Всмотревшись в лицо гостьи, о. Крискент бросился вперед, простирая руки.

— Анна Гордеевна, вас ли я вижу? — возгласил о. Крискент и попятился назад как пораженный громом.

Это была действительно Нюша. Она с трудом держалась на ногах и, отделившись от стены, сейчас же потеряла равновесие, так что о. Крискент должен был поддержать ее от падения, при чем он еще раз должен был убедиться в той печальной истине, что Анна Гордеевна была пьяна. Да так пьяна, что от нее разило вином на целую комнату. А лицо покрылось румянцем, большие глаза горели лихорадочным блеском... Нюша силилась сохранить равновесие и улыбалась растерянной убитой улыбкой совсем пьяного человека.

— Анна Гордеевна, это не вы... Нет, не могу верить. Я ошибся, — лепетал о.Крискент, усаживая гостью на тот диванчик, на котором когда-то с ним беседовала о жилке Татьяна Власьевна.

— Я... пришла вам сказать, — тяжело выговаривала Нюша, поправляя сбившийся на голове платок. — Павел Митрич меня не бьет, нет, я счастлива... Это так, пройдет... Напрасно про меня болтают... я совсем счастлива...

— Дитя мое... — шептал о. Крискент, заливаясь слезами. — Что я вижу?. Господи, и я еще мог сомневаться... Изверг, изверг, изверг! О, я первый подниму руку на вашего мужа... Подниму против него всех...

— Я... я счастлива... он меня любит... — повторяла бессмысленно Нюша те фразы, которые несла с собой из дома, как несет ребенок разбитые черепки дорогой единственной игрушки своему отцу.

Беседовать с такой гостьей было совершенно бесполезно, и все, что о.Крискент мог предложить для нее, это стакан холодной воды, немного освежившей ее. Оглядевшись кругом, Нюша точно проснулась и с ужасом умоляющим голосом прошептала:

— Отец Крискент... ради бога не трогайте его!

— Не трогать изверга и человекоубийцу? О нет, Анна Гордеевна, меня покарает Бог... я буду хлопотать, настаивать, умолять, плакать, но вырву вас из рук этого злодея.

Этот энергичный ответ заставил Нюшу задрожать.

— Он меня убьет... вы его не знаете, о. Крискент, — проговорила она чувствуя, как все перед ней крутится, а о. Крискент шатается вместе с полом. — Убьет...

Напаивать Нюшу водкой было последней штучкой Павла Митрича. Так как добровольно Нюша не хотела пить водку, то он связывал ее полотенцами и вливал водку в рот насильно, как заставляют упрямых детей принимать лекарство. После нескольких опытов бесполезного сопротивления Нюша начала пить водку беспрекословно и даже нашла, что водка ее облегчает. Над пьяной женой ратник проделывал новые мерзости, потешаясь, как сумасшедший над деревянной куклой. В ответ на увещания о. Крискента он послал ему пьяную жену»;

с. 495 после слов: «Домой вернулся Косяков точно в тумане» —

«— Ну, теперь старуха у меня не так запоет! — решил Павел Митрич. — Я ей покажу... Что вы раньше мне этого не сказали, Варвара Тихоновна, да я бы их всех в один узел завязал и старуху, и о. Крискента, и Пазухиных. Они у меня запоют матушку-репку... Отлично! Меня обманывать... Ха-ха!

Вернувшись домой, Косяков никому не сказал ни слова, а только бегал по комнатам, точно отыскивая, не спрятался ли кто. Нюша почувствовала накатывавшуюся грозу и забилась с работой в тятенькину горницу.

— Анна Гордеевна, позвольте спросить... — заговорил Косяков, врываясь к ней. — Да что тут говорить...

Он со всего размаху ударил жену по лицу, а затем, схватив за косы, потащил по полу на бабушкину половину. У Нюши изо рта и из носа хлынула кровь, но она не издала ни одного звука от страшной боли и тащилась по полу, как мертвая. Это молчание еще сильнее взбесило Павла Митрича, и он дал жене несколько здоровенных ударов ногой, так что где-то хрустнули кости.

— Эй, старая крымза, выходи! — кричал Косяков, втаскивая Нюшу за волосы прямо в бабушкину горенку. — Вы меня обманывать... А? Я все знаю... Я и любовнику все ребра переломаю...

Татьяна Власьевна стояла у окна и тряслась как в лихорадке, не понимая, что происходит перед ней. А Косяков, устав таскать жену за косы, принялся ее топтать ногами и бил своими ужасными кулаками по чему попало. Нюша наконец не вытерпела, и бабушкины горницы огласил неистовый отчаянный вопль... В это время Татьяна Власьевна успела выбежать на улицу и разбитым старческим голосом кричала: «Караул, ой, убил... караул, караул, караул!». На ее крик высыпала вся пазухинская семья, и Сила Андроныч, как был в одной рубашке, так и бросился в горницы.

— Что ты, душегуб, делаешь? — заорал старик, завидев издали сцену страшного побоища.

— А... тебя-то и надо, старого черта! — отозвался Косяков и, повернувшись, со всего размаху ударил Силу Андроныча по уху.

Этим приемом старый боец не смутился и накинулся на ратника с ожесточением раненого медведя. Произошла страшная свалка. Силе Андронычу хотя было под шестьдесят, но он недаром уносил когда-то круг о Николине дне: через пять минут он уже сидел на ратнике верхом и трепал его, как треплет коршун свою добычу.

— Постой, душегуб, я тебя уважу... — кричал расходившийся старик, одной рукой схватив ратника за горло, а другой нанося ему страшные удары по лицу. — Ты думаешь, двухголовый разбойник, что на тебя и суда нет... Кровь чужую пьешь... Я тебя задушу, палача!

На этот скандал сбежалась вся Кедровская улица и даже сам о. Крискент, который едва рознял дерущихся.

— Душегуб... палач... — хрипел Сила Андроныч, поправляя на себе разорванную ратником рубашку. — Моли Бога, что живого оставил...

— А вы сводничаете своему Алешке! — кричал Косяков, поднимаясь с пола. — Я сейчас пошлю телеграмму губернатору, вы меня хотели убить вдвоем... А из тебя, старый хрыч, я еще всю пыль вытрясу!..

— Из меня?.. Пыль?.. — с этими словами Сила Андроныч опять ринулся было на ратника, но был остановлен схватившими его за руки и за ноги женщинами, которые голосили и причитали на три улицы.

А Косяков без шапки, в разорванной рубашке и с окровавленным лицом бежал прямо к Плинтусову с просьбой о защите. Через четверть часа Плинтусов явился в брагинский дом с четырьмя казаками и составил подробный протокол «о покушении на убийство отставного канцелярского служителя Павла Косякова купцом 2-й гильдии Силой Пазухиным, совместно со священником Белоглинского завода Крискентом Парадисовым».

Были отобраны и записаны свидетельские показания, а Силу Андроныча Плинтусов велел казакам отвести в холодную.

— Прибежали ко мне в дом... — кричал Косяков. — Давай меня бить... Поп меня за горло держит, а Пазухин гирей колотит прямо по голове... Они бы меня убили, если бы я не вывернулся... Они все против меня... жену отбивают для Алешки Пазухина. Я муж... я хозяин своему дому. Моя жена развратничает с Алешкой Пазухиным, а я не смей слова сказать... я... я...

Нюшу снесли на постель замертво, и она избавилась от новых побоев только тем, что еле дышала. Плинтусов просидел до самого вечера, пил водку и, прищуривая свои сорочьи глаза, все утешал разбитого друга.

— А я Пазухину велел своим казачкам всыпать, сколько влезет, — рассказывал Плинтусов на прощанье, — а эти бестии изобьют человека до полусмерти, а на всем теле хоть бы одно пятнышко... Ты это поимей в виду, а то вон какую котлетку из жены сделал: не подвернись я, прямые улики налицо.

— Вздор... Отлежится, как дохлая кошка, так я ей еще прибавлю да еще не так. Вот попа-то, попа-то нам подтянуть вместе с Пазухиным.

— И попа подтянем... Вот Шабалин похохочет над протоколом, а потом Липачек судить будет. Ха-ха... Только вот что, дам тебе один совет: не задевай стари-

ка Пазухина, не ровен час, он и в самом деле голову оторвет — вон какой медведь...».

К с. 496 дополнительные детали и мотивы при изображении усилий Зотушки защитить Нюшу:

«У Зотушки была идея отправить ратника на тот свет при помощи Пестеря и Кайла, притом так отправить, что и комар носу не подточит. Именно, источник обещал сто рублей, если они так отколотят Косякова, что он не встанет больше. Можно это сделать и тайком, и прямо, как случится: прямого убийства не будет, а за побои высидка на три месяца — только и всего. Даже никто бы и не узнал ничего. Этим путем много хороших людей на тот свет отправлено, в том числе и штейгер, которого убил Маркушка; в данном случае Зотушка брал грех на себя, и Пестерь с Кайлом могли поучить ратника со спокойной совестью. Этот план был задуман источником давно, чтобы спасти племянненку, но привести его в исполнение у Зотушки рука не поднималась: живой человек ведь и ратник, и в ем христианская душа, а крови источник боялся больше всего на свете, потому что она всегда скажется и выйдет непременно наружу, как ни хорони, как ни крой ее. Вот если бы просто выжить ратника, тогда дело другое... С самой свадьбы Нюши источник крепко невзлюбил Павла Митрича, поэтому и не показывался домой, хотя все время неустанно следил за ним. Часто по вечерам бродил Зотушка вокруг батюшкова дома и забирался во двор, подсматривая и подслушивая, что делается в горницах; он раньше других разгадал несчастную судьбу Нюши и горько оплакивал ее про себя. Показываться к ней на глаза он не желал, чтобы напрасно не опечалить ее старыми воспоминаниями. Слухи о штучках Павла Митрича только подтвердили то, что знал Зотушка, и он тогда решил избыть ратника во что бы то ни стало, а то он изведет племянненку. Но как избыть — этот вопрос оставался открытым до самого последнего времени, когда Зотушка решил, что ждать больше нечего и придумать ничего нового тоже нельзя. Крестовый поход, поднятый о. Крискентом, все равно не приведет ни к чему, а Нюша вон лежит в постели как пласт вторую неделю, и еще неизвестно, встанет ли после побоев Павла Митрича.

Несколько раз Зотушка назначал уже время Пестерю и Кайлу, когда поучить ратника, именно, когда он пьяный возвращается ночью от Шабалина, но каждый раз его что-то удерживало от этого преступления. Дня три назад, когда Зотушка угощался у Спирьки с Кайлом и Пестерем, его вдруг осенила счастливая мысль, как избыть ратника без напрасного пролития крови. Он никому не выдал своего секрета, а своих сподвижников удерживал пока в Белоглинском на всякий случай, если его штука не удастся. Прежде всего, ему нужно было поближе сойтись с самим Павлом Митричем, на что Зотушка и решился, хотя у него воротило с души при одной мысли о душегубе и кровопийце.

— Ох, кругом шестнадцать, как бы только не провраться... — думал пьяный Зотушка, когда, простившись с Пестерем и Кайлом, от спирькина кабака шагал к батюшкову дому. — Угодники, бессребреники... мать пресвятая владычица... упасите и помилуйте раба грешного и недостойного».

К с. 499 в рукописи Зотушка сам рассказывает Татьяне Власьевне историю похищения денег:

«Появление Зотушки и его пьянство с ратником сильно встревожило Татьяну Власьевну, которая теперь начала бояться всего на свете, бояться тупым страхом

безумного человека. На другой день вечером, когда она что-то прибирала у себя под иконостасом, Зотушка зашел к ней в горницу, едва держась на ногах.

— А я проведать тебя, мамынька, зашел... — заговорил он и потихоньку хихикнул себе в руку. — Слышишь, мамынька... как ты поживаешь?..

— Ничего, поживаю, а ты чего зубы-то моешь, пропоец? — озлилась Татьяна Власьевна. — Где шатался да пировал до экой поры?

— Ох, мамынька, прости ты меня, дурака... — говорил Зотушка, бросаясь в ноги старухе. — Замотался я...

— Ну, Бог простит... Да ты, в самом-то деле, чего это? Ошалел?..

Зотушка сел на полу, сложив ножки калачиком, и опять захихикал, обидно так захихикал тоненьким голоском, точно оборотень, а у самого слезы по лицу бегут в три ручья.

— Ты у меня подури... — совсем рассердилась старуха, отыскивая лестовку. — Вот ужо я тебя лестовкой полосовать зачну...

— Мамынька... с радости! Голубушка... с радости. Хи-хи!.. Ты только послушай меня, чего я тебе скажу... Сколько лет у нас вздор идет в семье, а теперь вон весь Белоглинский на ноги подняли... Так! А самим-то больше всего достается... Нюшенька горюшка натерпелась, горя-то и тебе перепало... Обижал ратник-то?

— Ох, обижал!.. — вспомнила Татьяна Власьевна. — Денег все требует, а какие у меня деньги, милушка... Ты уж объясни ему, Павлу-то Митричу, а то он совсем одолел меня...

— Я уж объяснил... все объяснил, мамынька!

— А он поверил?

— Как же, сразу поверил... Кругом шестнадцать сделал! Вы вот тут вздорите, а я сразу всех замирил... Да! Слушай, мамынька, я тебе одну маленькую штуку покажу... Ох, хороша штучка!

Посмеявшись и покачав головой, Зотушка вынул из-за пазухи что-то завернутое в измятую бумагу; он осторожно развернул ее и, показав издали матери кусок кварца, проговорил:

— Мамынька, гли-ко... Узнала?

Всмотревшись в кусок кварца, Татьяна Власьевна глухо взвыла, как животное, которому делают операцию: она узнала «скварец» Маркушки и опрометью бросилась из комнаты во двор, где были спрятаны деньги вместе с «жилкой», как отдал тогда ей сам Гордей Евстратыч. Деньги она хоронила по всему дому, а в последний раз запрятала их в ларь из-под овса, запертый тяжелым замком; теперь замок был сломан, и денег в ларе не оказалось. С невероятной быстротой старуха вернулась в комнату и напустилась на Зотушку с неистовыми воплями, криком и проклятиями.

— Деньги... деньги... воры! Ограбили, убили... — неистовствовала Татьяна Власьевна, наступая на Зотушку. — Отдай... в узелочке были... Караул!! Ограбили...

— Мамынька, Христос с тобой, да ведь у тебя не было денег... не кричи попусту, а послушай, што я тебе скажу. Ох, хорошую штучку устроили: кругом шестнадцать... Ратник теперь... хи-хи! далеко теперь ратник наш закатывает, только колокольчики говорят: динь-динь-динь... Да перестань реветь, говорят тебе, я по порядку все обскажу. Ну, слушай, а то уйду... Ты радуйся да благодари меня, што я душу твою спас: ведь совсем тебя погубили деньги-то, да и всех — и братца

Гордея Евстратыча, и Феню, и Нюшу, и Михалку с Архипом... Ох, греха, греха от этой проклятущей Маркушкиной жилки: всех помутила, всех бесу отдала... Чужие-то сбесились из-за нашего золота! Ну, а ратник всех солонее пришелся... Вот я и придумал, как его изжить. Ежели ему деньги так отдать, он бы еще хуже нас донял... Ну, я штучку и придумал! Хи-хи... Недель с шесть я тебя доглядывал, куда ты деньги прячешь, — и выглядел... Мне все надо было, чтобы под запором они были. Как ты в ларь-то их спрятала, я и подвел ратника, чтобы он со взломом кражу сделал... Хи-хи! Сам ему помогал ломать-то... Он денег потом пять целковых давал мне в награду, да я не взял: выпросил вот я жилку Маркушки на поминок... Теперь ратник далеко летит: с денежками, как на крылышках, а сюды не посмеет и носу показать, потому за кражу-то со взломом в Сибирь... Хи-хи! Всех прекратил, как водой залил: теперь уж незачем и о. Крискента судить, и Силу Андроныча... Кругом шестнадцать. А главное, мамынька, племянненку я выручил... Голубушку-то мою, Нюшеньку... Мамынька, не плакать надо, а радоваться: от злого зла мы избавились... все избавились... Господь меня просветил...

Под эту бессвязную речь Татьяна Власьевна понемногу присмирела, замолкла, а потом погрузилась в какой-то столбняк... А Зотушка ползал пред ней по полу, хихикал и рассказывал, как он изжил ратника и как всучил ему Маркушкины деньги.

— Обрадовался он, мамынька, как схватил деньги-то... сильно обрадовался — так и вцепился, как ястреб, а того не понимает, што свою погибель схватил... Хи-хи! Вот оно как, мамынька... Ох, грехи, грехи... Ратнику жилка — самое подходящее, может, она его и доймет... ох, как еще доймет-то!».

К с. 499: в рукописи ГАСО роман завершается следующей сценой:

«Ровно через год по едва заметной лесной тропинке подымались в гору два странничка, каких на Руси можно встретить в каждом углу. День выдался знатный, горячий, в раскаленном воздухе висела тяжелая истома, кругом все было тихо, как ночью, — не шелохнет трава, не пролетит птица, не проскачет серый зайка. А хорошо, привольно кругом: без конца краю горы, лес стеной, шелковая травушка с лазоревым цветом, а сверху глядится бездонное голубое небо с белыми облачками... Только вот в гору тяжеленько подыматься — дух захватывает, ноги начинают дрожать, в голове кровь стучать, но страннички идут вперед, мерно взмахивая длинными палками и не вытирая пот, который катится по их лицам. Впереди шел сгорбленный старик, наш старый знакомый Зотушка, а за ним подвигалась из шага в шаг племянненка Нюша, одетая в изгребный синий сарафан и повязанная большим темным платком по-раскольничьи. Котомки за спинами говорили о далеком пути и немалом времени.

— Отдохнем малость, здесь... — проговорил Зотушка, когда они вышли на маленькую каменную площадку, с которой открывался великолепный вид на зеленые горы и спрятавшийся между ними Белоглинский завод...

Нюша покорно остановилась и посмотрела назад, туда, где в синевато-зеленой дали пестрели белоглинские домишки... Она никогда больше не вернется туда, где столько зла и неправды, хотя сердце так и ноет у ней, точно хочет разорваться. Но это было только минутной слабостью, а затем Нюша быстро отвернулась, чтобы скрыть от Зотушки навернувшуюся слезу. А источник не замечал ее, в пос-

ледний раз глядя на родное гнездо и еще раз переживая все, что там осталось... Господи, помоги только все замолить!.. И за братца Гордея Евстратыча, и за голубушку Феню, и за баушку Татьяну, которая еще жива, но ослабела умом, как малое дитя, и за Маркушку, даже за грешную душу сгоревшего от вина Павла Митрича — за всех надо молиться Господу... Вон у Господа-то сколько простору, сколько воли, сколько неизреченной благодати, а нам все мало, везде тесно!.. Да... А лицо Зотушки такое светлое, глаза смотрят ясно и глубоко, как у ребенка, потому что светло и тихо на душе, точно он несет в ней эти зеленые горы, и голубое небо, и красное солнышко.

Там, внизу, где прячется Белоглинский завод, — все кончено и все порвано... Вчера вечером Зотушка истолк в порошок Маркушкину жилку и с молитвой всыпал ее в церковную кружку — то-то удивится о. Крискент, когда будет распечатывать ее. Вчера Нюша отказала Алексею Пазухину выйти за него замуж, потому что решила уйти с Зотушкой в далекие шабалинские скиты. Далеко идти — в сотню верст не укладешь. Но хорошо идти в эту мать зеленую пустыню, где все покой, все воля, все — слава Божия...

Умиленный и растроганный, Зотушка запел свой любимый стих, который так подходил к его положению:

И-идет старец пооо — дорооооге-е...».

Варианты к повести «Максим Бенелявдов»

В Государственном архиве Свердловской области хранится рукопись Д.Н.Мамина-Сибиряка под названием «Нимфа» (ф. 136, ед. хр. 91). Это первое название повести «Максим Бенелявдов», под заглавием «Нимфа» повесть была предложена журналу «Вестник Европы» в 1882 году. Журнал отказался печатать произведение, написанное будто бы «в новейшем вкусе Золя». Вторично повесть была отправлена писателем в журнал «Дело», где она появилась одновременно с романом «Приваловские миллионы» в 1883 году № 2, 3 под подписью М-ин и уже с заголовком «Максим Бенелявдов». С тех пор она не печаталась вплоть до 1980 года, когда была опубликована И. А. Дергачевым в книге «Д.Н.Мамин-Сибиряк. Очерки и рассказы. 1880-1883 гг.» Свердловск. 1980. Сопоставление окончательного текста повести с рукописью, хранящейся в ГАСО, обнаруживает существенные исправления (главным образом за счет сокращения текста), внесенные в произведение писателем, а возможно, и редакцией журнала «Дело». Ниже приводятся варианты текста рукописи сравнительно с каноническим текстом: сначала отмечены страницы публикуемого нами канонического текста, а затем текст рукописи.

С. 502 после слов: «на большом городском кладбище» — «Сядет отставной в свое наследственное кресло, выпустит несколько густых клубов табачного дыма и смотрит на улицу»;

с. 503 вместо: «Голубятник чуть свет подымется на свою ветхую крышу» — «Итак, бывало, чем свет подымется голубятник...»;

с. 504 после слов: «Скука начинает одолевать обоих соседей» — идет следующий текст, позднее зачеркнутый:

«— Все подлецы, — гудит хриплым басом из своего окна Пузырев.

— Варнаки!.. — звонким тенором отвечает голубятник с крыш. — Все варнаки.

— Жидоморы... бестии... — бурлит Пузырев, насасывая свою трубку с таким ожесточением, что она начинает хрипеть, точно кто душит ее за горло.

— Амозники, прохири... А подлее всех крапивное семя.

— Вре-ешь! — ухнет Пузырев»;

с. 505 вместо: «В один из таких послеобедов» — «В одно из таких после-обеда»;

с. 506 вместо: «У Пузырева в брюхе особенная механика заведена» — «У Пузырева в брюху особенная механика заведена»;

с. 508 вместо: «Ах! Маратели однобокие» — «Ах, сакатели однобокие»;

с. 509 после слов: «Из которого не вышел бы» — текст, позднее зачеркнутый: «Я люблю такие маленькие комнаты, в них как-то легко чувствуется на душе, потому что чувствуешь, эта милая, изящная простота так же далека от подавляющего влияния богатства, как и от бедности»;

с. 509 после слов: «в слишком порывистых движениях» — «и в застенчиво-счастливой улыбке, освещающей все лицо чисто детским выражением»;

с. 509 после слов: «Настоящая нужда в тысяче форм» — вместо: «или, может быть, забота о безотрадном будущем» — «или, вернее сказать, забота о безотрадном будущем»;

с. 509 после слов: «относилось к новому жильцу» идет следующий текст, позднее зачеркнутый: «а главным образом было вызвано словами отца относительно протопопицы. Девушка давно привыкла к желчным выходкам отца и не обращала на них никакого внимания, но одно имя протопопицы портило целый день. Ей хотелось плакать и вместе с тем какая-то глухая злоба охватывала молодое сердце. Девушка не могла не чувствовать в эти минуты, что она по преимуществу жертва приличной бедности, той бедности, которая, как вода, просачивается через малейшую скважину и наполняет собой все. Синонимом этой бедности являлась протопопица»;

с. 510 вместо: «строго проговорила Любовь Павловна» — «... Надежда Павловна»;

с. 511 после слов: «Ведь лебедь белая ты у меня, барышня-красавица» — текст, позднее зачеркнутый: «Эти размышления Матрены вслух сильно задевали за живое Надежду Павловну, которая подозревала, что Матрена как будто намекает на что-то другое, кроме примера чиновницы из Болотной улицы. Иногда девушке казалось, что Матрена знает что-то, и одна мысль об этом кидала ее в дрожь, потому что Надежда Павловна не была неопытна, но слишком хорошо понимала, что день, в который Матрена узнает все, — будет последним ее днем в отцовском доме. И теперь эта мысль бросила девушку в лихорадку. Поработав немного с каким-то завалявшимся шитьем, Надежда Павловна с закрытыми глазами повалилась на свою девичью постель и молча глотала немые слезы.

— Господи, что я за несчастная такая уродилась! — думала девушка, — хоть умереть бы мне.

История Любы Пузыревой очень недлинна, как, вероятно, тысячи других таких же кисейных барышень»;

с. 511 вместо: «успел обратить на себя внимание» — «успел обратить на себя благосклонное внимание»;

с. 513 после слов: «Чтоб черт ее побрал вместе со всеми ее деньгами» — «А денег много у ней»;

с. 515 вместо: «Благодаря этому именно визиту к протопопице, Люба в первый раз испытала, что такое чувство унижения» — «Странно, в этот именно визит к протопопице Люба первый раз испытала, что такое чувство унижения»;

с. 515 после слов: «и на детском лице легла первая тень» — «Мысль, что у нее не было матери, теперь больше всего огорчала Любу; девушка чувствовала большую сильную потребность в женской ласке, в слове утешения, в сочувствующем взгляде, чего отец не мог дать ей.

— Мама, мама... — шептала одинокая девушка, зарывая голову в подушках. — Зачем у меня нет мамы... У всех есть мамы, у меня одной нет. Мама, мама...»;

с. 520 после слов: «Все высосет, пока до владыки допустит...» —

«— Па-адлец!..

— Это еще что!.. — возразил Илюха и, осторожно оглядевшись кругом, прибавил вполголоса: — Алешка-то нимфу завел.

— Какую нимфу?

— Ну... мы наложниц нимфами называем. Весьма любострастен.

— Ах , он... — Пузырев выразился немного нецензурно и, в свою очередь, тоже не менее конфиденциально сообщил Илюхе свою историю с генералом. — Это как, по-твоему, будет? — спрашивал он в заключение. — Павел Пузырев пострадал за правоту... да! Вот подлецы...»;

с. 523 вместо: «Матрене, может быть, и по вкусу...» — «Матрене, должно быть, по вкусу такое пение!».

Далее идет не вошедший в окончательный текст и большей частью зачеркнутый отрывок: «В комнату ворвалась жаркая волна свежего ночного воздуха — Люба вдохнула всей грудью, точно стараясь что-то стряхнуть с себя.

По-детски положив голову на сложенные ладони рук, девушка смотрела на представлявшуюся из окна слишком знакомую ей картину. Вот зеленая стена кладбищенского леса, из которого стройными силуэтами и воздушными стрелками поднимались кверху ели и пихты; лунный свет покрывал все серебряной паутиной, золотой звездочкой горел на кресте кладбищенской церкви и стальной переливавшейся чешуей ложился на поверхность реки. Синее глубокое небо полно напряженного мерцающего света; в застывшем воздухе проносился неясный шепот ночи; слышался лай собаки, дребезжал звон чугунной доски ночного сторожа, точно таял и стыл. Люба как-то забыла, сколько времени она просидела у своего окна, о чем думала в это время, зачем у нее было мокрое от слез лицо. Ее давило что-то. Накинув на плечи теплый платок, девушка с покрытой головой осторожно вышла из своей комнаты через кухню, где было тихо. Матрена спала. В комнате Агнцева не было огня.

— Да, все ушли, — вспомнила наконец Люба и рассеянной походкой пошла через двор к калитке; ей хотелось выйти на улицу, туда, где струится вольная река, где дремлет лес.

— Ах, что это такое? — слабо вскрикнула она, когда на пути наткнулась на распростертую человеческую фигуру. Первым движением Любы было, конечно, сейчас же бежать, и она уже сделала несколько шагов по направлению к дому, но что-то заставило ее оглянуться. Распростертая фигура оставалась в прежнем положении и, по-видимому, не представляла особенной опасности. Женское любопытство заставило Любу подойти ближе и посмотреть... Без сомнений, это был один из гостей Агнцева, которого хмель свалил на полдороге. Молодое красивое лицо с черными бровями и рассыпанными прядями волнистых темных волос было освещено лунным светом необыкновенно эффектно; сильные руки были раскинуты, из-под расстегнутой рубашки выставлялась белая молодая грудь.

— Он умер, — мелькнуло в голове Любы, но заметив движение вздымавшейся груди, она быстро вернулась в свою комнату, заперлась на крючок и, не раздеваясь, с головой спряталась под одеяло. Какой-то безотчетный страх овладел всем ее существом, и встревоженное ухо чутко ловило малейший шорох. — Это... Да, это тот, который пел давеча, — думала девушка, с легким отвращением припоминая картину спавшего пьяным сном архиерейского певчего.

Через десять минут Люба разбудила Матрену и велела ей снести свою подушку спавшему на голой земле певчему.

— Он простудится, — прибавила девушка, легонько выталкивая не могшую все еще проснуться «преданную старую служанку».

— ... Да, пожалуйста, осторожнее... не разбуди.

— Не больно важное кушанье, — ворчала Матрена, направляясь с подушкой к воротам. — Мало ли ихнего брата по канавам валяется.

Люба с замиранием сердца следила, как Матрена подошла к спавшему, без церемоний подняла голову и всунула под нее подушку. Певчий не проснулся, но голова у него была положена на подушку нехорошо, как-то боком. «Он задохнется», — мелькнуло в голове Любы, и она быстро подбежала сама к спавшему и осторожно поправила подушку. Певчий открыл глаза и вдруг сел. Люба застыла, боясь шевельнуть пальцем.

— Вам неудобно? — проговорила она наконец.

— Мне... неудобно? — промычал певчий, переводя глаза с девушки на подушку. — Скажите, пожалуйста, где я?

— А вот Матрена проводит вас, — проговорила Люба, только теперь вспомнив, что ситцевая блузка была расстегнута у ней и волосы рассыпались по плечам.

— Барышня, — проговорил в раздумье Бенелявдов, когда вместо Любы возле него стояла уже Матрена и изо всех сил тащила его за рукав казинетового сюртука.

Матрена благополучно перевела Бенелявдова в комнату Павла Петровича, где и устроила ему на полу постель из старого одеяла и подушки Любы. Певчий мертвым движением растянулся на импровизированном ложе и сейчас же заснул. Люба снабдила Матрену еще раз своим одеялом и только тогда успокоилась за участь пьяного певчего, бледное красивое лицо которого снилось ей целую ночь»;

с. 525 после слов: «давно небеленные стены» — «заплеванные потолки, грубая деревянная мебель, грязь и какая-то ободранность холостяцкого жилья. Можно было подумать, что здесь кто-то собирался переезжать и все предметы смешались в картинном беспорядке или, вернее, что в этих комнатах поселились только что спасшиеся от пожара или наводнения»;

с. 526 вместо: «яко праведный Иов» — «яко блаженный Иов»;

с. 526 после слов: «увидеть эту девушку» — слова, позднее зачеркнутые: «которая не только не отвернулась от валявшегося на земле пьяного архиерейского певчего, а еще отнеслась к нему с чисто женским участием. О своей оригинальной встрече с Любой Бенелявдов никому не говорил (другой вариант — конечно, о ночной сцене во дворе пузыринского дома он никому не говорил), и эта маленькая тайна доставляла ему большое удовольствие, заставляя улыбаться. Он помнил, как она тогда побежала от него»;

с. 527 после слов: «добродушно сострил Агнцев» — «продолжая подмигивать»;

с. 530 после слов: «Нет, невозможно! — уже с отчаянием в голосе проговорил Бенелявдов.

— Да почему же невозможно?

— Как вам сказать... Ах, нет, вы этого не поймете» — «Разве возможно не пить при нашей жизни? Вот скоро поездка с владыкой.

Бенелявдов в коротких словах рассказал, что такое архиерейские поездки, купеческие свадьбы с архиерейскими певчими, вспрыскивания ставленников, похороны больших чиновников и богатых купцов и т.д. Люба выслушала внимательно и в раздумье проговорила:

— Мне кажется, что ваши товарищи... Я не хочу сказать о них ничего дурного, но, право, этот дьякон Илюха и этот ваш товарищ... как его?»;

с. 532 вместо: «Немного погодя Бенелявдов под каким-то предлогом выбрался из певческой и отправился в сад» — «Бенелявдов решительно не мог дольше оставаться в певческой и под каким-то предлогом ушел в сад»;

с. 533 вместо: «попадала под чье-нибудь иго» — «попадала под иго какого-нибудь временного, случайного фаворита владыки»;

с. 534после слов: «и пустым флигелем» — «в котором когда-то повесился спившийся с кругу монах»;

с. 536 после слов: «в самом смешном виде» — следующий отрывок:

«Жизнь архиерейской певческой составляет такое исключительное явление, такую странную комбинацию почти невозможных целей человеческого существования, что естественным результатом и невидимым следствием из нее является в счастливом случае смерть, а обыкновенно физическое, нравственное и умственное калечение. Певческая является бурсой в бурсе, как ее последнее слово и самое яркое проявление бурсацкой сущности. Несчастные, раз попав в певческую, погибали уже безвозвратно. И заметьте, погибали не какие-нибудь выродки или недоноски, а самый «цвет во Израиле». Цинцина доказывает, что самый сильный физически организм есть самый выносливый при всевозможных условиях жизни, но опыт архиерейских певческих и alma mater бурсы на расстоянии нескольких веков убеждает нас как раз в противном: сильные вымирают, а более слабые остаются. Это очень понятно: для существования вполне здорового организма нужно очень много, тогда как полубольной человек, «скрипучее дерево», которое, по точному русскому выражению, «два века стоит» — остается жить при наличности minimum'а подходящих условий. Поэтому-то римские атлеты умирали в походах как мухи, и истинным героем всех войн является самый серый, соломенное брюхо. Если признать, что жизнь есть та же война, только более упорная и более ужесточенная, то наш вывод найдет свое полное приложение к жизни певческой. Чахотка — вот что стояло над головами этих людей, обреченных церковному громогласию»;

с. 536 после слов: «жизни в архиерейской певческой» — «на одном конце которой была полнейшая убийственная праздность, а на другой — кромешное пьянство. Между этими двумя полюсами проходила вся недолгая жизнь архиерейского певчего, усложняясь многими другими пороками и недостатками»;

с. 536 вместо: «сына какой-то четвероюродной племянницы Нектария» — «сына какой-то четвероюродной племянницы владыки». После:

«Хитрый и пронырливый хохол быстро овладел добродушнейшим из владык, и писец ворочал целой губернией, ни одно дело не миновало рук Алешки. Каждый поп, последний дьячок, нищая просвирня — все одинаково были обложены данью и все одинаково чувствовали на себе тяжесть Алешкиного ига. Консисторией Алешка вертел по своему усмотрению, и сам «педагогический», как называл владыка архимандрита Ельпидифора, подсылал к всесильному «случайному человеку» то аметистовые четки, то шелковой материи на подрясник. Архиерейская певческая тоже не избегла общей участи и тоже гнулась в три шеи перед авторитетом Алешки. Бесхарактерный о. Смарагд давно заискивал перед архиерейским келейником и льстил ему в глаза и за глаза. Предстоявшая поездка владыки являлась собственно триумфом тоже Алешки, что теперь бесило и волновало Бенелявдова. Перспектива полуторамесячного пьянства и открытого грабежа беззащитного духовенства целой гу-

бернии теперь казалась ему особенно тяжелой, потому что он должен был принять во всем этом невольное, деятельное и непосредственное участие»;

с. 538 после слов: «сильно не в духе» — «Последнее всегда выражалось самым оригинальным образом. Чем-нибудь разгневанный владыка с головой забирался под одеяло и в таком положении лежал по целым суткам, никого не принимая. Все хорошо помнили, как владыка целых три дня пролежал под одеялом, когда рассорился с игуменьей Магдалиной»;

с. 538 после слов: «ответствовал владыка» — «выставляя голову из-под одеяла»;

с. 544 после слов: «на больших и маленьких» — «первые получали большие оклады и ничего не делали, предаваясь высшим государственным соображениям, вторые сохли и надрывались за работой, вероятно, потому, что получали самое микроскопическое жалованье. Протекция и поклоны были таким же слабым местом здесь, как и везде, и чиновники так же заискивали перед высшим начальством, забегая петушком, где только это было удобоисполнимо, а в свободное время интриговали друг против друга, по вечерам играли в картишки и засыпали с мыслью о грядущих новых повышениях, чинах и наградах»;

с. 544 после слов: «глубоко счастливые минуты» — «Люба гордилась Бенелявдовым, как своим созданием, радовалась его успехам, но дальше болтовни и пожатия руки она не заходила. Таким образом миновало короткое северное лето и наступила осень» — позднее зачеркнуто;

с. 549 после слов: «Девушка сама отворила ему дверь в кухню» — «Она была в одних чулках и лукаво погрозила Бенелявдову своим маленьким пальчиком»;

с. 550 после слов: «заставило Любу нахмуриться» — «Ей казалось, что на ее молодом красивом теле оставались еще следы грязных ласк ее любовников. Она даже встряхнула свою ночную кофточку с дорогими прошивками, которую ей подарила Анна Ивановна; чувство брезгливости проснулось в ней с небывалой силой, и через минуту она готова была плакать»;

с. 550 после слов: «думала она с улыбкой, полузакрывая глаза» — «Я гадкая погибшая женщина. Я торгую своим телом... Я из кокетства завлекла этого несчастного певчего, который считал меня честной девушкой. Он теперь будет презирать меня... Что же — я заслужила это, я желаю, чтобы он презирал меня: мне легче будет» — позднее это зачеркнуто;

с. 550 после слов: «Я больше не хочу лгать» — фрагмент зачеркнутый: «Бенелявдов послал в ответ записку с отчаянной просьбой выйти немедленно сегодня же вечером на кладбище. Люба долго раздумывала над этой запиской, в которой каждая буква дышала безумной страстью, и вечером отправилась на кладбище, где Бенелявдов уже ждал ее. Девушка шла с опущенными глазами и с бледным лицом; ее маленькая похолодевшая ручка мертвым движением легла в горячую руку Бенелявдова, который сегодня походил на сумасшедшего»;

с. 550 после слов: «Ананий Порфирыч надоедает» — «и иногда просто гадок со своими нежностями»;

с. 551 после слов: «как начинающего пьяницу» —

«Но прежде, чем довершить окончательно образование Любы, Анна Ивановна продала ее за дорогую цену Ананию Порфирычу. Люба в это время была шестнадцатилетним дичком, конечно, с богатыми задатками в будущем, но пока еще неловкой детской неловкостью, немного глуповатой и застенчивой. Для расслаб-

ленного старичка развертывавшаяся красота Любы была необыкновенной находкой, и он ничего не пожалел, чтобы взять такой лакомый кусочек. Падение Любы явилось только маленьким эпизодом в ее жизни, о котором она старалась не думать и к которому относилась с большим равнодушием, разврат еще не коснулся ее тела, хотя уже овладевал мыслью. Конечно, никакого физического удовольствия она не испытывала и переносила любовь Анания Порфирыча, как переносят неприятные, но необходимые операции. Затем, когда на помощь Ананию Порфирычу явились другие друзья Анны Ивановны, которая торговала Любой с большим расчетом, в девушке наконец проснулась чудовищная жажда чисто физических наслаждений. Она хотела вознаградить себя за весь позор, за всю грязь, которыми было покрыто молодое тело... Она жаждала того, что не покупается за деньги. Красота Бенелявдова зажгла в ее душе дикие желания, хотя она все-таки не любила его, а только играла, как кошка с мышкой»;

с. 553 после слов: «Нет, не в невольном...» — «Я продала себя и хорошо знала, что делаю»;

с. 553 после слов: «да, жаль» — сначала зачеркнута фраза: «Люба закрыла лицо обеими руками и хохотала глухим, надрывным хохотом, от которого сердце Бенелявдова облилось кровью» — затем оставленное в рукописи: «Вы даже не подозреваете того, что я продала себя из желания щеголять, получать удовольствия и ничего больше, — продолжала она, отрывая руки от лица»;

с. 553 после слов: «Вы не подозреваете...» — «что я выпросила вам место у моего первого любовника?»;

после: «для себя» — «Мне было... нужно было кое-что больше, чем деньги моих любовников»;

с. 554 после слов: «она прибавила тихо» — «немного печальным голосом» (зачеркнуто).

Далее следуют фрагменты рукописи, не включенные в журнальный текст:

«Что с тобой, душечка? — несколько раз спрашивала Любу Анна Ивановна. — Ты как будто не в своей тарелке... ужасно неровной сделалась.

— Влюблена... — с веселым смехом отвечала девушка.

— Ах, душечка... этим шутить нельзя! — при последних словах Анна Ивановна томно закатила свои всевидящие глазки; вероятно, ей вспомнилась счастливая минута, когда она, еще неопытная юница, пожертвовала своей невинностью трижды коварному гусару. — Это делается... Бедная женщина теряет свою волю, и мало этого, она страстно желает, добивается, требует рабства... да, именно рабства! Поэтому, душечка, русские бабы совершенно справедливо говорят: если муж не бьет, значит, не любит. Женщине мало ласк, она требует побоев. Вот что такое любовь, душечка!

— Я именно так и влюблена... в Анания Порфирыча.

Анна Ивановна тоже засмеялась самым добродушным смехом. Она вообще баловала Любу, которая была лакомой приманкой в ее «монастыре», как она называла свой притон. Теперь на очереди стоял все еще тот же молоденький товарищ прокурора, из богатых волчат; Анна Ивановна страстно хотела сорвать куш побольше с этого шалопая, и она посвящала Любу во все тайны того искусства, при помощи которого коварный мужчина расщедрится в достаточной степени. Любу тоже занимала эта игра с волчонком в кошку и мышку»;

«Бенелявдов как-то безучастно относился ко всему, что творилось вокруг, потому что он слишком мучился и страдал все это время. От восторгов безумной любви он быстро переходил к самому тяжелому отчаянью, когда жизнь делалась свинцовой жестью. Влюбленному казалось, что даже встречавшиеся на улице люди видели его тайную муку, ту змею, которая сосала его сердце день и ночь. Любовники Любы сделались пунктом сумасшествия Бенелявдова, и каждый выход Любы из дому был для него настоящей пыткой. Он несколько раз пытался остановить ее, вернуть, но все было напрасно. Девушка с непостижимым для него упорством каждый раз повторяла одну и ту же фразу, которая совершенно его обезоруживала:

— Ведь я никогда не любила и ничего тебе не обещала, но позволяла любить меня. Кто тебе дал право распоряжаться моими поступками? Ведь я не твоя жена, которую можно колотить, таскать за волосы или запирать в чулан... Понял? Даю тебе честное слово, что тот день, когда ты начнешь следить за мной — будет последним днем твоей любви.

— Люба... ты ли это говоришь? — молил Бенелявдов задыхавшимся шепотом. — Ведь ты ласкаешь меня, целуешь, а теперь...

— Ха-ха! Вот это мило сказано! Да, я ласкаю и целую тебя, когда ты приходишь ко мне ночью... Понимаешь? А днем... днем для меня ты чиновник, который получает тридцать рублей жалованья и только! Жить с одним тобой и плодить нищих... и это любовь! Ха-ха!

Люба с изысканной жестокостью каждый раз мучила Бенелявдова, испытывая какое-то особенное наслаждение. Она упорно добивалась того, чтобы Бенелявдов окончательно потерял голову и с бешенством зверя кинулся на нее»;

с. 555 после слов: «а химик заливался своим ухающим хохотом» —

«— Ты ведь знаешь попа Никиту? Не вор. Еще попадья у него на ногу припадает. Вот он самый и есть. Тебя помнит, вместе, говорит, Иринарх драл.

— Приехали мы в одно село, Перелогу, — повествовал Илюха, — Ну, владыка там, еще позади остался... Ползет в своей карете с Алешкой, сырая вошь по брюху. А мы сейчас попа за горло: угощай! И началось угощение... Мы тут два дня беспросыпную отпраздновали! Только тебя, химик, недоставало... ей-богу! Такое разрешение вина и елея устроили, что чертям тошно. Ты только представь себе: все пьяны до одного человека. Попадья без задних ног с попом на погребище валяются, церковный сторож с коморниками на карачках ползают по двору, певчие все так и лежат. Понимаешь, один я в доме цел и невредим да еще две поповны... Забились на вышку со страху да там и сидят в одних рубашках! Эх, тебя там не было, химик, приударил бы за поповнами от нечего делать, ведь приударил бы? Уж я знаю, чего ты любишь, старый пес. Ха-ха! Ну, и я один, яко богатырь на поле убиенных... К женскому полу пристрастия не питаю, ибо сие не приличествует моему сану. Это, брат, я строго соблюдаю... в монахи уйду скоро! Так вот, химик, сижу я в поповском доме один-одинешенек, и стало мне скучно: никак напиться не могу. Взял бутылку водки, поповской лошади в глотку вылил, потом корову напоил с теленком, свинью... Ей-богу! Собака была на цепи, и ту напоил, даже кошку поймал и тоже напоил... ха-ха! Потом взял вина в чашку, накрошил крошек да по двору и раскидал... Курицы, гуси, овечки, поросята накинулись на крошки и, понимаешь, тоже ногами верх... И представь себе, в этот самый момент владыка и валил! Именно, на грех мастера петь... Встречаю я

его и говорю: «Преосвященнейший владыка... немного больны... извините!» Сначала владыка рассвирепел, яко лев рыкающий, закричал: «Что вы тут, — кричит, — накозляковали?» А потом увидел пьяного петуха и засмеялся. Так ничего и не сделал никому, даже не обругал, а только вечером попа с попадьей на поклоны поставил за чревоугодие.

Пузырев, в свою очередь, рассказывал певчим о протопопице, которую называл антихристовой печатью.

— Ведь чего придумала, антихристовая печать, — повествовал химик, — Я, говорит, буду тебе помогать, только с условием, чтобы ты мне глаз не казал. Понимаешь, трусит меня! Может, и совесть тоже мучает... Ха-ха-ха! Ну не дура ли она после этого?

— Как осиновое полено, — сравнивал Илюха»;

«Это мирное течение жизни в пузыревском доме чуть было не нарушилось одним обстоятельством. Люба рассорилась наконец с Матреной и отказала ей от места. Эта верная старая служанка напилась по такому случаю и заявилась к Павлу Петровичу, которому и доложила коснеющим языком все, что знала о Любе и о чем догадывалась. Пузырева сначала передернуло, но потом он залился неуемным хохотом:

— Да ты своими глазами видела, как Бенелявдов по ночам к моей Любе ходит? — допрашивал он. — Да? Может быть, и Ваня тоже ходил? Ах ты дура, дура... так я тебе и поверил! Ведь я знаю, кто тебя подослал ко мне... все знаю! Говори: протопопица подослала.

В заключение Пузырев с чубуком бросился на пьяную бабу и чуть не поколотил за сообщничество с протопопицей.

— Экая хитрая бестия, — рычал Пузырев. — Хочет меня рассорить с дочерью... ха-ха! Вот дуру-то и видно: хитра, да недогадлива, а Павла Петровича не проведешь... Ннет, брат!

Пузырев, конечно, все рассказал Сазону и Илюхе, и все долго хохотали над выдумкой протопопицы»;

с. 557 после слов: «Леди, вы со мной шутили» — «Бог вам судья — вы дитя»;

после слов: «к открытому окну» — «в которое шаловливо впорхнула мелодия»;

с. 558 после слов: «на эту неприступную Калерию Андреевну» — «про которую слыхал от чиновников, что она иногда бьет его превосходительство и нисколько не стесняется с прислугой. Утром она всегда принимает ванну и, сидя в воде, преспокойно выслушивала доклад повара или распекала лакея. Она даже не стеснялась и тогда, когда горничные начинали вытирать благоухавшее генеральское тело мохнатым полотенцем на глазах этих же низших разновидностей человеческого рода. Пред величием генеральского чина пол прислуги терял всякое значение, как пол тех сеттеров, которые, погромыхивая ошейниками, бегали по казенной генеральской квартире»;

с. 559 после слов: «дурацкому счастью» — «один знакомый столоначальник, большой шутник, постоянно подмигивавший левым глазом, намекнул между прочим, что Калерия Андреевна бабенка еще ничего и всегда была не прочь разыграть партию в четыре руки. Тут же кто-то назвал генеральшу бальзаковской женщиной и в подтверждение своих слов рассказал о ее последнем романе с полицмейстером, разбитным малым в шесть футов ростом»;

с. 559 после слов: «Да, говорят... — подчеркнул Ананий Порфирыч с улыбочкой» —

«— Зачем же вы меняете ее на разных...

— Ах, крошечка, как ты не понимаешь такой простой вещи, — объяснила Анна Ивановна, — французы говорят, что нельзя обвинять человека только за то, что он разменивает сорокафранковую монету на две двадцатифранковые.

— А если сорокафранковая монета сама захочет разменять... десятифранковую? — спрашивала Люба.

— Вполне естественное и законное желание, против которого я решительно ничего не имею, — отшучивался Ананий Порфирыч, который был сегодня настроен в самом шутливом тоне. — Может быть, кто-нибудь другой будет недоволен христианской добротой моей Кэтти, — прибавил старичок с одним из своих коротких смешков.

— С чего вы это взяли? — вспыхнула Люба. — Я уже говорила вам, что Бенелявдов мой дальний родственник...

— Ах да, действительно, — соглашался Ананий Порфирыч. — В моем шестидесятифранковом возрасте извинительно иметь немного слабую память, mon ange...»;

с. 560 после слов: «Не хочу от тебя ничего» — «нет, ты требуешь от меня, чтобы я убил тебя или передушил твоих любовников, — проговорил спокойным голосом Бенелявдов»;

с. 560 после слов: «Право, такой уж обычай» — «Люба наотрез отказалась от докторов, и Пузырев рассказал в утешение известный анекдот о том докторе...»;

с. 561 вместо: «По-нашему отяжелела... право! Вишь ты!» — «По-нашему, забеременела»;

с. 562 после слов: «Никого я не видал» — «Это вы за бабами как меделянские псы бегаете.

— Аппетитная девчонка была... с огоньком. Хи-хи... Она сначала жила с Кошурским, управляющим палаты, а потом и со многими другими сынами человеческими. Я, грешный человек, тоже хватил шилом патоки. Пойдем хоть сейчас к Анне Ивановне, дама тут есть такая, так я тебе эту рыженькую в натуре покажу. Говорю: девчонка — огонь, а какие у ней... и т. д.»;

с. 563 после слов: «Хорошо, Макся, я буду твоей женой» — зачеркнутая фраза: «Бенелявдов не обратил никакого внимания на то, что к этим словам Люба сейчас же прибавила: «У меня есть какое-то предчувствие, что я не должна выходить за тебя... Я чего-то боюсь»;

вместо: «венчать нас будет старичок поп» — «старичок священник»;

с. 564 после слов: «часть его самого» — «Убожество певческой на мгновение унесло Бенелявдова в прошлое, но все это прошлое было так темно, так ужасно в сравнении с настоящим, что о нем не стоило даже думать»;

с. 564 после слов: «с какой стороны подступить» — «к этому спартанцу в тиковом халатике»;

с. 566 после слов: «Я убил Максю... убил» — фрагмент, зачеркнутый:

«Как только Бенелявдов немного пришел в себя, его сейчас же перевезли на квартиру Пузырева, Люба была дома. Больного положили на кровать в ее комнате. Явился доктор. Осмотрев и послушав грудь, он покачал головой.

— Где это угораздило вас? — спросил он, считая пульс.

Бенелявдов показал глазами на дверь, в которую вышла Люба. Девушка с застывшим помертвелым лицом сидела теперь... Пузырев суетился около нее в своем халате, бормотал бессвязные утешения:

— Это ничего... это бывает... он поправится... Этакой молодец, он сто лет еще проживет. А впрочем — подлецы... все подлецы...

Люба совсем не слушала отца, для нее не было сомнений, что Бенелявдов умрет. Она это предчувствовала, она ждала этого удара. Слез не было, как не было ни стонов, ни жалоб. Безысходное, темное, одинокое горе сжало ее, придавило, уничтожило. Впереди было темно, пусто, холодно. Горе было слишком велико, чтобы определить его. Бенелявдов лежал в тяжелом бреду. Люба сидела около кровати день и ночь. Все в доме ходили на цыпочках, пахло лекарствами; окна были занавешены. Доктор приезжал по два раза в день и все пожимал плечами. Больной боялся оставаться один и движением руки искал около себя любимую женщину. Когда выпадали свободные минуты, то Бенелявдов долго смотрел на Любу. В этом взгляде выливались последние силы, последний знак погасавшей жизни. Он не жаловался, не стонал; когда боль в груди становилась невыносимой, он только цепче сжимал руку Любы, точно хотел удержаться за нее, замедлить падение в ту пропасть, куда шаг за шагом сваливала его болезнь.

— Хочу видеть Сазона, — прошептал Бенелявдов на третий день болезни.

Когда Сазон вошел в комнату, Бенелявдов показал глазами на стул около себя. Люба слышала мельком всю историю и в первую минуту убежала из комнаты, когда заслышала шаги Сазона. В ней как-то разом заговорила вся кровь, все чувство. «Убийца, убийца...» — стучало в голове, в сердце, в груди. Инстинктивное отвращение к крови заставило ее задрожать. Несмотря на все свое горе, которое притупило и парализовало все чувства, девушка вся вспыхнула страшной ненавистью к этому убийце, который теперь стоял у постели Бенелявдова. Люба порывалась своей грудью защитить больного, точно Сазон пришел убить его. Через минуту Любу позвали. Они остались втроем с глазу на глаз.

— Люба, — прерывающимся голосом заговорил Бенелявдов, собирая последние силы. — Он не виноват... Люба, не сердись на него... прости... прости его... здесь... при мне...

Люба тихо заплакала и закрыла лицо руками.

— Это я... я одна виновата во всем, — шептала убитая горем девушка, опускаясь на колени возле кровати. — Это меня Бог наказывает... я заслужила... Господи, убей меня... меня, одну меня!!

— Нет... Люба... не то... — слабеющим голосом шептал Бенелявдов, отыскивая рукой ее руку. — Где ты?.. Люба... все мы одинаково... несчастные люди... Люба... ты несчастнее всех нас... ты — жертва за чужие грехи...

В комнате Агнцева собрались сам Агнцев, дьякон Илюха и Пузырев. Агнцев сидел в углу с красными от слез глазами; по лицу Пузырева катились мелкие старческие слезы, но он не вытирал их, Илюха тихо рыдал, положив свою голову на стол, как совершенно лишнюю...»;

с. 568 после слов: «Люба теперь припомнила, что Агнцев всегда был особенно внимателен к ней; оставалось воспользоваться этим и ... в лице Агнцева дать отца будущему ребенку. Ананий Порфирыч уже намекал ей, что в палате место Бенелявдова остается незанятым.

— Нет, решено, буду m-me Агнцева, — думала Люба, поднимая голову».

Рукопись завершается следующим приложением — отдельной главой (беловиком, без исправлений и помарок), описывающей процесс нравственного падения Любы. В повести эта глава должна была идти вслед за пятой, но автор не включил ее в окончательный текст, по-видимому, потому, что в ней Люба представлена как наивная девушка, ставшая жертвой хищницы Анны Ивановны и развратных господ, в повести же она изображена человеком, сознательно ставшим на путь проституции.

После этой маленькой истории с протопопицей Люба сделалась недоверчива и подозрительна. Ей все казалось, что над ней все смеются, и начинала стыдиться за свои поношенные ситцевые платья, за старую шляпку, за старые ботинки. По целым неделям она совсем не выходила из дому, но молодость брала свое — потребность в движении и свежем воздухе заставляла Любу делать уединенные прогулки. Девушка избегала встреч с людьми и обыкновенно уходила куда-нибудь подальше на берег реки Сосновки. Здесь, сидя по целым часам где-нибудь на старом бревне, Люба предавалась своим мечтам. Громадная река внизу так красиво катилась своим плавным, широким разливом; весь берег был покрыт пароходными пристанями, баржами, соляными магазинами. Пароходы с шумом вспенивали реку и, оставив широкий двоившийся след, исчезали за далеким лесистым мыском. Толпы рабочих и публики вечно копошились на пристанях, и Люба с жадным вниманием наблюдала эту пеструю изменчивую толпу. Кто эти люди, куда они торопятся, что заставляет их так суетиться, кричать и смеяться?

Эти вопросы имели обратную сторону, именно, почему же только одной ей, Любе, некуда торопиться, не о чем хлопотать и нечему радоваться? Ведь она еще молода, ей хочется жить каждой каплей крови... Люба с завистью и злобой думала о том, зачем она девочка, а не мальчик. О, тогда бы она знала, что ей делать. И Люба с тоской провожала глазами каждый отходивший пароход, на котором мысленно плыла сама бодрым молодым человеком с кожаной сумкой через плечо. Вот молодой человек вернется лет через пять, но тогда у него уже будет хорошее место где-нибудь, он может сделать хороший подарок старухе матери и маленькой сестренке.

Эти уединенные прогулки, эти мечты совсем изменили характер Любы, которая как-то не замечала окружавшего и жила в своем собственном мире. Все то, чего ей недоставало, она с избытком находила в мире своих фантазий, где она являлась самой богатой, красивой, доброй, как те дамы, которые разъезжают по городу в колясках на таких отличных лошадях. Сделаться такой же дамой было для нее теперь заветной мечтой. Это мечтательное настроение Любы неожиданно нашло отклик в чтении. Совершенно случайно попалась ей на глаза какая-то растрепанная книжонка, без заглавия; от нечего делать, она прочитала несколько страниц и просидела за книгой ночь напролет. С этих пор чтение романов и повестей сделалось для Любы второй жизнью, потому что в них она находила ответы на тысячу занимавших ее вопросов. Около молодой мечтательницы вырос новый мир, который был населен уже не вымыслами собственной фантазии, а настоящими живыми людьми, в которых она видела часто саму себя. Люба с замирани-

ем сердца читала о бедных девушках, которые на нескольких печатных страницах не только встречались с удивительно красивыми молодыми людьми и влюблялись в них, но и выходили замуж за этих молодых людей, назло богатым подругам, и делались очень счастливыми и богатыми. Здесь же встречала Люба богатых и скупых теток, которые как две капли воды походили на протопопицу; но любовь таинственного молодого человека преодолевала все препятствия и бедность молодой девушки, зависть богатых невест, злобу и скупость старых теток.

Странно, что в то время, как Пузырев мечтал о протопопьем наследстве, в соседней комнате Люба жила не менее сумасшедшими мечтами о молодом человеке, которого она любила всеми силами своей молодой души. Из любви к этому молодому человеку она старалась сделаться как можно лучше, красивее и умнее. Теперь жизнь для нее получила глубокий смысл и совершенно новую окраску и девушка с сожалением смотрела на всех других людей, которые теперь совсем не замечали ее, а после будут удивляться и заискивать. Люба покажет этим жалким людям, что она ... выше их и совсем не помнит их несправедливостей. Чувствовать себя героиней на пространстве своей комнатки в одно окно было величайшим счастьем замечтавшейся девушки. Ее воображение ... предметы и всех людей окружало известным ореолом, так что, например, Матрена была не просто Матрена, а носила громкий титул «преданной старой служанки»; Тихонькая улица получила название «одной из отдаленных улиц предместья, где, кажется, все дышало миром и тишиной».

Иногда Любе казалось, что он идет за ней, и она быстро оглядывалась; иногда она просыпалась в какой-то сладкой тревоге и в смутном сознании, что именно сегодня должно все случиться. Едва накинув на плечи худенький платок, Люба босыми ногами бежала в переднюю и спрашивала Матрену:

— Меня никто не спрашивал?

— Да кому тебя спрашивать? — по обыкновению грубо отзывалась «старая преданная служанка».

— Может быть, к папе кто-нибудь приходил?

— Кому нужно к нам приходить-то, барышня... ложитесь-ка спать, а то еще ножки простудите.

Теперь прогулки получили для Любы совершенно особенный смысл, потому что где-то в другом месте могла встретить своего героя — к ним никто из таких героев не ходил, сама она тоже нигде не бывала, кроме двух-трех бедных подруг. Она выходила из дому всегда в таком тревожном настроении, точно прощалась с «отцовским кровом» и «преданной старой служанкой» навсегда. Однажды, когда Люба гуляла медленным шагом по гористому берегу Сосновки, каким гуляют все влюбленные в ожидании своего «предмета», осторожные шаги заставили ее оглянуться. За ней в почтительном отдалении шел какой-то тоненький чиновник с камышовой тросточкой в руках. «Это он», — мелькнуло в голове девушки. Чиновник подходил все ближе и ближе, а потом заговорил с ней, как обыкновенно заговаривают в таких случаях с незнакомыми девушками, о погоде, о приятности уединенных прогулок, об удовольствиях. Эти встречи продолжались несколько дней, а потом чиновник куда-то исчез вместе со своей тросточкой. В другой раз Люба познакомилась с седеньким старичком с розовыми щеками и такими добрыми улыбавшимися глазками. Старичок немножко пришаркивал ножкой и был, веро-

ятно, очень богат, как заключила девушка по массивной золотой цепочке на его жилете и по большим перстням на руках. Розовый старичок встречался несколько раз, ловко выспросил у Любы всю подноготную, а потом, улыбаясь, спросил:

— Так вы поедете со мной, крошка?

— Куда?

— В торговые бани...

Люба едва убежала от улыбавшегося старичка, который ... начал пугать девушку полицией и скандалом, если она не согласится на его предложение. Любе пришлось пережить еще одну бешеную ночь, но она уже не плакала, а перенесла свое унижение с сухими глазами.

Несколько времени из боязни полиции и страшного старичка Люба совсем не выходила из дому и прилежно работала, занимаясь шитьем, которое ей доставала откуда-то Матрена. Но сидеть взаперти весной было слишком тяжело, и однажды, преодолев свой страх, Люба опять отправилась на свое любимое место, на берег Сосновки. И на этот раз девушке не посчастливилось, потому что к ней пристали два пьяных семинариста, и она едва успела отделаться от их любезного приглашения вместе с ними в лодке куда-то ... Когда Люба возвращалась по берегу уже домой, ей навстречу попалась отлично одетая дама с собачкой на руках; эта дама с головы до ног смерила девушку в золотой лорнет, а потом с улыбкой проговорила:

— Ах, милочка, скажите, пожалуйста, где вы взяли такие волосы?

Этот вопрос поставил девушку в тупик, и она совсем не знала, что ей отвечать.

— Ах, какие волосы, какие волосы, — удивлялась дама, рассматривая Любу без всяких церемоний.

Эта дама расспросила подробно девушку о ней, продолжая в то же время осматривать ее со всех сторон.

— У вас, милочка, все хорошо: и волосы, и зубы, и глаза, и шея, — одним словом, вы прехорошенькая девочка, — льстиво заговорила дама, двумя пальцами приподнимая пухлый подбородок девушки. — Такой красавице просто грешно ходить в таких платьях. Так ведь? О, не смущайтесь, голубчик, мы все это устроим. Меня зовут Анной Ивановной, а вот мой адрес. Вы можете видеть меня от девяти часов утра до одиннадцати. Я постараюсь устроить вас... Придете?

— Да, приду...

— Только вот что, милочка, — уже вполголоса прибавила дама. Если ваш папа будет спрашивать, куда вы идете — не называйте моей фамилию, понимаете? Я объясню вам, почему это нужно.

Люба вернулась домой в каком-то тумане, а затем, на другой же день отправилась к Анне Ивановне, которая жила на краю города, в низеньком деревянном домике с красивым палисадником. Очутившись в передней, уютной как игрушка, Люба поняла, что она попала в большой свет, о котором читала в романах. Ряд небольших комнат с мягкой мебелью, паркетными полами, богатыми драпировками и экзотической зеленью произвел на бедную девушку ошеломляющее впечатление своей роскошью и изяществом. Самый воздух, стоявший в этих комнатах, был напоен каким-то необыкновенным ароматом. Анна Ивановна приняла Любу прямо в своей спальне, походившей на магазин; на этот раз эта дама не показалась Любе такой красивой, как вчера. Утренний белый пеньюар, бархат-

ные туфли на ногах, множество колец на всех пальцах подтвердили мнение Любы о неисчерпаемых богатствах Анны Ивановны.

— Как я рада, что вы не забыли своего обещания, моя красавица, — певуче заговорила Анна Ивановна, громко целуя своими подкрашенными губами румяные щеки Любы. — Ах, душечка, волосы... Знаете, я всю ночь сегодня видела ваши волосы. Понимаете, ведь такие волосы да при вашей наружности — это целый капитал. Ах, что я говорю вам: вы меня совсем не поймете... когда-нибудь после поговорим об этом, а теперь побеседуем о деле.

Горничная подала сюда же в спальню кофе, и Анна Ивановна угощала Любу, как старую знакомую, успевая говорить за десятерых. Между разговором она успела осмотреть Любу еще раз с ног до головы и осталась довольна.

— Нет, вы еще ребенок, совершенный ребенок, — с умилением шептала Анна Ивановна, принимаясь целовать Любу в десятый раз; между прочим, эта любвеобильная женщина сразу смекнула, что Люба выражается не так, как другие. — Скажите, пожалуйста, где вы научились так говорить? — спрашивала Анна Ивановна, суживая свои глаза.

— Нигде не училась.

— Часто бывали в образованном обществе?

— Нет... у нас почти нет знакомых.

— Может быть, читали книги, т.е. романы? Да? О, это очень полезно для молодой девушки... Сейчас заметно... да.

Эта первая женская ласка, первое участие как-то отуманили голову Любы, и она болтала как маленький ребенок, попав с холоду в теплую комнату. Анна Ивановна показалась именно той феей, которая должна была устроить судьбу Любы. Между прочим, в припадке откровенности Люба рассказала о своей встрече с седеньким старичком.

— Ах, скажите, пожалуйста... какое нахальство, какая дерзость! — приходила в святейший ужас почтенная дама. — Это ужасно, ужасно... Вы не плюнули в лицо этому нахалу? Напрасно...

Вдруг, точно припомнив что-то, Анна Ивановна пытливо посмотрела на свою гостью, а затем торопливо сходила в гостиную за альбомом и с улыбкой спросила, указывая глазами на одну карточку:

— Не узнаете?

— Этот самый... — проговорила Люба, рассматривая портрет напугавшего ее старичка.

Анна Ивановна залилась громким неестественным смехом и кокетливо сказала:

— Поздравляю вас... Ананий Порфирыч так ловко подшутил над вами, моя крошка, что вы все приняли за чистую монету. Ха-ха. Впрочем, не вы первая: Ананий Порфирыч спас таким образом не одну неопытную девушку, вроде вас. — Да? Ведь могло выйти бог знает что, если бы не встретили этого добрейшего старичка, а потом меня. Ха-ха.. Я непременно познакомлю вас с ним, и вы увидите своими глазами, какая это добрейшая и честнейшая душа. Только знаете что, — после небольшой паузы прибавила она, — мы устроим небольшую мистификацию... ха-ха! Он над вами подшутил, и мы подшутим над ним в свою очередь. Согласны? Я буду называть вас своей племянницей? О-ха-ха! Воображаю, какую физиономию сделает Ананий Порфирыч, когда увидит вас здесь..

В ответ на это остроумное предложение Люба невольно посмотрела на свои стоптанные порыжевшие ботинки и полинявшее ситцевое платье, в котором она когда-то представлялась протопопице. Поймав этот взгляд, Анна Ивановна с участием проговорила:

— Вы, моя крошка, пожалуйста, не беспокойтесь относительно своего костюма. Я вас полюбила, как родную племянницу, с первого раза, и за костюмами дело не станет. Да? Этакой красавице грех ходить в ситцевых платьях, и мы так разоденемся... Нет, воображаю себе положение Анания Порфирыча О-ха-ха-ха!

После кофе Анна Ивановна сейчас же приступила к делу и, вытащив несколько старых своих платьев, заставила Любу их примерять. Платья были не в пору, но это нимало не смутило Анну Ивановну, которая сейчас же нашлась:

— Вот вам и работа, моя крошка... Переделайте эти платья на свой рост. Конечно, я могла бы вам заказать сейчас новое, но не забывайте, что вы моя бедная племянница, которую я только что отыскала совершенно случайно.. Ха-ха! Воображаю, как Ананий Порфирыч.. да, вы не забыли наш уговор: никому не говорить моей фамилии, т.е. что вы ко мне ходите? Нет? Я объясню вам после, для чего это нужно, а пока... нет ли у вас каких-нибудь знакомых или родственников?

Люба в коротких словах рассказала о протопопице.

— Ах, моя крошка, да эта протопопица для нас будет чистым кладом... да! Вы говорите, что ходите к ней и только. Ваш отец ведь не пойдет к ней справляться? Отличная штука... Если отец спросит про платье, скажите, что протопопица подарила и еще обещала подарить, но под тем условием, чтобы ваш отец никогда носу не показывал к ней.. Поняли? Это нам очень пригодится...

Люба ушла от Анны Ивановны в каком-то чаду и в точности исполнила полученные инструкции. С легкой улыбкой на лице она правдиво рассказала отцу, как неожиданно встретила протопопицу, как та насильно увела ее к себе и т.д.

— А .. чертова перечница! — торжествовал Пузырев на всю Тихонькую улицу. — Боится меня, оттого и не велит носу показывать.. Ха-ха!.. задал я ей тогда жару... так и говорит: «Чтобы носу Павел Пузырев ко мне не показывать, а то ничего не дам!». Ха-ха.. Выжила из ума, чертова перечница!

Анна Ивановна очень скоро пошла к своей цели. Она чутьем угадала слабые стороны Любы и на них построила свои планы. Во-первых, Люба отведала через край, что такое бедность и унижение, следовательно, оставалось только самым делом испытать захватывающую силу богатой и праздной жизни; во вторых, в характере Любы преобладала мечтательная сторона — следовательно, нужно было нарисовать чарующую перспективу роскошной обстановки и неиспытанных наслаждений. Люба под предлогом посещений протопопицы ежедневно отправлялась к Анне Ивановне, где ее ожидала непременно какая-нибудь новость или назидательный разговор. Наряды, роскошные завтраки и обеды, осмотр разных дорогих вещиц занимали Любу все больше, и у бедняжки просто разбегались глаза при виде неисчерпаемых сокровищ Анны Ивановны, которая между делом успевала в самых ярких красках изобразить будущность девушки, которая выйдет замуж за какого-нибудь чиновника, народит детей и целую жизнь будет колотиться как рыба об лед. А между тем можно прожить жизнь весело, если отказаться от некоторых глупых предрассудков. После, когда деньги будут, можно и жениха найти, да еще какого. Люба вполовину понимала эту мудреную философию, и

жажда богатства и наслаждений все сильней и сильней овладевала ей с каждым днем. Когда Анна Ивановна убедилась, что Люба уже достаточно подготовлена, появился и Ананий Порфирыч, вежливый, улыбающийся. Старичок держал себя прилично и постоянно вздыхал, искоса взглядывая на племянницу Анны Ивановны. Люба сначала дичилась, но потом вошла в свою роль настолько, что Ананий Порфирыч казался ей только забавным и даже каким-то глупеньким.

— Ах, моя крошка, вы чересчур умно себя держите, — не раз замечала Анна Ивановна, целуя Любу. — Это скучно... Мужчины любят больше всего в девушке, когда она немножко наивна, немножко дикарка, немножко... ну, как это вам объяснить... глупенькая!

Месяца полтора пролетело, а затем... история падения Любы вышла совершенно незаметным эпизодом. После веселого ужина, за которым пили много шампанского, Люба как-то попала в одну комнату с розовым старичком, который целовал ей ноги и руки. Ей было и смешно, и гадко, и страшно, а в ушах стояли слова Анны Ивановны: «Будьте умницей, моя крошка, ваше счастье теперь зависит от вас». Утром Анна Ивановна нашла Любу против всякого ожидания спокойной и даже веселой, хотя и то, и другое было одинаково неестественным, и Анна Ивановна не без оснований ожидала истерики или чего-нибудь в этом роде. Когда Люба вернулась домой и бросилась на свою девичью постель — чувство гадости к самой себе, стыд, раскаянье и злоба давили ее. Умереть казалось ей таким счастьем, чем этот позор, но ... уроки Анны Ивановны не пропали даром. Любе ничего не оставалось, как только идти вперед.

Анна Ивановна, устроив дельце, получила за комиссию несколько сот рублей, из которых небольшую часть выдала своей жертве, в расчете эксплуатировать ее дальше. Знакомых у Анны Ивановны было очень много, хотя она в знакомствах придерживалась самого строгого выбора, тем более, что такая красавца, как Люба, была лакомый кусочек для истинных любителей. Ананий Порфирыч наслаждался безмятежным счастьем в течение полугода, а затем принужден был уступить свое место более счастливому сопернику в лице богатого холостяка прокурора. Когда прокурорский карман был достаточно разорен Анной Ивановной, появился старик золотопромышленник, потом горный инженер и т.д. В этой среде новых знакомых Любы был даже архиерейский келейник, которого Анна Ивановна принимала почти под покровом самой глубокой тайны. Люба относилась к своим любовникам совершенно безразлично, как оглушенная рыба, не испытывая даже физического наслаждения. Анна Ивановна совсем овладела падавшей все ниже и ниже девушкой, выжимая деньги из ее любовников, как воду из мокрой губки.

— Однако протопопица что-то уж очень расщедрилась... — не раз говорил Пузырев, когда Люба приносила то новые платья, то золотые часы, то деньги. — Может быть, она хочет загладить свои прежние отношения... Что же, я не сержусь на нее и готов помириться.

Эта наивность отца на время сражала Любу, но потом влияние Анны Ивановны перевешивало все. Так жизнь Любы тянулась около года, и она с часу на час со страхом ожидала катастрофы, т.е. что отец узнает все и прогонит ее. Намеки Матрены мучили Любу, а тут еще отец пустил какого-то квартиранта.

— Хоть бы умереть... — шептала Люба, лежа в своей постели.

Варианты к повести «В горах (Старатели)»

В Российском государственном архиве литературы и искусств (РГАЛИ) хранится рукопись Д. Н. Мамина-Сибиряка «Старатели. Очерк из жизни Среднего Урала». В подзаголовке «1880 г. 1 декабря г. Екатеринбург». Под этим названием очерк был впервые опубликован в журнале «Русская мысль» 1883, № 1-2. Подпись: Д. Сибиряк. Позднее он был переработан писателем и вышел под другим заглавием — «В горах». Последняя прижизненная публикация в сборнике «В глуши», М. 1898. Здесь отмечены рукописные варианты текста, отличающие его от последнего авторского издания.

В рукописи

с. 578 после слов: «Гришутка, мальчик лет тринадцати» — добавлено: «русая, кудрявая головка которого выставлялась из-под овчинного тулупа»;

с. 578 после слов: «плывшей по нему звездочкой» — «Я долго любовался физическим светом, который с таким трудом боролся с окружающей тьмой. В балагане стоял острый смоляной запах, которым пахли его стены, а извне ползла в балаган свежая морозная струя ночного воздуха»;

с. 578 после слов: «она прыгала и звонко била землю передними ногами» — «на которые наступала при каждом скачке»;

с. 579 вместо: «на голове у ней был повязан по-раскольничьи темно-коричневый платок» — «на голове у нее был надет коричневый платок, сильно надвинутый на глаза»;

с. 580 после слов: «следствие, всякое прочее» — «Остановился Пальцев у старейшины в дому, да ему и не поглянись там: дело было летом, так жарко, слышь, и при этом мухи. Говорит становой: «В повозке лягу». Я был в понятых и говорю, что, мол, вашему благородию будет угодно. Спать себе Пальцев лег, а проснулся утром — повозка стоит на земле, а колес как не бывало. Мы это утром собрались к нему, а он ходит вкруг повозки-то да на чем свет стоит ругается: «Ах, ангел мой (у него поговорка такая), да не подлецы ли, не варнаки ли... вот ваши пристанские». „Точно, — говорим, — пошаливают“» — «“Да чего, говорит, ангел мой, пошаливают, а они, ангел мой, пожалуй, и кожу с живого сдерут, так и не услышишь“. И ведь все смеется: дерет и смеется»;

с. 576 после слов: «человек богатенький» — «и для старой веры большой старатель»;

с. 576 после слов «а ихних делов не знает»— «А я тебе говорю, что она в свидетеле»;

с. 585 вместо: «Мне нужно домой-с. Дело есть как же-с!» — «только нужно на два слова-с... переговорить с вами»;

с. 588 после слов: «“Это вы напраслину говорите“. Немного погодя после этой сцены Заверткин что-то пошептался с хозяином и, подойдя к Калину Калинычу, заговорил:

— Ну, как твои дела, Калин Калиныч?

— Какие дела?

— Ну да вот с Аристарх Прохорычем... Ты не стесняйся, братику, говори прямо: народ здесь все свой: сору из избы не вынесем.

— Что же мне скрываться, мое дело совсем правое, — немного печально и обиженно заговорил Калин Калиныч. Я Аристарх Прохорычу давно говорил, чтобы это дело покончить, а они все смеются...

— Да в чем дело-то? — спрашивал Аристарх Прохорыч.

— Как в чем: известно — о наследстве.

Все переглянулись и сделали серьезные лица.

— Так ты расскажи подробно все, — предложил Заверткин, — а мы все и рассудим.

— Что же тут рассказывать, господа, дело самое простое, — озабоченно заговорил Калин Калиныч, — после покойного родителя нас осталось семь братьев: Иван, Петр, Семен, Никита, Гаврила, Полуехт и я... Пожили мы вместе с полгода, снохи начали вздорить, порешили разделиться и в капитале, и в домах и прочем добре... Стали мы делиться, и пошел вздор кромешный, пошло дело в суд, тогда я выдал доверенность Аристарху Прохорычу, чтобы они оборудовали все, а они оборудовать все действительно оборудовали, только мне ничего не отдали. Срок, говорят, не вышел и время все свободного у нас нет. Вот и сегодня, я по делу пришел, а они ночевать оставили.

— Так ты говоришь, что Аристарх Прохорыч получил твою часть наследства? — оратовал Заверткин.

— Точно так-с.

— И говоришь, что все свободного времени ему нет отдать эту часть?

— Все, говорит, недосуг.

Послышался сдержанный смех.

— Как же ты, ангел мой, получил, а не отдаешь? — вступился Пальцев, обращаясь к хозяину. — Ведь это, ангел мой, нехорошо...

— Дело, господа, в том, что ведь я не отпираюсь от наследства, — заговорил Гвоздев, — действительно получил все сполна... Не отпираюсь. Только теперь это дело еще не кончено, я по доверенности еще не введен во владение, а когда суд введет меня, тогда у меня расчет будет.

— А как же, Аристарх Прохорыч, деньги-то все получили? — приставал Калин Калиныч, — Ведь получили... а? В деньгах-то никакого ввода не надо.

— Ну, положим, что получил, что же из этого?

— А отчего же мне их не отдаете, если получили... Ведь теперь третий год я хожу за вами, и вы мне еще ни единой полушки не заплатили. И в дому моем живете... Ведь эти стены, — Калин Калиныч обвел глазами комнату, — покойный родитель строил, а я вот не могу вас выжить, перебиваюсь в избушке... Разве это порядок?

— Да ведь ты выдал мне доверенность? — спрашивал, в свою очередь, Гвоздев.

— Выдал-с...

— Ну я по твоей доверенности и поступаю, а ты вместо благодарности мне неприятности делаешь. И весь разговор тут...

На миг Калиныч был, видимо, поражен таким ответом и долго недоверчиво смотрел кругом, но вдруг что-то подтолкнуло его, и он, выкатив маленькие глазки, дрожащим взволнованным голосом закричал:

— Ты вор... вор... вор!.. Вот кто ты!.. Ты меня по миру пустил, разбойник!.. Ты украл мои деньги... у меня дочь!.. жена!..

Калин Калиныч бросился на Гвоздева и в каком-то исступлении стал хватать его за горло, но его остановили, и бедный старик упал на пол, рыдая, как ребенок. Эта сцена вызвала целый взрыв смеха.

— Ох, уморил, совсем уморил! — задыхаясь от смеха, кричал Федя Заверткин, — вот так доверенность... Ай да Гвоздев!..

— Ну, ангел мой, отпустил душу на покаяние... О-ха-ха-ха! — заливался Пальцев, хватаясь за бока. — Да ведь это целая комедия... сейчас картину с вас пиши... сам Соломон ногу с вами сломает! О-хо-хо!

Калин Калиныч давно лежал на полу, потом поднялся и начал смеяться вместе с другими, хотя крупные слезы текли по его щекам и конвульсии передергивали лицо.

— Вот ты как, Калин Калиныч, страмишь меня при всей честной компании, — своим вкрадчивым голосом, полушутя-полусерьезно, заговорил Гвоздев. — Сам доверенность выдал, а теперь к горлу пристал... А в который это раз? Это за мои хлопоты да за то, что я тебя с братьями разделил. Ведь они обобрали бы тебя, как милку, пустили бы по миру в чем мать родила!

— Ах, ангел мой, ангел мой, — обращаясь к Калинычу и качая головой, говорил, в свою очередь, Пальцев, — ведь ты нехорошо поступаешь. Ведь не обманул он тебя в самом деле? А ты пошел бы к адвокату, а адвокат известно, что за народ... Недалеко ходить, ангел мой, вот хоть Федор Иваныч, он бы с тебя последнюю рубашку снял!

— Сумнение все берет, — немного успокоившись, заговорил Калиныч, — да и люди все расстраивают.

— А ты их не слушай...

— И рад бы не слушать, да уж у меня сердце такое: не могу перенесть, когда сумнение возьмет. Да и бедность тоже донимает... вот дочь на возрасте... все такое...

Было тяжело и обидно смотреть на этого старика, который служил посмешищем пьяной толпы, но сам он, по-видимому, совсем не сознавал собственного унижения и только улыбался детски-добродушной улыбкой»;

с. 588 после слов: «просветлел каким-то внутренним светом» —

«— А что, Калин Калиныч, — заговорил я, воспользовавшись случаем, — твое дело с Гвоздевым кончилось?

Старик печально махнул рукой.

— Отчего же ты не обратился к адвокату?

— Как не обращаться, обращался... У меня теперь есть адвокат, только все равно, как будто и нет его: жену задушил, теперь в остроге сидит. Он уже третью так-то покончил, все из-за наследства, придушит и свою четвертую часть наследства получит. Вот оно, наследство-то, чем пахнет-с. Я и бросил-с, совсем бросил-с, потому думаю, один грех с ним, так и Господь с ним: проживем как-нибудь без

него. Теперь хоть взять Аристарх Прохорыча, наследством моим они действительно воспользовались, можно сказать, вполне и в доме моем живут, а что из этого? Ведь они не больше моего съедят или выпьют... Не два века им жить, а Богу-то кто будет отвечать?

— Почему же он вам не хочет отдавать наследства?

— А раньше-то, видите ли, действовал по доверенности от меня, а потом развелся со своей женой да и женился на моей двоюродной тетке-с, теперь и говорит-с, что и он тоже наследник. Я было к адвокату, ну да все это и пошло прахом.

— У Гвоздева теперь дело с Печенкиным?»;

с. 598 после слов: «и получше тебя ездят» — «а ты, говорит, попомни мое слово: что видел — не видел, что слышал — не слышал»;

с. 599 после слов: «в образе человеческом» — «Но русые, мягкие кудри едва были тронуты сединой»;

с. 600 вместо: «я тогда с гуртовщиками ходил в степи» — «я тогда жил в степи»;

с. 600 вместо: «слепой выйдет» — «слепой выйдет на Талой»,

вместо: «согласиться на это приглашение» — «согласиться на это любезное приглашение»,

вместо: «Василиса Мироновна ехали впереди» — «наша дама ехала впереди»;

с. 602 после слов: «богатейшей железной руды» — «а у ее подножия лежит знаменитая медная шахта, из которой уже добыто несколько миллионов пудов меди»,

после слов: «точно нора какого-то подземного чудовища» — «зарывающегося вглубь все дальше и дальше»;

с. 602 после слов: «принимая прежнее название Старицы» —

«Благодаря своим неистощимым естественным богатствам Старый завод сделался одним из богатейших заводов на Урале и привлекал тысячами населения, пятью богатыми церквами и главное — блестящим будущим впереди. Веселый вид его бревенчатых домиков, бойкие и смышленые лица рабочих — все говорит за это довольство, хотя, конечно, здесь есть свои исключения и, как таковые, занимают последнее место, т. е. окраины заводского населения. Будет ли расти ядро Старого завода, его сила и достаток, или же будут расти его окраины, эта роковая оправа, их бедность и нищета, которая может съесть всякое довольство, — это, без сомнения, вопрос времени, очень недалекого, о котором, кажется, меньше всего думают под теми крепкими железными крышами, выкрашенными яркой зеленой краской, под которыми живет в Старом заводе все, что в нем есть богатого и довольного своей судьбой, что создало свое довольство еще в трудные и темные времена крепостного права или в смутную неопределенную эпоху, непосредственно следовавшую за ним, когда горсть очень сильных и очень голодных людей из ничего создали большие капиталы, пока менее смелые и менее алчные только еще начинали просыпаться от долгого и тяжелого сна»;

с. 608 после слов: «условиями новой жизни» — «Въезжая в Старый завод в последний раз, я даже стоял на пути к разгадке этого вопроса, таинственная завеса неизвестного будущего открывалась сама собой, и впереди не оставалось больше никаких сомнений. Причиной поездки в Старый завод был процесс Гвоздева, о котором говорили за целых полгода вперед, и стоустая молва обещала богатые подробности, которыми этот знаменитый в уральских летописях процесс должен был осветить прошедшее и настоящее Старого завода. По рассказам Калина Ка-

линыча, я в общих чертах был знаком с «делами» этих «двух слепцов», как выразилась Василиса Мироновна о Гвоздеве и его противнике, но вся суть была в подробностях, в его бытовой стороне, потому что сцепились два сильнейших врага, «учавших битися» не на живот, а на смерть и не стеснявшихся никакими подробностями своего прошлого, только бы доконать противника»;

с. 602 после слов: «то мировой судья Федя Заверткин» — «то какой-нибудь заезжий горный инженер, один из „сих последних“ из некогда славной, но теперь вымирающей стаи знаменитого в летописях Урала „горного гнезда“»;

с. 602 после слов: «отложив на несколько дней» — «за вызовом какой-то очень важной свидетельницы»;

с. 605 после слов: «вошли в комнату» — «Я догадался, что это была та самая Евмения, или Венушка, о которой Калин Калиныч рассказывал на Балагурихе»;

с. 608 после слов: «а время бежит» — «Ха-ха-ха. Воображаю, какая из меня выйдет впоследствии старая девка: весь свет съем...»,

после слов: «плачу от злости» — «знаете стихи:

Ни умишка, ни вида приличного,

Что свинцом налита голова...»;

с. 611 вместо: «запустит в вас когти» — «запустит когти в вашего покорного слугу»;

с. 612 после слов: «рекомендовался защитник Гвоздева» — «и при этом состроил такую комическую физиономию, что Евмения только замахала руками»,

с. 612 после слов: «не выпуская рук Евмении» — «Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит, Евмения Калиновна»;

с. 613 после слов: «соглашался Гвоздев» — «залезая в передний угол, причем ему пришлось немного потревожить свой почтенный живот, придавив его в столешницу.

— Уж вы извините нас за наше убожество, — со смирением говорил Калин Калиныч, подавая Гвоздеву стакан чаю.

— Пожалуйста, дядюшка, мы люди совсем простые, — говорил Гвоздев, принимая стакан»;

с. 614 после: «Благодарствуйте!» — «Всей семьей разместились за небольшим столиком, не покрытым даже скатертью, потому что очевидно Евмения считала и скатерть таким же предрассудком, как ношение юбок; лубочные архиереи и генералы смотрели со стен убогой лачужки Калина Калиныча на наш чай строго укоризненно, точно и им хотелось принять участие в этой веселой трапезе, где все смеялись и шутили»;

с. 617 после слов: «несколько пар» — «судьба в лице моего соседа, кажется, решилась преследовать меня, только что я поместился за одним столиком в угловой комнате, как предо мной точно из-под земли вырос мой тайный враг, которого я сразу узнал. Это был самый ветхозаветный купчик, в длиннополом сюртуке и в сапогах бутылкой, он подошел прямо ко мне и с самой безобидной улыбкой проговорил:

— Кажется, соседи-с? Очень приятно познакомиться. Смертная тоска одолела в номере-то сидючи, дай, думаю, выйду на людей хотя поглядеть. Понимаете: дома жена, дети, торговлишка, а я вот здесь. Все бросил да сюда поехал, потому невозможно: повестка из суда. А все из-за чего? Обедали вместе у Гвоздева... Вот и сде-

лали свидетелем. А все, грех их, адвокаты мутят! Видели адвоката у Гвоздева? Вот так адвока-ат. Водку как хлещет, — так рюмку за рюмкой и хлопает. Сейчас видно, что столичная штука, точно семипудовый осетр, а у нас все какие-то дохленькие. Может, Заверткина Федора Иваныча знаете? Мы его винной каплей зовем.

— Плохо кормят, так и не отъедается, — пошутил я.

— Зачем плохо, нет, им пожаловаться на нас нельзя, только выходит, что не в коня овес... Вот Праведный: хоть сейчас в протодьяконы ставь. А наш что? У нас есть тоже один адвокат, Сирота по фамилии-то, у этих адвокатов только и фамилии: думать, так не придумаешь! А мы привыкли, только раз для смеху иногда пошутить: Ну, что, мол, сирота казанская?.. Ей богу-с! Так этот самый Сирота какую штуку выкинул над одним нашим купцом. Может быть, слыхали, Иван Сидорыч Свинушкин? Нет? Отличный человек, мукой занимается и мельницу свою имеет. Вот у этого Свинушкина было на одного купца векселей на целых десять тысяч, срок им вышел, надо представлять их ко взысканию, а Свинушкин не знает, как и двери-то в окружном суде отворяются. А у Свинушкина был знакомый нотариус, Светловостоков-с по фамилии, вот Свинушкин к нему и толкнулся, так и так, денег много, а взять не умею. Светловостоков посмотрел все векселя, все в порядке, как следовает, он и говорит Свинушкину, что, пожалуй, возьмемся предъявить, а по старой дружбе просит пятьдесят рублей. Обидно это показалось Свинушкину, что Светловостоков по знакомству от него денег хочет взять, возьми и поди к Сироте, а тот посмотрел векселя да прямо: «Семьсот рублей». Свинушкин туда-сюда, а Сирота ему: «Разве я, — говорит, — торгаш какой? Ступай к своему Югозападову, если денег не хочешь получить...». Свинушкин подумал-подумал да взял условие и подписал, а Сирота взял его векселя, написал на них две строчки, что, дескать, предъявляются оные векселя в такой-то суд, прошу по оным векселям взыскать с такого-то купца оную сумму, да и говорит: «Готово, пожалуйте денежки!». Свинушкин и рот растворил: «За что?» — говорит. Ну, помялся, помялся и заплатил за две строчки семьсот рубликов, потому условие — ничего не поделаешь. Встречал я его после, рассказал он мне все, как было дело, да и говорит: «Сирота взял с меня семьсот рублей, это точно, а у него рука такая тяжелая, а ты вот что скажи — за что Светловостоков-то с меня пятьдесят рублей просил? А? Это за две-то строки, да еще с знакомого человека?». Вот какие у нас дела выходят: семьсот рублей не жаль, а пятьдесят жаль! Нет, нашим адвокатам на нас жаловаться не приходится, хоть взять вот Заверткина, он по-настоящему мировой судья, а у нас идет за адвоката, а ведь смотреть не на кого, особливо супротив Праведного: словесности в нем не хватает да и видимости никакой нет... У Гвоздева он вторым адвокатом: это, значит, Праведный позабудет, то это самое должен говорить Заверткин. По-настоящему это называется: на затычку!». Мой сосед продолжал еще рассказывать что-то, вероятно что-нибудь не менее интересное, но я только делал вид, что слушаю, и поспешил поскорее уйти от него. Есть такие милые люди, которые обладают замечательной способностью говорить сколько угодно, только бы их слушали, мой сосед, по-видимому, принадлежал к этому разряду людей и скоро овладел каким-то новым слушателем, которому и пришлось выслушать все, что накопилось у него на душе»;

с. 617 после слов: «глубоко и безнадежно развратные» — «В костюме Заверткина была одна особенность, по которой его можно было узнать даже издали,

особенно когда он танцевал с своим обычным воодушевлением, это белое пространство, которое всегда оставалось у него между жилетом и брюками. Замечательно было то, что это белое пространство постепенно увеличивалось соразмерно тому crescendo, каким пьянел мировой судья. Конечно, это белое пространство должно было сильно шокировать старозаводских дам, но к их чести нужно сказать, что они совсем отказались от некоторых предрассудков, свойственных их полу, и совсем снисходительно относились к некоторым недостаткам в туалете своих кавалеров, потому что что могут понимать в туалете кавалеры вообще.

с. 618 после слов: «сходство с каланчой» — «Я долго вслушивался в разговоры этих удивительных существ, которые из всех способностей не утратили только одну — пройтись на счет ближнего самым ядовитым образом»;

с. 619 вместо: «шла с замечательным равнодушием» — «шла с замечательным стоицизмом»,

после «поблекшими губами» — «и злобными глазами провожала Евмению»;

с. 620 вместо: «какой-то грек» — «какой-то забвенный грек»;

с. 620 после слов: «убийственно-равнодушным взглядом» — точно это было какое-нибудь вступление счастливого победителя на завоеванные провинции. «Господи, какие иногда важные люди встречаются на Руси... Даже вчуже делается страшным за них приезжающим смертным, которым приходится обращаться к этим олимпийцам, не имеющим привычки поворачивать головы и обладающим необыкновенной способностью смотреть в одну точку. Так смотрят, говорит предание, только орлы на солнце, доктора на своих пациентов, осмеливающихся дышать по их милости. Нет, и тысячу раз нет, не оскудела еще наша земля богатырями: поезжайте в провинцию, посмотрите на любого земского доктора, каждый из них так и выглядит по меньшей мере спасителем отечества, который лениво цедит сквозь зубы, словно курит дорогие сигары, и говорит, как оракул, одними афоризмами»;

с. 621 после слов: «и вообще, и в подробностях» — «Нашего брата, учителей, целыми десятками увольняет, особенно если ему не понравится чья-нибудь физиономия»,

после слов: «какие только существуют» — «Раз я еду к одной моей подруге, тоже учительнице, дорога дальняя, верст сорок, а время осеннее, распутица, я взяла верховую лошадь да в седле и качу. Вы не верите? Ведь дороги здесь ужасные, а нанять тройку не хватает финансов. Вот еду я так по дороге и вдруг слышу, догоняет меня какая-то тройка, колокольчик названивает, и потом как что-то заревет в повозке, лошадь на дыбы, я не удержалась в седле да в грязь во весь бок. Тройка подъехала, из экипажа выскакивает какой-то господин и помогает мне выбраться из грязи и извиняется, что он испугал нечаянно мою лошадь... Это и был сам председатель. Видите ли... у него была с собой какая-то заморская модная труба, гобой или тромбон, словом, что-то вроде этого, так он на ней и упражнялся дорогой, потому что жена не дает ему играть на ней дома. Посмеялись и разъехались...»;

с. 621 после слов: «недоверчиво качала головой» — «„Два сапога — пара“, — шептала безбожно-толстая дама, кивая головой в сторону удалявшейся пары, — сама назначает tête-à-tête, сама ведет его в сад. Это какая-то куртизанка!!»;

с. 622 после слов: «Не воздыханий» — «Поверенный Печенкина, какой-то адвокат Брюховинский, отличался от всей остальной компании своими изящными

манерами и очень серьезным лицом, украшенным небольшой бородкой и золотыми очками; он говорил мало, а все ел, сначала какую-то рыбу, потом бифштекс, потом опять рыбу, затем котлеты просто и котлеты с шампанским»;

с. 628 после слов: «целоваться с мамочкой“» — «В этом общем веселье не принимали участие только земский доктор и министр, которые стояли около прилавка буфета, выбирая, что бы им выпить.

— Разве по рюмке водки выпить, — предлагал доктор.

— А почему я до-о-олжен выпить ррю-юмку водки-и? — спрашивал министр.

— Для пищеварения.

— Ххо-ро-ошо.

— А вот балык, Митрофан Авдеич.

— А поче-поче-ему я должен балыком твоим закусывать?

— Для пищеварения.

— Хорошо.

Закусив балыком и взяв министра за борт сюртука, доктор начал объяснять ему разницу между теорией медицины и практической медициной, министр слушал его, вытянув шею и беззвучно шевеля сухими губами.

— Понимаешь? Практическая медицина — это младшая сестра теоретической медицины, — горячо говорил доктор, переходя рукой по воротнику министерского сюртука. — Вот, например, в ваших земских школах всегда стоит страшная вонь, а почему? Оттого что вы все никакого понятия не имеете о гигиене... Понимаете?

— Гигиене?.. А что такое гигиена?

— Я говорю вам, что практическая медицина — младшая сестра теоретической медицины.

— А черт же их мать? — озлившись, спрашивал министр.

— Нужна вентиляция в школах, — продолжал доктор на возражения министра.

— Это и есть гигиена?

— Что «это»?

— Вввентиляция ваша...»;

с. 622 после слов: «на другом конце деревни, чем убитый...» — «Как быть? Сейчас взял какую-то медицинскую книжку и доказал как дважды два, что убитый не мог бы прийти домой с такой раной на голове, которая была безусловно смертельна, следовательно, убитый получил рану в другом месте и, следовательно, мой доверитель невинен. Сказал все это горячо, сел и жду, как прокурор сейчас зарежет меня, раба божия; стоило только сказать: а как же убитый мог из другого-то места с раной придти домой? Понимаете — ведь вся бы моя речь пошла прахом и закатили бы нас в кутузку. А прокурор был молоденький мальчишка, начал определять, что есть преступление, субъект и объект преступлений, а слона-то и не приметил. Ведь оправдали моего доверителя... Могу сказать, что я его освободил от каторги. В другой раз...»;

с. 623 после слов: «какие-нибудь пошлости» — «Я долго наблюдал эту страшную полуазиатскую публику, стараясь разгадать, какое удовольствие могли находить дамы и кавалеры в этой бестолковой толкотне»;

с. 624 после слов: «И вы думаете, что найдутся такие роли для меня?» —

«— Этого я не думаю, потому что совсем не знаю вас, но думаю, что каждый должен идти своей собственной дорогой, а для этого нужна сила воли и выдерж-

ка характера. Лучше и для общества, и для вас, если вы вместо посредственной учительницы, избравшей карьеру только из-за куска хлеба, будете хорошей актрисой. Конечно, это слишком смелая игра, и никто вперед не может сказать о несомненном успехе, потому что даже талантливые натуры за недостатком энергии положительно гибнут на этом слишком скалистом пути»,

с. 624 после слов: «по Савве и слава». —

«— Однако, прощайте, — проговорила Евмения серьезным голосом, поднимаясь с места, — мне пора домой. Вон Брюховинский высматривает меня, чтобы душу тянуть. Ведь я свидетельницей по этому дурацкому делу Гвоздева с Печенкиным, вот и пристают с ножом к горлу. Прощайте! Я сегодня страшно устала, — говорила разбитным голосом Евмения, протягивая мне руку. — Вероятно, увидимся... На суде»;

с. 624 после слов: «всякими словами» — «сукины подлецы»

с. 625 вместо: «сгоравшим от избытка сил» — «сгоравшим под напором собственных сил»;

с. 626 после слов: «не укладывались в голове» — «Что значило это уединение, скука жизни и меланхолия; неужели все то, что говорили про Евмению клубные дамы, было правда? Из уважения к имени сельской учительницы, этой беззаветной труженицы, погребенной в медвежьей глуши, я не хотел дурно думать об Евмении, тем более, что и дела никакого не было до этой странной девушки, с которой пришлось встретиться совершенно случайно и, вероятно, больше никогда не доведется встретиться во второй раз»;

с. 626 вместо: «дошел до непозволительных вольностей» — «устроил как-то так, что его длинные ноги попали под юбки красавицы и даже переплели ее ноги»;

с. 628 после слов: «отрицала с таким самоотвержением» — «и которые теперь служили для нее таким необходимым дополнением»,

после слов: «и сделалась выше и полнее» — «появилось стремление к округленности форм и всем прелестям атуров, заметно было стремление показать ногу во всей архитектурной красоте, как говорил Щедрин, а все то, в чем природа отказала Евмении, сравнительно с французскими актрисами, было или скрыто и затушевано, или заменено посторонними вещами, как-то: „ватой и стальными пружинами“»;

с. 629 после слов: «делая глазки своему кавалеру» — «она позволяла себе некоторые вольности в обращении, но в тех строгих границах и с тем тактом, который позволяет женщинам делать даже некоторые малые глупости и вместе с тем оставаться на некоторой высоте, заманчивой и недоступной»;

с. 630 после слова: «Обидеться?» — «Да разве эти свиньи могут на что-нибудь обижаться?! Ха-ха-ха»,

после слов: «устраивать пикники для нас» — «Ах, как весело бывает, когда на тройках мы едем в красный кабачок или к Дороти... Я всегда правлю тройкой...»;

с. 638 после слов: «не нуждалась больше в декорациях» — «Она вошла в состав этого снежного кома, увеличивающегося от собственного движения вперед, который на пути давил своей тяжестью все, что не могло или не желало войти в его состав; свободного выбора не оставалось, являлась дилемма — или быть ядущим, или сделаться ядомым. Этот железный закон находил свое выражение с безжалостной последовательностью, и люди теряли уже всякое значение сами по себе как люди, а имели его только как различные фазы и стадии в

развитии этого закона. Евмения выбрала первое и как женщина отразила в себе этот закон рельефно и живо, не умея или не желая скрыть того, что так глубоко хоронила в своей душе; было очевидно, что Евмения была одержима жаждой оторвать свою долю на этом пире прожигания жизни и в обществе этих сомнительных князей с головой опускалась в ту сферу, где преобладающими инстинктами были скачка за наслаждениями, выражавшаяся в этих ужинах, пикниках и всяких других partie de plaisire»;

с. 633 после слов: «сновала по платформе» — «Заводчики и золотопромышленники резко выдавались среди остальной толпы своими внушительными физиономиями и солидными манерами; адвокаты тянули горькую за буфетом, разговаривая между собой громко и развязно, как люди, привыкшие быть всегда на глазах у публики. Одни купцы остались прежними купцами, как образы старинного письма в тех же длиннополых сюртуках, глухих жилетах, постоянно кряхтели, жаловались на дороговизну и „пропускали по маленькой“»;

с. 635 после слов: «Что я его успокоил» — «А ведь она, Венушка-то, что тогда сделала, — говорил в раздумье старик, — когда выходила из школы-то. Ведь нарошно пошла к Захар Иванычу, может, помните его, Венушка его министром все звала-с. Пришла к нему да перстом и показала ему... Ей-богу-с. Так прямо и показала фигу-с... Он прибежал ко мне, давай меня ругать, а я что — разве я посылал Венушку к нему. Даже ногами на меня топал и пригрозил, что всех учительниц за эту самую фигу по миру пустит... А разговор-то у него так-то не красен, а тут в исступлении себя и совсем разобрать ничего не можно было, так уж он рукой мне показал, как его Венушка обидела».

после слов: «по душу мою приходил».

К с. 637 «— А ведь Аристарх Прохорыч расплатился со мной, — заговорил снова Калин Калиныч, улыбаясь больной улыбкой, — да-с...

И вот диван, на котором сейчас лежу, послали мне. Как я захворал, сейчас и послали. Положим, что этот самый диван еще от родителя мне достался, а все-таки Аристрах Прохорыч его послали.

— А деньги вам отдал?

— Да-с, как же-с. Оно хоть не деньги, а все равно вроде денег-с, — торопливо говорил старик, доставая из-под подушки какую-то затасканную бумагу. — Как тогда их ослобонили на суде, я к ним пристал-с, все равно, что с ножом к горлу: отдавай мои деньги и кончено-с... Хе-хе! Полгода говорил, что у него время нет, это он и раньше говорил, потом заговорил, что он выдаст мне вексель, только этого векселя не выдавал опять полгода, рука болела, значит, надписывать-то этот вексель ему нечем было, а ногой его не напишешь... А я все наступаю, так и режу: вы, мол, в перчатках ходите, так и не разберешь... Реметизм, говорит, дяденька, одолел, а я ему не верю и все наступаю и даже начал дерзкие слова выражать-с... Мялся, мялся Аристарх Прохорыч, а как я его донял — и дал мне 20 руб. этим векселем, получай сполна. Вот, посмотрите.

Я развернул бумагу, где был действительно вексель, только без всякой подписи Гвоздева.

— А для чего же подпись? — недоумевал старик. — Ведь он при мне эту бумаги своими руками, я слыхивал, что на векселя подпись нужна да сказать-то это посовестился Аристарх Прохорычу, потому что они со мной рассчитались начистоту».

Глава XV начинается иначе.

К с. 645 «Мне пришлось прожить в Старом заводе дней пять. В это время приехал архиерей, причем его прибытие ознаменовалось крупным скандалом, устроенным Гвоздевым в пику старозаводскому заводоуправлению. Архиерей объезжал свою епархию обыкновенно в июне месяце, посещая по очереди один уезд за другим, но в нынешнюю свою поездку Старый завод не вошел в маршрут преосвященного, который должен был объезжать другую половину ...ской губернии. Новая церковь была уже готова к освящению и благодаря такому маршруту преосвященного должна была остаться неосвященной до следующего лета, что совсем не входило в расчеты Гвоздева, почему он лично отправился к архиерею. Достав его где-то в отдаленном уезде, Гвоздев на коленях умолял его непременно ехать в Старый завод, причем все расходы поездки принимал на свой счет, только бы владыка освятил отстроенный храм. Преосвященный наконец согласился и послал в Старый завод телеграмму, чтобы приготовлялись к его встрече. По примеру прошлых лет в господском доме было приготовлено особое помещение для принятия архиерея Гвоздевым, и в назначенный день духовенство с о. Нектарием во главе отправилось встретить владыку на вокзал железной дороги, но тут-то и произошел знаменитый пассаж, потому что Гвоздев привез владыку со всей свитой не по железной дороге, а малыми дорогами и не в архиерейскую квартиру, а в свой собственный дом, где уже все давно было приготовлено к встрече такого важного гостя. Пока духовенство дожидалось преосвященного на вокзале железной дороги и гудели колокола всех церквей, Гвоздев торжественно через весь Старый завод прокатил архиерея в свой новенький, великолепно отстроенный дом. Заводоуправление осталось с носом, и духовенство с вокзала отправилось поздравить владыку с приездом прямо в дом Гвоздева, торжествовавшего полную победу. Весь Старый завод пришел в ужас от такой ловкой штуки знаменитого Аристашки, но он и в ус не дул; пребывание самого преосвященного в его доме придало ему сразу громадный авторитет, чего он только и добивался.

Это похищение архиерея со всей свитой заставило говорить о себе целых два дня, по прошествии которых было назначено освящение новой церкви, приходившееся в воскресенье, когда народ будет свободен от работ, чтобы своим присутствием придать полную торжественность готовящемуся торжеству открытия храма 19 февраля.

В воскресенье с раннего утра народ толпами двигался по направлению к новой церкви, где уже все было приготовлено для освящения. Утро было отличным, солнце весело играло в небе, и народ, не поместившийся в храм, трехтысячной толпой собрался на площади пред ней, ожидая приезда архиерея. Обыкновенно в торжественных случаях архиерею подавалась парадная карета от заводоуправления, и в этот раз, хотя преосвященный и остановился в доме Гвоздева, заводоуправление послало ему карету, но Гвоздев как-то сумел отстранить ее и привез архиерея в церковь в собственной пролетке, запряженной парой наотлет. Трехтысячная толпа народа глухо загудела и заколыхалась, как море, когда к церкви лихо подкатила пролетка, на которой рядом с архиереем сидел Гвоздев.

Церковь была полна народом, архиерейские певчие стояли на клиросах, и громадного роста протодиакон с важностью индийского петуха ходил по амвону. Вся старозаводская аристократия была налицо и столпилась пред амвоном

и вокруг архиерейской кафедры. Большинство публики были дамы, задыхавшиеся от жары, но непременно лезшие вперед, не обращая внимания ни на какие толчки и невозможную давку. Пальцеву в этот день было слишком много хлопот, и его пушистые рыжие усы мелькали как-то разом в нескольких местах; Заверткин, гордо откинув свою пустую голову назад, стоял впереди всех, как мировой судья. Гвоздев бегал в алтарь и только изредка появлялся на амвоне, скромно глядя по сторонам своими глубоко впавшими глазками. В этой тысячной толпе выделялась даже голова и длинный нос Димитраки, который попал на освящении церкви, вероятно, по ошибке, потому что было покрыто глубоким мраком неизвестности, к какой религии принадлежит этот благочестивый человек, хотя по вечерам он и пил русскую водку с о. Нектарием. Внутренняя отделка новой церкви отличалась простотой и изяществом, а с высокого купола падал целыми снопами яркий свет; новенький, с иголочки иконостас так и горел золочеными арабесками, а образа в древнегреческом вкусе придавали ему строгий и величественный характер. Семь священников, собравшихся с местных заводов, участвовали в этом торжественном богослужении, но, без сомнения, между ними первое место принадлежало о. Нектарию, который с торжественной важностью откладывал глубокие поклоны. Отличный хор певчих исполнял с особенным дыханием бессмертные мотивы Бортнянского, Бахметьева и Львова, наполнявшие всю церковь торжественными аккордами, смело возносившимися горе и тихо замиравшими в глубоком куполе, где группы ангелов с опущенными головами стояли на коленях пред Отцом света. Глядя не все это великолепие, на тысячную толпу кругом, я невольно вспомнил про Калина Калиныча: сколько было хлопот бедному старику из-за каждой доски, из-за каждого лишнего кирпича... А сколько раз он бегал взад и вперед по лесам вокруг строившихся стен, сколько раз он прикидывал в своей круглой голове, как бы все достать получше, и теперь, если бы болезнь не приковала старика к постели, как бы он бегал и хлопотал за десятерых по такому торжественному случаю. Мне было жаль старика и обидно за него: устраивал-устраивал, хлопотал, выбивался из сил, терпел всевозможные нарекания, а теперь вся честь строителя храма всецело принадлежала Гвоздеву. Он стоял впереди всех и со слезами на глазах опускался на колени, когда рыжий протодиакон своим семипушечным басом провозгласил на ектении: « и о строителе святого храма сего рцем...»). Вот вышли ... (неразб.) и их тихие, звенящие серебряными нотами, голоса, казалось, сливались с волнами ладана, а преосвященный Питирим с трикирием и двукирием в руках начал благословлять молившийся народ... Это была торжественная минута, когда владыка своим старческим голосом прочел молитву: «Призри, Господи с небесе и виждь, и посети вертоград сей, егоже насади десница Твоя!»

Первая проповедь во вновь освященной церкви была назначена к произношению преп. о. Нектария, который и вышел на амвон, когда в новом алтаре совершалось в первый раз таинство евхаристии. Благочестивым взглядом обвел о. Нектарий приготовившуюся слушать толпу и, сделав громкое воззвание к Отцу, и Сыну, и Святому Духу, прочел тему, по которой была приготовлена проповедь. Это был стих из Евангелия Матфея: «Созижду Церковь Мою и врата адовы не одолеют ее».

Для чего собрались мы, православные слушатели, в сие священное место, так начал о. Нектарий. Для чего воздымаются горе́ волны фимиама? Для чего возно-

сятся радостные клики клира? Для чего, повторяю, мы собрались сюда: смотреть ли на человека, одетого в пышные одежды, иль, может быть, на трость, колеблемую ветром в пустыне, как вопрошал Израиля Святый Предтеча Христов. Нет и нет!... Как во дни Соломона тысячи народа пришли на освящение великого храма, который осенила слава Господня в виде облака, так и ныне вы, православные слушатели, стеклись на освящение сего храма к нашей общей матери, ибо сам Господь сказал: созижду церковь мою, и врата адовы не одолеют ее!... Но настоящий день, служители, связан для нас с воспоминаниям величайшего события в нашей истории, которым освобождены двадцать два миллиона русских матерей от крепостной зависимости, и таким образом, настоящее освящение храма есть вместе и освящение памятника народной свободы, поэтому для нас, собравшихся здесь, это освящение должно быть удвоенной радостью, ибо — созижду Церковь мою, и врата адовы не одолеют ее!...

Нужно отдать справедливость о. Нектарию, что он обладал недюжинным красноречием, и его проповедь произвела сильное впечатление на всю публику, а Гвоздев плакал, как ребенок, на этот раз уже от радости. Свою довольно длинную проповедь о. Нектарий закончил самым блестящим образом:

— Итак, православные слушатели, мы собрались сюда для одной духовной радости, слившей наши сердца в одно общее вспоминание великого события, но как великие, так и малые события требуют своего исполнителя... И мы, православные слушатели, не могли бы собраться в сие священное место для нашей общей молитвы, если бы эти стены не были выстроены и украшены тщанием и особенным старанием того, который стоит среди вас и, может быть, с скромностью Соломона, в душе просит себе не богатства, не почестей, не славы, а одной мудрости. Мы, пастыри церкви, особенно должны ценить малых сих, которые в наш развращенный век прилепляются к церкви, не жалеют для ее благолепия никаких средств и трудов, а поэтому мы можем воскликнуть вместе с пророком: Жив Господь Бог Израилев и жива душа моя: еще седмь тысящ мужей не преклоняло колен пред Ваалом, ибо — созижду Церковь мою, и врата адовы не одолеют ее!

Второй Соломон скромно опустил глаза при этом слишком прозрачном намеке и принялся усердно откладывать земные поклоны.

После освящение церкви владыко проехал прямо в дом Гвоздева, где был приготовлен роскошный обед, и толпа публики, состоявшей из званых и незваных, с нетерпением ожидала этого торжества. Гвоздев жил уже не в доме Калина Калиныча, а в своем собственном, который только что успел отстроить и украсить, как только умел. Действительно, этот длинный одноэтажный дом был выстроен на славу, а внутри убран с замечательной роскошью; целая анфилада комнат была убрана в русском вкусе с резной дубовой и ореховой мебелью, с ярко расписанными потолками, пестрыми обоями и серыми драпировками, расшитыми синими и красными петухами. Золото на обоях, золото на карнизах и арабесках, золото везде, где только его можно было посадить; дорогие персидские ковры, бронза, малахитовые вазы, картины в тяжелых золотых рамах, — все било на эффект ярким блеском золота и всеми цветами радуги. Громадная зала, где был накрыт стол для обеда, была отделана с княжеской роскошью: красивый паркет, хоры для музыкантов, стены, расписанные трафаретом, а главное — потолок, унизанный золотыми и серебряными звездочками, засыпанный, точно живыми цветами, амурами и красивыми арабеска-

ми. Правда, все это было очень пестро, отдавая азиатским происхождением, но едва ли кто-нибудь думал об этом, потому что и публика, собравшаяся в этих стенах, была так же пестра, как потолок, и так же отдавала азиатской закваской. Я получил приглашение принять участие в этом обеде и вместе с другими гостями долго переходил из одной комнаты в другую, любуясь этой бездумной роскошью. Конечно, в числе гостей были и Пальцев, и Заверткин, и Димитраки, и сам министр, и земский доктор, но что меня больше всего удивило, так это присутствие в этой пестрой толпе гостей Печенкина и «мамочки».

— Давным-давно помирились, ангел мой, — объяснил Пальцев, обслуживая мне чичероне: у нас уж заведенье такое: поссорились, потешились и довольно, надо и честь знать... Я их и мирил: сначала тоже оба артачились, упирались, как два барана, а я все-таки помирил их. Теперь не наглядятся друг на друга... Нет, ангел мой, этих наших дел не разобрать никаким астрономам!

Итак, Печенкин и Гвоздев помирились, вероятно, не желая проделывать гоголевскую ссору Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Я долго думал над этой необъяснимой ничем аномалией, которая стоит вне всяких законов логики и психологии, в самом деле, если разобрать любую ссору русского человека, целый ряд его замирений, в том и другом случае действующей силой является какая-то фатальность: из-за пустяков люди лезут на стену, душат и режут друг друга, и тут же забывают самые смелые оскорбления, которых не простит, вероятно, европеец родному отцу. Азиатское ли происхождение, славянская распущенность или то и другое вместе, но факт в лице, и вероятно всякий может его проверить наблюдением за самим собою.

После слов: «особенно слушать, как рассказывают другие»: —

«Среди гостей появилась жена Гвоздева, высокая и необыкновенно красивая женщина с улыбающимся лицом и медленными движениями.

— Посмотрите — вон жена Гвоздева, — говорил мне Пальцев, — ведь красавица, ангел мой! Гвоздев для нее развелся со своей прежней женой. Взглянет, как рублем подарит. Только и подлец этот Аристашка, окаянный.

В Старом заводе считалось делом самым обыкновенным есть чужой обед, пить чужое вино и тут же, за столом, злословить хозяина и хозяйку, никто не считает это неприличным, и поэтому я нисколько не удивился словам Гвоздева, только вспомнил, глядя на Гвоздеву, несчастную Анну Каренину, которая никак не могла развестись с мужем. Что было невозможно для Карениной, то было возможно для Гвоздева».

К сцене пира у Гвоздева:

«Лакеи в белых перчатках подавали одно кушанье за другим; на первом плане, конечно, была рыба, самая разнообразная и во всех формах: уха из живых харюзов, уха стерляжья, трехпудовый осетр, зажаренный целиком, как его создала мать-природа, таймени с розоватым нежным мясом, семга и еще целый ряд рыб, название которых я не упомню. Все это, сваренное или зажаренное, заправленное мудреными начинками и приправленное остроумнейшими соусами из трюфелей, грецких орехов, анчоусов, с оливками, каперсами и тому подобными приправами, подавалось на стол, съедалось и сейчас заменялось каким-нибудь другим кушанием. Гостей было человек двести, так что нужно было очень много всякой снеди, чтобы наполнить эти двести кровожадных желудков,

как известно, чувствительных не столько к качеству съедаемого, сколько к его количеству.

Гвоздев был чудо-хозяин и своим недремлющим оком зорко следил, чтобы ни один рот не оставался без работы, и у каждого прибора рюмки стояли полными; он успевал каждому сказать что-нибудь приятное, пожать крепко руку, обнять — словом, это было само воплощение гостеприимства, и Гвоздев угощал своих двести гостей с таким искусством, с каким, вероятно, не умел принять трех странников сам Авраам под сенью своего дома.

— А ладно, ангел мой, какую дулю сегодня съел Штукмакер, — говорил мне Пальцев, тыкая вилкой в разварную стерлядь. — Ведь он сегодня опять ждал владыку в господский дом, и все было приготовлено к обеду... Это уж порядок такой у нас на заводах: владыко всегда обедал в господском доме, а нынче Аристашка не захотел, и баста. Прямо из церкви взял владыку под ручку да к себе прямо и прикатил... Штукмахер ждал-ждал, а Аристашка послал к нему протодиакона с певчими. Ведь не принял их, ангел мой. Мне, говорит, посылай большего попа... Ну, этот уж дудки, рылом еще не вышел, немецкая затычка, чтобы отдали мы тебе большого попа. Мы его, ангел мой, большого-то попа в поте лица добывали, а тут отдай его Штукмахеру за здорово живешь!... Не-ет, не угодно ли вот о. протодиакона, он за одним обедом съест и выпьет столько, сколько пяти владыкам в три года не потребить.

— Зачем вы обидели Штукмахера, — вступился я, — ведь он хлопотал, хотел оказать честь...

— Не-ет, ангел мой, это — труба... Штукмахер сегодня здесь, а завтра и след простыл: ведь все немцы на один манер — насосался русских денег и марш в свою Германию гороховую колбасу есть. А ведь Аристашка это все-таки свой человек, положим, что он нестерпимый разбойник, а все-таки он выходит как от костей наших, и плоть от плоти...

— Значит, у вас антагонизм с заводоуправлением?

— Никакого антагонизма, ангел мой, мы и не слыхивали, а если другой раз в газете набредешь на такое мудреное слово, так прочитаешь его да и читаешь дальше: смысл-то ведь один выходит, и эти мудреные слова еще тоску наведут. А Штукмахер все-таки пусть не сует своего суконного рыла в пушной ряд... Слыхали, какую проповедь о. Нектарий сказал? Понимаете, освобождение двадцати миллионов крестьян празднуем, так Штукмахеру нечего, уж совсем нечего свой немецкий нос совать. Да-с! Понимаете, он, ангел мой, свобода... Вот мы ее и празднуем». Ведь это легко сказать, свобода! Да, ангел мой!

Маленькие глазки Пальцева светились хитрым огоньком, а под щетинистыми рыжими усами ползала неуловимая, как ящерица, улыбка, так что трудно было сказать: смеялся Пальцев или говорил серьезно. Вернее всего было предположить то, что под влиянием выпитого вина Пальцев плохо отдавал себе отчет в своих словах. После рыбных кушаний начались бесконечные тосты: пили за здоровье владыки, пили за освобождение крестьян, пили за здоровье строителя освященного храма. Владыко наотрез отказался от шампанского, строго покачав головой:

— Монаху не подобает к сему прикасаться, — говорил владыко, добродушно улыбаясь и показывая глазами на бокал с шампанским, с которым стоял пред ним Гвоздев, — апостол говорит: не упивайтеся вином...

— Ах, ваше преосвященство, ваше преосвященство, — настаивал Гвоздев, — я хоть и темный человек, а помню, что в уставе монастырском даже показаны дни, когда разрешается вино и елей...

— Да, да это принято на востоке.

— Ваше преосвященство! — и с этими словами Гвоздев опустился на колени, продолжая держать в руках серебряный поднос. — Не встану, пока вы не выпьете по такому торжественному случаю... Для меня настоящий день — двойное торжество, ведь я сам был крепостным, ваше преосвященство!... — Гвоздев заплакал от переполнявших его чувств.

Владыко не устоял и принял бокал от Гвоздева, музыка заиграла «Коль славен», все чокались, поздравляли друг друга, Гвоздев, продолжая стоять на коленях, со слезами на глазах целовал руки умиленного этим зрелищем владыки, о. Нектарий тоже плакал.

— Не подлец ли этот Аристашка после этого, — шептал Пальцев, моргая глазами, — хоть кого на грех наведет, ангел мой...

К с. 642 после слов: «но оставшаяся публика не думала уходить» —

«— Вы слышали: Грехова дебютирует на петербургской сцене, — говорил какой-то голос в толпе, — и, говорят, с успехом дебютирует.

— Кто дебютирует? — спрашивал совсем пьяный Заверткин, пошатываясь на месте и распуская слюни по жилету, — Евмения?.. Да... О, это была страстная женщина... да... да... очень страстная женщина... с огоньком бабенка... да... с огоньком... Раз мне случилось ездить с ней... по пути прокатиться взял ее... Очень весело провели время... две ночи кутили. С огоньком девчонка была!»;

Я поспешил оставить этот вертеп гостеприимного разбойника, праздновавшего теперь свой апофеоз.

с. 643 вместо: «известные куплеты» — «известную шансонетку:

Мы начальнику справляли
День двадцатипятилетья,
Спичи с шиком ковыряли
Испускали междометья...
Уж мы пили, пили, пили,
Уж мы ели, ели, ели»;

К сцене пира:

с. 644 после слов: «тяжело вздохнула» —

«Калин был православный, и меня удивило, что над ним читала раскольница. Мироновна только улыбнулась горькой улыбкой и еще тише проговорила: „Разве теперь кому есть какое дело до Калина? Грешил он много с нами, а перед смертью покаялся и в старую веру обратился. Так мы его и похороним, лучше будет, пусть хоть на том свете его душенька успокоится. От о. Нектария было приходили, да я им такое сказала, что в другой раз не придут. Да теперь им и не до Калина, все с своим архиереем нянчатся. Слышал, как Гвоздев украл архиерея?.. Теперь у них обеды да пиры, надо понравиться, где уж им о Калине думать?“.

С тяжелым чувством в душе возвращался я из избушки Калина Калиныча в „Магнит“, припоминая дорогой короткую историю моего знакомства с этим простецом и светлой душой; теперь все кончено, даже и о. Нектарий не будет просить тебя, бедного старика, „потерпеть для миру!“»;

с. 646 после слов: «вытянулся немного и — конец» — «Завещанье у него оставлено, так вот я и хотела с тобой посоветоваться насчет его, — обратилась ко мне Василиса Мироновна, — только завещание-то я собой не захватила. Ах, грех какой случился! Ведь все его на уме у себя держала, а вот совсем из памяти выкатилось.

— А как у него с Гвоздевым? — спросил я.

— Все прахом пошло, — махнув рукой, проговорила раскольница. — Калин-то, можно сказать, на тот свет от Гвоздева пошел... Доконали они его церквой своей до последнего. И раньше Калин скудался здоровьем-то, а как его отставили от церкви — он и заскучал, а тут и совсем свалился. Такой сумлительный уж человек был.

— Калин Калиныч говорил, что Гвоздев по обещанию достраивал церковь, — проговорил я.

— По обещанию... Знаем мы его обещания-то, — сурово ответила раскольница. — Весь Старый завод обошел, вот и все его обещания. А что он эту церковь устраивал и деньги на нее давал, так у Гвоздева тут была одна причина: видишь, у нас кабаки надо было отдавать от общества, и Гвоздеву хотелось их взять, и Печенкину, и еще много охотников находилось, потому дело самое выгодное: лежи на боку, тысяч пятьдесят в год с одного Старого завода в карман положишь. Те-то все были просты, а Гвоздев волостных обошел всех: прямо на сходе объявил, что на свой счет церковь достроит, а наши волостные глупы больно, сперва помялись, а потом возьми да все кабаки и отдай Гвоздеву. Ну, он им за это церковь достроил и архиерея на свой счет привез и освящение устроил, только он свое возьмет. Он неспроста развязал мошонку-то. Не таковский он человек.

— Что же он может сделать?

— А вот проводит архиерея-то, да счет и представит о. Нектарию: столько-то и столько-то стала мне вся эта церемония, пожалуйте деньги. Верное слово, это так будет, потому Гвоздев весь свет обманет. Да ему теперь что: кабаки в его руках, значит, все равно что весь Старый завод у него в кармане. У нас какой народ: заработки большие, а что заработал, то в кабак, гляди-ко-с, какие выписки получают на огненной работе или в горе, а разе богатеют? Все снесут в кабак... Реденький домишком-то обзаведется, да из одежонки что, а то все протрескают на винище. А Гвоздев все это знает, потому не один год сидельцем сам был, знает, что все на него теперь будут работать... Народ глуп, как рыба в неводу в лапищах у Гвоздева-то сидит! Больно измалодушествовал наш народ на Старом заводе. Таких людей, как Калина, днем с огнем не сыщешь. Светлая душа была покойник.

— А все-таки схожу за бумагой... У бабы волос долог, да ум короток: позвала я тебя, а выходит, понапрасну, пожалуй, и подумаешь неладно обо мне. Вы тут подождите, я живым духом схожу за бумагой-то. Больно не люблю я с этими бумагами возиться, а без них тоже нельзя... Так ты посиди здесь, — обратилась ко мне Мироновна, — я живым духом достану эту бумагу. Ум хорошо, а два лучше того».

ПРИМЕЧАНИЯ

«Горное гнездо»

Роман «Горное гнездо» был впервые опубликован в журнале «Отечественные записки» за 1884 г. в номерах 1—4. Редактор журнала М. Е. Салтыков-Щедрин прислал Мамину поощрительный отзыв на отправленную писателем первую часть произведения. Об этом Дмитрий Наркисович сообщал брату Владимиру в письме от 30 октября 1883 г.: «Сегодня вместе с твоим, я получил письмо от Салтыкова. Пишет, что ему *весьма понравилась* первая часть моего большого очерка «Горное гнездо» и что он ждет с нетерпением продолжения».

При дальнейшей переписке Щедрин просил Мамина ускорить завершение работы над романом и вместе с тем высказывал редакторские пожелания. К сожалению, письмо с предложениями редактора-сатирика не сохранилось. Работа над романом была закончена 20 февраля 1884 г., а журнальная его публикация началась в апреле того же года.

Первое отдельное издание «Горного гнезда» вышло в Москве в 1890 г. (издатель — И.А.Пономарев). Затем при жизни писателя произведение переиздавалось неоднократно: в 1893, 1900 и 1912 годах. Каноническим текстом признано издание М.В.Аверьянова 1912 года в Петербурге: право на издание романа и его текст были переданы самим автором.

Хотя на первый взгляд роман был написан в очень короткий срок, и печатался вослед за появлением в журнале «Дело» «Приваловских миллионов» и одновременной публикацией в «Вестнике Европы» другого романа — «Жилка», — в реальности работа над «Горным гнездом» продолжалась длительное время. Ее началом следует считать незавершенный роман «Омут» (см. настоящее издание, т. 1), в котором запечатлевался сюжет о приезде в Уральский горный округ ревизской комиссии из Петербурга во главе с генералом Блиновым и его «метрессой», и об интригах управляющих заводами, пытающихся сместить с должности управляющего Кукарских заводов талантливого самородка Кирило Рязанова. Первоначальный сюжет приобрел подлинную емкость и остроту, когда при разработке замысла нового романа возникла мысль изобразить единственный приезд в Нижнетагильский заводской округ его настоящего владельца Павла Павловича Демидова — Сан-Донато. В действительности эта поездка состоялась в 1863 г. Дмитрий Мамин, одиннадцатилетний мальчик, был свидетелем ажиотажа на родном Висимо-Шайтанском заводе, вызванного появлением «магната». Аналитическую оценку владельческому объезду округа и характеристику П.П.Демидова Мамин-Сибиряк дает в очерке «Один из анекдотических людей», написанном через год после публикации «Горного гнезда» в связи со смертью П.П.Демидова. Мамин причисляет его к ряду тех «анекдотических» людей, которые пользуются известностью, имеют важное положение при жизни, но от которых после смерти не остается никакого заметного следа. Описывая в очерке «вояж» П.П.Демидова на Урал, Мамин дискредитирует его как несостоявшегося хозяина громадных владений, не озабоченного судьбой его населения и перспективами отечественной металлургии: «Демидов прожил на заводе около трех недель и провел все время в разных «забавках» или на охоте; служащим и рабочим к нему не было никакого доступа, особенно сторожились подозрительных личностей, которые могли обеспокоить барина прошением. Делами барин не занимался и на фабриках не бывал (...) барин переезжал с завода на завод с такой отчаянной скоростью, точно за ним гналась стая волков...»

Именно П.П. Демидов явился прототипом центрального персонажа из петербуржцев — «набоба» Лаптева, который занимал писателя как тип вырождающегося «хозяина»: «Про-

сматривая семейную хронику Лаптевых, можно удивляться, какими быстрыми шагами совершалось полное вырождение ее членов под натиском чужеземной цивилизации и собственных богатств. Хорошо сохранили основной промышленный тип собственно только два поколения — сам Гордей и его сыновья; дальше начинался целый ряд тех «русских принцев», которые удивили всю Европу и, в частности, облюбованный ими Париж тысячными безобразиями и чисто русским самодурством» (3, 113).

С юношеских лет Мамина интересовали разные стороны заводской жизни, о чем свидетельствуют его письма родным. После возвращения на Урал из Петербурга в 1877 году в Нижней Салде начинается новый этап заинтересованного изучения Маминым заводского быта и бытия. Управитель заводов Константин Павлович Поленов, друг отца, Наркиса Матвеевича, охотно знакомит его сына с тонкостями заводского производства и экономики. Много ценных сведений о жизни заводской верхушки Мамин почерпнул из рассказов своей жены, Марии Якимовны Колногоровой (по отцу), бывшей прежде замужем за управителем Верхне-Салдинского завода инженером Н.И.Алексеевым. Хищническая практика заводской администрации и примитивный склад ее жизни были хорошо знакомы Марии Якимовне. Исследователи установили основных прототипов героев. П.П.Демидов приезжал на Урал в сопровождении профессора права Семена Михайловича Добровольского — очевидно, это прототип генерала, профессора Блинова. Сыгравший особую роль в разрешении серьезнейшего конфликта Альфред Осипович Прейн во многом списан с доверенного лица Демидовых, Анатолия Октавовича Жонеса де Спонвиля (с 1869 по 1990 годы — главный уполномоченный по делам владений и заводов Демидовых). Очевидна связь образа управляющего Ельниковской земской управы Авдея Никитича Тютюева с известным земским деятелем Василием Дмитриевичем Беловым — ученые отмечают почти полное совпадение фактов биографии Тютюева и Белова. Он от общественной оппозиции заводоуправлению скоро переметнулся на службу в Главную петербургскую контору П.П.Демидова. Разумеется, сходство персонажей с реальными лицами относительно. Так, Родион Сахаров, составитель Уставной грамоты Кукарских заводов, по-новому закабалившей «освобожденных» рабочих, верный раб своих господ, лишь отчасти напоминает Якима Семеновича Колногорова — талантливого организатора уральского металлургического производства. Все же ученые отметили некоторую близость Д.Л.Вершинина к К.П.Поленову, а К.Н.Майзеля к К.К.Фрёлиху (Фрейлиху). Управляющий заводами Горемыкин в значительной степени «списан» с И.И.Вольстедта, жену которого называли «управляющим в юбке».

Произведение было одобрительно встречено всем окружением «Отечественных записок», поскольку оно отвечало концепции социального романа, разработанной Щедриным, требовавшим от писателей выхода за рамки семьи к проблемам публичного быта. Произведение отразило острую коллизию: столкновение интересов рабочих, ограбленных администрацией путем вольного толкования реформ. В «Горном гнезде» запечатлелось равнодушие владельцев громадного фабричного округа к судьбе трудящегося люда, отданного на разорение управителям заводов. Социальная проблематика романа глубоко раскрыта в ряде исследований Е.А.Боголюбова, И.А.Дергачева и др. Но доброжелательный прием романа критикой был обусловлен и художественными достоинствами произведения. И современники Мамина, и исследователи XX — начала XXI вв. отмечали стройность и продуманность текста романа, динамику сюжета, оправданность каждой художественной детали. И все же мастерство создателя «Горного гнезда» изучено не вполне достаточно. В настоящем издании публикуется статья Л.П.Щенниковой, по-новому анализирующей поэтику романа в аспекте его эстетической целостности.

С.6. *«Вот приедет барин, барин нас рассудит...»* — строки из стихотворения Н.А.Некрасова «Забытая деревня», указывающие на сюжетную перекличку романа с произведением поэта.

С. 15. *Речитатив Мефистофеля* — из оперы Шарля Гуно «Фауст».

С. 16. *«Тихо запер я двери...»* — из стихотворения А.С.Пушкина «Пью за здравие Мери» (на англ. яз: Из Барри Корнвалла).

С. 17. *«Что за комиссия, создатель...»* — цитата из комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума».

С. 30. *Лютер Мартин* (1483–1546) — деятель Реформации в Германии, отвергавший основные догматы католицизма, основатель лютеранства.

С. 30. *Война Алой и Белой Розы* (1455–1485) — война за английский престол между королевскими династиями Ланкастеров (в гербе алая роза) и Йорков (в гербе белая роза).

С. 31 *«Лоэнгрин»* — опера немецкого композитора Рихарда Вагнера.

С. 32. *Адмиралтейский час на дворе* — полдень, в данном случае в переносном значении — время пить водку.

С. 33. *«Много красавиц в аулах у нас…»* — слова из песни, исполняемой горцем Казбичем в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

С. 34. *Лукреция* — в римской истории прекрасная и добродетельная супруга Тарквиния Коллатина, которую опозорил Секст, старший сын последнего римского царя Тарквиния Гордого.

С. 34. *«Мой совет: до обрученья / Дверь не отворяй…»* — строки из куплетов Мефистофеля из оперы Гуно «Фауст».

С. 34. *«На щеках, как жаркое лето…»* — строка из стихотворения Г.Гейне из сборника «Книга Песен».

С. 37. *Коронная служба* — государственная, казенная служба.

С. 38. *С оттенком гривуазности* — нескромности.

С. 39. *Играла по Фребелю* — Фребель Фридрих, 1782–1827. Немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания.

С. 39. *Развивала силы по Песталоцци* — Песталоцци Иоганн (1746–1827 — швейцарский педагог, ратовавший за соединение обучения с трудовой деятельностью.

С. 45. *Камлотовая крылатка* — камлот — изначально шерстяная, а в XIX веке и хлопчатобумажная ткань. Крылатка — пальто или шинель с пелериной.

С. 53. *Уставная грамота* — акт, составленный по положению о реформе 1861 года, регулировавший хозяйственные отношения между заводовладельцами и рабочими; определял размеры и качество земли, отводимой мастеровым, получившим освобождение от крепостного права. Уральские заводчики старались записать бывших крепостных в разряд людей, занятых заводским трудом, что лишало их права на достаточный земельный надел.

С. 53. *Мазарини Джулио* (1602–1661) — кардинал, первый министр Франции с 1643 г. Завершил оформление абсолютизма в стране.

С. 53. *Арман Жан дю Плесси* (1585–1642) — кардинал, фактический правитель Франции.

С. 55. *Посессионное право* — условное владение крепостными фабричными крестьянами или землями, введенное Указом Петра Первого от 18 января 1721 г. Земля в посессионных владениях оставалась собственностью государства.

С. 58. *Клеврет* — приверженец.

С. 61. *Плотинные* — мастера, отвечавшие за состояние заводской плотины.

С. 61. *Уставщики* — мастера, распоряжавшиеся заводскими работами.

С. 71. *«Прекрасная Елена»* — оперетта Жака Оффебаха (1819–1880) — композитора, основоположника французской оперетты.

С. 76. *Дормез* — большая карета, размеры которой позволяли спать во время пути.

С. 80. *Безешка* — поцелуй.

С. 81. *Голубые кунтуши* — кунтуш — верхняя одежда с длинными откидными рукавами; старый польский национальный костюм.

С. 86. *С фалетуром* — искаженное от «форейтором». Форейтор — кучер, управляющий лошадьми в упряжке и сидящий на одной из них.

С. 91. *Катальные* — рабочие на прокатке металла.

С. 110—111. *Пряденики* — обувь, изготовленная из пряденой кудели. Надевалась на сапоги для защиты от брызг раскаленного металла.

С. 112. *Крица* — в данном случае железная заготовка для последующего проката.

С. 118. *Кэрри Генри Чарльз* (1793—1879) — американский экономист, проповедник «гармонии классовых интересов».

С. 119. *Мальтус Томас Роберт* (1766—1834) — английский экономист, утверждавший, что благосостояние населения находится в зависимости от темпов его роста, значительно превышающего увеличение средств существования.

С. 130. *Бриллиантовый аграф* — нарядная застежка со вставленным камнем.

С. 141. *Курень* — место в лесу, где жили и работали углежоги.

С. 157. *Гешефт* — сделка, торговля.

С. 161. *«Свадьба Кречинского»* — пьеса А.В.Сухово-Кобылина (1817—1893).

С. 161. *«Русская свадьба»* — сокращенное название пьесы «Русская свадьба в исходе XVII века». Драматическое представление А.Шаргина (псевдоним П.П.Сухонина, 1821—1880)

С. 161. *«Бедность не порок»* — пьеса А.Н.Островского (1823—1886).

С. 163. *Турман* — голубь с сильно выдающейся грудью, способный кувыркаться в полете.

С. 164. *Маккартовская голая красавица* — картина австрийского художника Ганса Маккарта (1840—1884).

С. 165. *Набоб* — титул правителей индийских провинций; нариц.: человек, живущий с восточной роскошью.

С. 171. *Бонбоньерка* — шкатулка, коробочка для конфет.

С. 176. *Монтекристо* — малокалиберное ружье.

С. 184. *Камлотовое платье* — см. сноску к стр. 45.

С. 185. *Маршал Даву* — Даву Луи (1770—1823) — маршал Наполеона.

С. 197. *Макинтош* — пальто из непромокаемой ткани.

С. 212. *Багеты* — рамы для картин.

С. 218. *Мазепа* — Мазепа Иван Степанович (1644—1709) — гетман Украины (1687—1708). Во время Северной войны (1700—1721) перешел на сторону шведов, вторгшихся на Украину. После Полтавской битвы бежал в турецкую крепость Бендеры вместе с королем Карлом XII.

С. 218. *История с Матреной Кочубей* — нашла отражение в поэме А.С.Пушкина «Мазепа».

С. 222. «*Свадьба Фигаро*» — правильное название произведения — «Женитьба Фигаро» (1774) — пьеса французского драматурга Пьера Бомарше (1732—1799).

С. 224. *«И моего тут капля меду есть»* — строка из басни И. А. Крылова «Орел и пчела». У Крылова текст такой: «И моего *хоть* капля меду есть...»

С. 233. *Потехин А. А.* (1829—1908) — русский драматург.

С. 254. *Станислав Август Понятовский* (1732— 1798) — польский король

С. 266. *Сципион Африканский Старший* — ок. 235 — ок. 183 гг. до н. э. — Государственный деятель, полководец в Древнем Риме.

С. 169. *Менений Агриппа* — римский консул. В 494 г. до н. э. в ответ на требования гражданского равенства плебеев с патрициями рассказал притчу о том, что желудок и руки не могут существовать друг без друга.

С. 269. *«Умерла Ненила...»* — строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Забытая деревня».

С. 271. *«Подождите! Прогресс подвигается...»* — строки из поэмы Н.А.Некрасова «Современники» (1875). В романе Мамин переставил слова поэтической строки. См. у Некрасова: «Что сегодня постыдным считается...»; см. у Мамина: «Что постыдным сегодня считается...».

«Дикое счастье»

Роман «Дикое счастье» первоначально был опубликован под названием «Жилка» с подзаголовком: «Из рассказов о золоте» и подписью: Д.Мамин в журнале «Вестник Европы» за 1884 г. в №№ 1—4. В отдельном издании впервые появился в 1896 г. в Санкт-Петербурге, позднее, еще при жизни писателя и публиковался в 1897 и 1902 годах в Москве, в Издательстве Д.Ефимова и М.Клюкина. Издание 1902 г. признано каноническим. По его тексту роман издавался и в дальнейшем — этот текст взят и нами.

В ГАСО хранится рукопись романа «Жилка», написанная рукой автора и в ряде мест существенно отличающаяся от других изданий.

Роман «Дикое счастье» — одно из первых крупных произведений Д.Н.Мамина в ряду сочинений о пагубной власти золота. К теме «золотого тельца» писатель обращался в таких рассказах, как «Старик» (1876), «Старатели» (1883), в очерках «На золотом прииске» (1883), «Золотуха» (1883), «Золотая ночь» (1884). Через год после «Жилки» будет создана пьеса «Золотопромышленники»; в начале 1890-х гг. напишет роман «Золото»; в 1900 году выпустит книгу очерков и рассказов «Золотая лихорадка». Понимание губительной силы «золотого» ажиотажа постепенно Маминым переосмысляется: в ранних произведениях эта тема трактуется в соответствии с народно-этической традицией, как «дьяволово искушение», как власть сатанинской гордыни и лжи, распаляющая ничем не сдерживаемое своеволие золотопромышленника. Именно эта концепция легла в основу замысла «Жилки» — романа, в котором изображен стремительный крах морально-нравственных устоев патриархальной староверческой семьи. Она жила мирно и благочестиво, по «батюшкиным заветам» до тех пор, пока не получила в дар от убийцы Маркушки золотую жилку, принесшую самое большое богатство и вместе с тем великий разлад и горе.

Некоторые исследователи пытались доказать, будто бы «реакционно-христианская тенденция»[1] романа обнаружилась лишь в его финале, после краха дела Брагиных,— лишь в рукописном варианте, поскольку, готовя текст для журнальной публикации, автор либо решительно сократил, либо изъял сцены, изображающие моральное потрясение, раскаяние и духовное воскресение Гордея Евстратыча Брагина. Мамин действительно очень сократил последние главы романа (по-видимому, не без воздействия редакции журнала «Вестник Европы»), но мысль о том, что в самой природе золота заложено «разъединительное» начало, что спасение от «золотого» наваждения следует искать в верности евангельской морали и патриархальной нравственности, заявлена с первых глав. Разрушительная сила золота сознается в семье Брагиных сразу, с появления в ней «жилки» — кусочка кварца с сильной золотой примесью: «Вот ты только успел привезти эту жилку в дом, как сейчас и начал вздорить,— говорит Татьяна Власьевна сыну-большаку» (с. 303). В романе «лейтмотивной» является мысль о том, что счастье, выпавшее Брагиным,— это дар злой, сверхъестественной силы, искушающей человека. Сам даритель жилки, старатель Маркуша, убежден, что «...в этом золоте настоящий бес сидит...» (с. 345). Татьяна Власьевна, некоторое время сомневавшаяся, брать ли жилку, вдруг сознает, что решение на этот счет не в ее воле:

«Теперь уже жилка начинала владеть ее мыслями и желаниями, и с каждым часом эта власть делалась сильнее» (с. 345). Хранитель «древлего благочестия» в семье Зотушка впервые восстает против воли «большака», не советуя разрабатывать жилку, поскольку убежден, что «... от этого золота один грех» (с. 308). Когда же приобретение промысла завершается безобразным кутежом с чиновниками, Татьяна Власьевна воспринимает эту «оргию» как «...поминки, которые справляли о погибшем прошлом» (с. 338). Таким образом, в романе одним из важнейших является лейтмотив сверхъестественной, губительной силы Маркушиного золота, «... точно распаявшего те швы, которыми так крепко была связана брагинская семья» (с.375). В финале произведения мысль об освобождении Гордея Евстратыча от обольщения золотом как от разрушительного наваждения выражена очень ярко: «В Гордее Евстратыче, под давлением этих испытаний, произошла громадная перемена, точно он стряхнул с себя, вместе с богатством, все одолевавшие его недуги... Собственная неправда теперь встала перед ним с болезненной режущей ясностью...» (с.480).

Роман «Дикое счастье» выражает то же народно-поэтическое представление о грехе и истинном благополучии, что и первое крупное произведение — «В водовороте страстей» (см. т. 1 настоящего издания, с. 880–883). Именно поэтому рассматриваемое произведение близко народно-поэтической культуре и искусству. И. А. Дергачев утверждал: «... «Дикое счастье» — один из самых фольклорных романов Мамина-Сибиряка. Персонажи в нем, пожалуй, не столько отражение самой действительности, сколько народнопоэтические образы «матерой вдовы», «честно́го купца», песенной красавицы «с соболиными бровями» и «грудью лебединой». «Дикое счастье» отличается от романтически окрашенного «В водовороте страстей» тем, что в нем фольклоризм оплодотворен яркими бытовыми зарисовками, наблюдениями и сценами, которые определяют уклад, привычки и отношения крепкой староверческой семьи. В соединении фольклоризма с реалистической типизацией проявляется специфика творческого метода писателя. Персонажи романа представлены не с позиций критического, «обличительного» реализма, а в свете сочувственного отношения к особенностям менталитета, культуры и психологии героев из народной жизни. По духу этот роман близок пьесам А.Н.Островского славянофильского периода: «Бедность не порок», «Не в свои сани не садись», «Не так живи, как хочется».

С. 280. *Шатровые ворота* — ворота, сверху прикрытые двускатной крышей.

С. 282. *Косоклинный кубовый сарафан* — густо-синий, сарафан с широким подолом и со складками от вставных клиньев.

С. 282. *Повязан на голове кикой* — кика — концы платка, завязанные впереди на голове, образуют спереди узел и торчат двумя «рогами».

С. 283. *Пестрядевая скатерть* — из грубой бумажной ткани из пестрых ниток.

С. 283. *Щи с поземиной* — с вяленой сибирской рыбой — нельмой, муксуном и др.

С. 284. *Важеватая старуха* — обходительная, уважаемая.

С. 284. *Скудается здоровьем* — болеет.

С. 284. *Из скитских метаний* — молитв с поклонами.

С. 286. *Считалась уже единоверкой* — то есть приверженкой единоверческой церкви, признававшей православную иерархию, но сохранившей обряды старой веры и почитавшей церковные книги, вышедшие до реформы Никона.

С. 286. *С лестовкой в руках* — с кожаными четками, по которым отсчитывались молитвы и поклоны.

С. 288. *Это на ассигнации-то считать...* — курс бумажных ассигнаций был 3, 5 рублей за один рубль серебром.

С. 297. *В мохнатом дипломате* — в демисезонном пальто особого покроя.

С. 318. *С подрушником в руках* — то есть с подушечкой, подкладываемой под руки при земных поклонах.

С. 319 — *Пел по крюкам* — по знакам древнерусского безлинейного нотного письма, применявшегося в России с XI века.

С. 352. *Золотник* — 4, 266 грамма.

С. 352. *При пятидесяти-шестидесяти долях* — доля — одна девяносто шестая часть золотника.

С. 437. *Салфеточная икра* — круто посоленная, хранящаяся в мешках икра, где она уплотняется и перед использованием режется ножом.

С. 437. *Страсбургский пирог* — с гусиной начинкой — привозили из Страсбурга в запаянных банках.

С. 438. *Гарднеровская посуда* — фарфоровой фабрики Гарднера, построенной в Дмитровском уезде Московской губернии в 1766 г.

С. 438. *Козет* — искаженное от «клозет».

Максим Бенелявдов

В первой редакции 1875—1876 гг. повесть носила название «Мертвая вода». В настоящем издании эта редакция впервые печатается по рукописи, хранящейся в Государственном архиве Свердловской области (ф. 136, ед. хр. 2). Она существенно отличается от окончательного текста.

Повесть «Максим Бенелявдов» впервые была опубликована в журнале «Дело» 1883 г., №№2—3 за подписью «М — ин». Вначале она была предложена в редакцию журнала «Вестник Европы» под названием «Нимфа», но редакторы не приняли ее. Редакция журнала «Дело» обещала напечатать повесть в 1884 г., но неожиданно для писателя была опубликована на год раньше, одновременно с романом «Приваловские миллионы». Окончательный текст повести заметно расходится с рукописью «Нимфы», хранящейся в ГАСО (ф. 136, ед. хр. 91), не только меньшим объемом, но и концептуально. В рукописном варианте главная героиня Люба Пузырева, становящаяся проституткой, изображена сочувственно: героиня страдает от своего падения; ее совратили опытные и коварные господа; вспыхнувшая любовь к Максиму вначале представлена автором как чистое чувство, хотя опасается брака из боязни бедности. В рукописи обстоятельнее описана жизнь праздная, нездоровая, гибельная для архиерейских певчих.

В окончательном тексте Люба представлена человеком расчетливым и порочным по природе, в этом варианте главным героем становится Максим Бенелявдов, для которого любовь к героине, женитьба на ней представлена как событие, способное помочь вырваться из мертвящего быта «певческой».

С. 511. *Кутейник* — от «кутья» — уничижительное именование лица из духовного сословия.

С. 513. *Духовная консистория* — учреждение, ведающее судом и управлением епархии.

С. 513. *Просвирни* — женщины, занимающиеся выпечкой просфор — белых пресных хлебцов, употребляемых в обряде причащения.

С. 514. *Ватерпруф* — плащ (нем.).

С. 516. *Стрекулист* — пронырливый человек, бойкий писака — уничижительное именование мелкого чиновника-ловкача.

С. 518. *Акцизное управление* — учреждение по сбору налогов.

С. 520. *Казинетовый* — из полушерстяной ткани.

С. 528. «*Два гренадера*» *Ленау* — ошибочно приписанное Ленау стихотворение Г.Гейне «Гренадеры» в пер. М.Л.Михайлова: «Во Франции два гренадера из русского плена брели...».

С. 528. «*Не водись-ка на свете вина...*» — песня на стихотворение Н.А.Некрасова.

С. 540. *Самсон* — библейский богатырь; в плену разрушил храм, под развалинами которого погиб вместе с большим числом врагов (см. Книга Судей, 13; 16).

С. 571. *Нимфа* — в тексте романа в значении «продажная женщина».

В горах (Старатели)

Повесть впервые была опубликована под названием «Старатели» в журнале «Русская мысль», 1883 г. в №№1—2 с подписью «Д.Сибиряк». Каноническим текстом признано последнее прижизненное издание в сборнике «В глуши» (М., 1898). При подготовке книги автор значительно переработал текст и изменил название: «В горах». В Российском государственном архиве литературы и искусств (РГАЛИ) хранятся две рукописи «Старателей». Одна из них представляет полный текст произведения с указанием даты и места завершения над работой: «1880 г. 1 декабря г. Екатеринбург». Другая является только четвертой главой, не включенной в окончательный текст, описывающей судебный процесс по делу Гвоздева (она переписана рукой брата, Н.Н.Мамина). К ней имеется помета автора: «Эта глава может быть выпущена совсем или сокращена до минимума, т.к. весь очерк вышел очень длинен. Автор».

В рукописном варианте в центре внимания автора — контраст двух судеб, двух героев: Калины Калиныча — бескорыстного, добродушного, наивного старателя и сборщика мирских денег на церковь — и купца Гвоздева — ловкого хищника, постоянно унижающего и обманывающего всех, прибравшего к рукам все кабаки в округе. История Евмении, дочери Калины, завершается ее петербургской «карьерой» — погоней за наслаждениями. В рукописи преобладали сатирические картины быта «азиатских воротил» (Д.Мамин).

В окончательном тексте ярче высвечены фигуры положительных героев и, прежде всего, расколничьей начетчицы Василисы Мироновны, хранительницы народных этических норм. Ее прототипом является старообрядка Матрена Афанасьевна Попова, жившая в Висиме и пользовавшаяся большим авторитетом у жителей. Она бывала гостьей и в доме Маминых. Отец писателя ценил ее ум и характер и шутя называл «отцом Матронием». Ее образ нашел отражение и в таком раннем рассказе, как «Тайны зеленого леса» (см. Т.1 настоящего издания). Именно к ней как к спасительному якорю обращается вернувшаяся из Петербурга Евмения, жаждущая возрождения и впервые оценившая «евангельскую чистоту сердца» умершего отца.

Интересный рассказ старика Саввы о замечательном коне, не раз спасавшем его жизнь, был впоследствии выделен в самостоятельное произведение, напечатанное Киевским отделом Общества покровительства животным — «Конь-разбойник» (Киев, 1884). Позднее он был выпущен издательством «Юная Россия» (М., 1918) и перепечатан в 1938 г. в сборниках «Рассказы для детей» Свердловским и Челябинским областными государственными издательствами.

С. 579. *Кубовый сарафан* — см. примеч. к стр. 282.

С. 579 *Пристав* — начальник полицейского стана.

С. 581 *Мировой* — судья, избираемый уездным земским собранием на три года.

С. 588. *Расколничья начетчица* — женщина, обучавшая детей грамоте в староверческих семьях, могла быть и исполнительницей религиозных обрядов.

С. 588 *Австрийский архиерей* — архиерей одного из старообрядческих толков, центр которых находился в Белой Кринице, в Австро-Венгрии.

С. 591. *Шурф* — горная выработка небольшой глубины, вертикальная или наклонная, имеющая выход на поверхность.

С. 601. *За платину-то платят по-сиротски* — в 1870-е годы на Урале за добычу платины платили в три раза меньше, чем за золото (см. об этом очерк Д.Н.Ма-

мина-Сибиряка «С Урала», впервые напечатанный в газете «Биржевые новости». 1884, № 202 и недавно опубликованный в журнале «Урал». 1967. № 10).

С. 601. *Золотник* — см. примечания к стр. 352.

С. 611. *Баллада Гете* — произведение немецкого поэта «Лесной царь».

С. 617. *Кандидат прав* — студент, с отличием окончивший юридический факультет.

С. 620. *Беднее самого Иова* — Иов — страстотерпец, испытываемый Богом всевозможными мучениями. См. «Книгу Иова» в Ветхом Завете.

С. 621. *Аарон* — ветхозаветный первосвященник, старший брат законоучителя Моисея.

С. 635. *Трен* — шлейф.

С. 638. *Недавно открытой Уральской железной дороги* — открытой в 1878 г.

С. 656. *Миткалевая рубашка* — сшитая из миткаля — суровой хлопчатобумажной ткани.

«На золотом прииске»

Очерк впервые опубликован в журнале «Семья и школа» 1883, №1 в качестве приложения для детского чтения. В произведении дано простое описание быта золотого прииска, процесса промывки золотой руды, слитков и песка; даны сведения о добыче золота прежде, о мировых запасах золота и его применении. Очерк знакомит с терминологией, характеризующей старый способ его добычи. В Собраниях сочинений Мамина очерк не переиздавался. Публикуется по тексту журнала «Семья и школа». Рукопись очерка хранится в ГАСО (ф. 136., ед. хр. 6).

«Китайцы и американцы»

Очерк впервые опубликован в журнале «Семья и школа», 1883, № 4, в качестве приложения для детского чтения. Очерк проникнут критикой американского шовинизма и утверждением идеи равенства в межнациональных отношениях. Рукопись хранится в ГАСО: ф. 136, ед. хр.№ 7. Публикуется по тексту журнала «Семья и школа».

С. 678. *Бугги* — легкие конные экипажи.

С. 681. *Епископ Гаттон* — по-видимому, епископ базельский Гаттон (763—836). В 823 году отказался от должности аббата и умер простым монахом. Автор сочинения «Капитуляция Гаттона».

«Авва»:
Очерк

Впервые опубликован в журнале «Дело», 1884, №№ 3—4. Сюжет произведения, в ином варианте (см. т. 1 настоящего издания), вошел в состав неопубликованной при жизни писателя повести «Сестры». В ней выступают персонажи с теми же именами и характерами: о. Андроник, молодой поп Егор (Георгий), хитрая торговка Фатевна, ее глуповатая дочь и др. Но в «Сестрах» линия о. Андроника маргинальная, поскольку главный сюжет отражает острый социальный конфликт: борьбу «народных заступников» против заводских обирал из начальства. Возможно, поэтому произведение и не появилось в печати.

В «Авве» представлено иное столкновение: в этом произведении о. Георгий — священнослужитель «нового типа», ратующий, как ему кажется, за престиж русского духовенства, стремится сместить старого священника о. Андроника, обвиняя его в недостойном поведе-

нии носителя сана (пьянстве и прелюбодеянии). В этих преследованиях уловим и политический «оттенок»: намерение о. Георгия путем публичного суда над Андроником укрепить благочестие и верноподданничество прихожан. Привлекателен образ и облик о. Андроника — «истинно русского человека, с пестрой смесью достоинств и недостатков». В молодости он потерял жену и вынужден жить одиноким, как то велел церковный устав; талантливый человек, отзывчивый на чужую беду, простодушный и незлопамятный, он страдает от избытка сил, не находящих достойного применения.

С. 682. *Авва* — арамейское слово, переводимое как «отец». В новозаветных книгах в форме молитвенного обращения к Богу-отцу обычно два слова — «Авва Отче!» — употребляются рядом (Мрк; 14, 36; Римл.; 8, 15; Гал. 4,6). На Востоке Аввой называют настоятеля монастыря и уважаемых старцев-подвижников.

С. 701. *Казинетовое пальтецо* — из полушерстяной ткани.

С. 701. *Парусиновые панталоны* — из грубой, толстой льняной ткани, первоначально использовавшейся для парусов.

С. 733. *Консистория* — см. примечания к стр. 513.

«Емеля-охотник»

Рассказ впервые вышел отдельным изданием в 1884 г. в Санкт-Петербурге за подписью «Д.Н.Мамин». Один из лучших рассказов для детей, ставший хрестоматийным в русской литературе. Входит в цикл рассказов об охотниках. У Мамина охотники — люди особой породы, для которых природные законы и нормы истинной человечности — близкие понятия (см. «Серая Шейка», «Зимовье на Студеной» и др.).

«Золотая ночь»
Из рассказов о золоте

Впервые опубликован в журнале «Наблюдатель» 1884, № 10. Одна из первых реалистических зарисовок «золотого ажиотажа», в которой основным является сюжет о борьбе за владение приисковыми местами в окрестностях Екатеринбурга. Неоднократно переиздавался в сборниках рассказов и в Собраниях сочинений писателя. Публикуется по тексту: собр. Соч. Д.Н.Мамина-Сибиряка: В 12 т. Т. 10. Свердловск, 1951.

С. 748. *Азям* — длиннополый кафтан из домотканой, грубой ткани.

С. 748. *Триковый картуз* — трик — шерстяной бархат.

С. 758. *Плисовый пиджак* — плис — хлопчатобумажный бархат.

С. 758. *Поярковая шляпа* — поярок — шерсть первой стрижки ягненка.

С. 760. *Мочажинки* — твердое, гладкое болотце без кочек; от диалектного слова «мочаг» — непросыхающее место.

С. 781. *Синод* — в России до 1917 г. — высшее учреждение, управляющее православной церковью.

С. 782. *Алеуты* — северная народность, коренное население Алеутских и Командорских островов.

С. 784. *Фуляровый платок* — фуляр — легкая и мягкая шелковая ткань.

«Один из анекдотических людей»

Из уральской летописи

Впервые опубликован в газете «Волжский вестник». 1885. №№ 77—78. Подпись «Оник».

К личности Павла Павловича Демидова, владельца Нижнее-Тагильского заводского округа, Д.Н.Мамин-Сибиряк обращался неоднократно, причем с годами менялась его оценка всесильного уральского «магната». В фельетоне, помещенном в «Русских ведомостях» за 1881 г. в № 276 Мамин снимал с Демидова ответственность за злоупотребления администрации его заводов, выражал убеждение в том, что Демидов не станет марать рук о какие-нибудь жалкие десятины покосов. А в статье, опубликованной в «Волжском вестнике» после смерти заводовладельца, авторский тон меняется: писатель обвиняет П.Демидова в равнодушии к нуждам рабочих его округа: «Демидов занимался решительно всем, кроме своего заводского дела, да и на заводах почти не бывал». Писатель отказывает Демидову и в некогда прославляющей Демидова благотворительности, доказывает цифрами, «...что пятидесятитысячное население, доставлявшее Демидову миллионные доходы, ничем не пользовалось от него, — это факт!..»

Нельзя не согласиться с резюме современного исследователя: «Суровый отзыв Д.Н.Мамина-Сибиряка о П.П.Демидове трудно оспорить даже в наше время, когда не только писатели, но и историки прилагают немало усилий для «реабилитации» демидовской династии, раскрывая менее известные стороны жизни и деятельности отдельных ее представителей и показывая их вклад в развитие экономики и культуры России».[1] Об отношении Д.Н.Мамина к П.П.Демидову см. также: Боголюбов Е.А. «Горное гнездо» // Мамин-Сибиряк Д.Н. Собр. соч.: В 12 т. Т. 3. Свердловск, 1948. С. 318—320.

---

[1] Гуськова Т. К. Роман «Горное гнездо», его герои и прототипы // Мамин-Сибиряк Д. Н. «Горное гнездо». Роман. Екатеринбург, Изд-во Урал. ун-та, 2002. С. 378—379.

Драматургическое начало в романе Д.Мамина-Сибиряка «Горное гнездо»

Традиционно романы писателя осмыслялись как произведения с развернутым анализом социальных отношений между различными группами деловых кругов и их окружения: Нижне-Угловска в незавершенном романе «Омут», Кукарских заводских поселков в «Горном гнезде», уездного городка Узел в «Сергее Привалове», города Сибирска — Екатеринбурга — в «Семье Бахаревых». Критика одобрительно воспринимала тщательно выписанные культурно-бытовые традиции и нравы уральцев.[1] Они представляли, с точки зрения исследователей, еще и важное «натуралистическое»[2] дополнение к характеристике реалистического эпоса конца XIX века.

Жанровую специфику «Горного гнезда» исследователи XX столетия определяли исходя из высокой оценки обстоятельно выписанного Маминым *уральского быта.* Однако пристальное внимание и анализ эмоционально выраженной тональности, особенностей архитектоники романа и — шире — специфики художественного мышления писателя выявляет преобладание в «Горном гнезде» не эпической созерцательности, а сложного переплетения *драматургического и «смехового»* начал.

В романе синтетический характер пафоса проявляется в «двуедином столкновении» драматического начала — сложное положение Раисы Павловны и ее супруга (до приезда гостей из столицы исполнявших первые роли в городке); непростая ситуация Прозорова и его дочери Луши — с ироническим отношением к действительности, осложненным элементами карнавализации в изображении героев. Тон каранавала вносят описания внешности Раисы Павловны и Нины Леонтьевны, «процессы» одевания и переодевания этих героинь, костюмы Прейна и Лаптева; «ряженье» в слова многих героев произведения.

Драматическое *как вид пафоса* проявляется: в конфликтных отношениях героев и переживаниях непредвиденных ситуаций; в особенности тех, что проясняют тяготение к «эпической драматизации», к осознанию драматического характера отношений между людьми и существования человека в мире. *Драматическое как сценическое* обозначается в остроте конфликта, в драматических перипетиях сюжета. Его основу определяют интриги двух группировок героев, которых писатель иронически называет «большой двор» и «малый двор», – по ассоциации с двором столичным получает название и двор провинциальный.

Вместе с тем драматургическое начало видно и в склонности Мамина *мыслить картинами-сценами*, усиливающими не бытовой, но бытийный смысл

---

[1] См.: Дергачев И.А. Д.Н.Мамин-Сибиряк: Личность. Творчество. Второе, доп. изд. Свердловск, 1981; Он же: Горное гнездо. Комментарии // Горное гнездо: роман. Встречи: очерки и рассказы. Уральская библиотека. Свердловск, 1981. С. 422–424.

[2] См.: Щенников Г.К. Русский натурализм и его уроки //Рус. лит. 1992. № 2. С.11–27; Он же: Натурализм социального романа Д. Н. Мамина-Сибиряка // Вестник Челябинского университета. Серия 2. Филология. №1.1996. С. 26–34.

конфликта между героями. Автор сталкивает различные точки зрения и на отношение к конкретной ситуации, и на жизнеполагание героев в целом. Об этом свидетельствуют разногласия Раисы Павловны и Прозорова; Прозорова и Луши; в дальнейшем — Раисы Павловны и Прейна; Прейна и Луши; Луши и Лаптева. *Мышление картинами-сценами* и определяет движение событийного ряда романа.

Драматическое как сценическое проявляется и в стратегическом характере *темы, проблемы, лейтмотива* и *концепта игры* (под «игрой» в данном контексте понимается тип отношения к окружающим людям). Свою игру — «игру втемную» (Мамин-Сибиряк) ведут почти все персонажи романа: Прейн и Екатерина Петровна, Луша и Тетюев.

Игра представлена и в виде *сюжетной ситуации,* проясняющей тактический и стратегический характер игрового поведения и роли героев в «спектакле-жизни». Это ярко проявляется в описании *воскресных завтраков* в господском доме, устроительницей которых была Екатерина Петровна, заботящаяся о «свете» горнозаводского поселка. Игра также обозначается и как *тип решения* Прейном сюжетно значимого *конфликта* между Раисой Павловной и Тетюевым. Писатель отмечает любовь к игре у Луши с детства; за игрой с своими драгоценностями Раиса Павловна застает повзрослевшую девушку, и именно с этого момента меняется отношение Луши к Раисе Павловне. Полисемантический мотив *игры* становится все более значительным: все чаще и чаще действие романа происходит в пространстве театра и игорных домов, а «образ» карточной игры в романе получает символическое наполнение. Мамин-Сибиряк персонифицирует карту: она становится «героем» важнейших фрагментов, а герой играет роль карты в чьей-то более опытной игре. «…Игроки … чинно уселись за зеленый стол… и вдруг какая-то шальная рука перемешала все карты…»

Лейтмотив игры, становящийся концептом, получает завершение в шекспировской метафоре-парадигме, структурирующей все произведение как целостность: «*Весь мир — театр…*». В ней ведущим, кроме указанных концептов «игра» и «драма», является еще и концепт *сцена,* имеющий следующие подсмыслы**.** Сцена — *пространство* действия героев-актеров; сцена — *композиционная единица,* означающая принцип авторского изображения действительности: монологов, обращенных к окружающим, диалогов, полилогов, в которых проявляется динамика реальности и драматических отношений героев.

Идея *действительности как театра* реализуется в такой художественной форме, как «театр в театре жизни», о чем свидетельствует сцена подготовки спектакля для Лаптева и его петербургского окружения. Но она неожиданно замещается «спектаклем-фарсом», разыгранным сумасшедшей девушкой Прасковьей Семеновной и закончившимся тайным бегством хозяина заводов Лаптева в Петербург. Эта сцена, нечаянно подсмотренная Лушей и Прейном, в контексте их любовных отношений получает открыто пародийное наполнение. Авторская ирония усиливается «смеховой» антитезой со сценой ночного рандеву, описанной в русском классическом романе И.С.Тургеневым.

След «шекспировской парадигмы» проявляется и в форме драматических поединков, развернувшихся между Раисой Павловной и Лушей, а затем между Раисой Павловной и Ниной Леонтьевной. Этот художественный способ становится значимой структурообразующей единицей в специфике психологизма романа. В центре этой длящейся ситуации стоят образы нескольких героев: Прозорова — в прошлом возлюбленного Раисы Павловны, а в настоящем отца Луши. Образ Прейна значителен прежде всего тем, что он — «главный режиссер» разыгрывающейся «драмы» и вместе с тем возлюблен-

ный Луши. Именно интерес Луши к Прейну станет одной из главных причин ее отъезда в Петербург. Писателем, разворачивающим действие романа по законам драмы как рода искусства, используется прием «сцены из закулисной жизни»: он показывает подсматривание и подслушивание Аннинькой тайного свидания Братковского с m-lle Эммой. Нелепыми, не соответствующими моменту костюмами подчеркивается эксцентричность Лаптева и Прейна. Карнавальная атмосфера в романе поддерживается, во-первых, развенчанием короля Лаптева; во-вторых, несостоявшимся переодеванием Наташи Шестеркиной с «наливными плечами» в костюм театральной героини; реальным переодеванием невменяемой Прасковьи; многократными переодеваниями Нины Леонтьевны; в-третьих, дракой соперниц, не поделивших Братковского.

В процессе анализа сюжетно-композиционной специфики романа обозначается *комплекс художественных приемов*, все более позволяющий утвердиться в мысли о драматургическом как основополагающем начале в «Горном гнезде». Художественная система помогает Мамину-Сибиряку создать емкую картину нижнеугловского быта и бытия, картину мира российской провинции. Прежде всего, это психофизический портрет героев и авторский рассказ о их «предыстории». Обращенность автора к *внутреннему миру человека* проявляется в приеме самораскрытия персонажей, позволяющем понять смысл их философствования, мировоззрения, характера; в диалогах; в опосредованных — и авторской, и персонажной — характеристиках. Мамину свойственно внимание не только к внутреннему миру, но и к внешним предметам, деталям и пр. — например, к *костюму* героев. *Интерьер* дома в целом, в котором выделяется описание и *«делового пространства»* (кабинетов), и пространства культурно-бытового, дает возможность составить более точное представление о человеке, развернуть его характеристику (описание комнат Нины Леонтьевны, полных экзотических растений, в которых еще живут и орангутанги). Равно внимательное отношение к «внешнему» и «внутреннему» позволяет автору создать емкое, художественно яркое представление о героях.

Аналитический ракурс выявляет и тяготение писателя к *полижанровости сцен и мини-спектаклей*, разыгрываемых героями. В каждом фрагменте автор контекстуально уточняет жанр разыгрываемого, поскольку он составляет часть романного целого. Иногда эпизод романа определяется как *сцена-комедия.* Ломают комедию герои, собравшиеся в доме Майзеля: персонажи, ненавидящие друг друга, объединяются только для того, чтобы участвовать в свержении Раисы Павловны и ее супруга. К этому же типу игры относится поведение Раисы Павловны и Нины Леонтьевны по отношению друг к другу: обе не желают признавать другую хозяйкой данной ситуации и придумывают причины для того, чтобы не встретиться**.** Иногда романный фрагмент близок *сцене-драме*, которая определяет судьбоносный поворот в жизни персонажа (встреча Луши и Прейна, Луши и Лаптева). В других случаях фрагмент близок *сцене-фарсу или сцене-пародии.* В большинстве типы сцен *синтетические***,** совмещающие элементы драмы, комедии, фарса и пародии на классический сюжет. Во многих других случаях Мамин использует лексему *пьеса* как *метафору* неудавшегося личностного бытия неглупого человека (например, о Прозорове, см. в гл. 1; о Прейне, см. в гл. 15).

В романном театрализованном континууме герои представлены в различных амплуа: Горемыкин вместе с Сахаровым исполняет две различные роли: «кардинала Ришелье» и «суфлера», без которого ни театр как метафора жизни «горного гнезда», ни спектакль, разыгрываемый персонажами

романа, существовать-проходить не могут. Мамин показывает, что истинным «серым кардиналом», дающим окончательные распоряжения, является гость из столицы — Прейн.

В театре как культурном пространстве всегда существует «примадонна», «театральная королева», «царица»: ее роль долгие годы исполняла Раиса Павловна, владевшая тайнами высшей школы светской игры. В настоящее время героиня остро драматически переживает «интригу», задуманную с целью свержения ее с первых ролей. Прейн помог ей удержаться на «театральном Олимпе» Нижнеугловска, и очень важно, что свое слово сказала Луша, пожалевшая Раису Павловну.

В романном настоящем две примадонны — Раиса Павловна и Нина Леонтьевна, каждая неустанно подчеркивает установленный личностный статус. Обе героини, не желающие уступать друг другу, разыгрывают роль покладистого, культурного человека, готового к примирению, но в самый последний момент поочередно отказываются от встречи друг с другом, и этот отказ, как показывает автор, становится импульсом к новому повороту в сюжете «пьесы жизни». Многоуровневый конфликт, драматически развиваясь, приводит к замещению прежней «примадонны» другой — ею становится Луша. Лаптев, являющийся владельцем Кукарских заводов, выступает в роли актера, на долю которого выпала роль «голого короля».

Виктор Прозоров, который в *прошлом* исполнял роль «героя-любовника», в *настоящем* исполняет роль «шута» — умного, «зрящего в корень» событий человека, поэтому и смеющего часто говорить нелицеприятную правду о происходящем. В финале он исполняет иную роль — героя-интеллектуала, продумавшего «философию жизни страдающего неудачника». Именно Прозоров указывает на *доминирующий пафос* той модели, которая определяет существование честного человека в мире людей, называя жизнь *трагедией*. Объективно трагедии в границах повествования не произошло, но в финале этот герой остается один, без занятия и должности. Луша едет с Раисой Павловной в Петербург устраивать свою жизнь.

Важное место в структуре произведения занимают *картины*, имеющие полисемантическую функцию. Они являются *единицей композиции* (например, развернутая картина-панорама Кукарского завода в первой главе). *Единицей поэтики* (например, картины сада и дома различных героев, пейзажные зарисовки) и имманентно *драматургической композиционно-сюжетной единицей* (например, общая картина ночного сада господского дома; картина ночного, но неспящего поселка, разворачивающаяся в значимую ситуацию «ночных размышлений» разных героев).

Горнозаводские пейзажи, которые следует определить, следуя за писателем, «картинами», имеют *сценографическую* функцию. Мамин-Сибиряк изображает «большие картины» не как атрибуты сцены жизни, но как жизненно важные *пространства*, в которых будут происходить (см. 1 главу) или реально происходят (см. 23, 24 и др. главы) события.

В финале произведения *сценическое пространство* нижне-угловского «горного гнезда» расширяется, уходит в область «сверхтекста», и действие, в нем происходившее, не реально, но потенциально, исходя из сюжета, должно перенестись из провинции в столицу России. Логика творчества приводит Мамина к созданию продолжения «Горного гнезда», коим становится «петербургский» роман «Бурный поток» («На улице») (1886 г.).

Л.П.Щенникова,
доктор филологических наук

СОДЕРЖАНИЕ

ГОРНОЕ ГНЕЗДО. *Роман* 5

ДИКОЕ СЧАСТЬЕ. *Роман* 273

Повести, рассказы, очерки

Максим Бенелявдов 502
В горах 569
На золотом прииске 657
Китайцы и американцы 671
Авва 682
Емеля-охотник 734
Золотая ночь 741
Один из анекдотических людей 786

Рукописные редакции

Мертвая вода [Пьяный город] 796
Старатели, IV глава 888

Варианты

Горное гнездо 912
Дикое счастье 916
Максим Бенелявдов 942
В горах (Старатели) 959

Примечания 976

«Драматическое начало в романе Д.Мамина-Сибиряка «Горное гнездо» *Л.П.Щенникова* 987